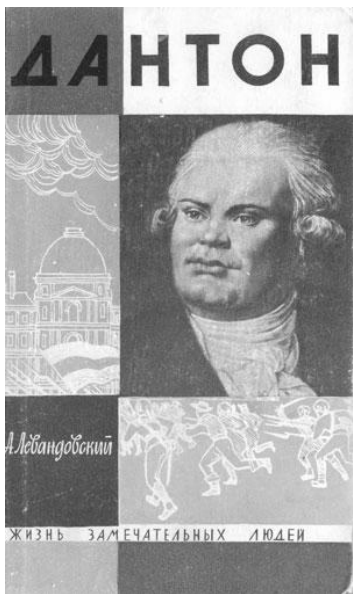


Дантон

Анатолий Петрович Левандовский



Трагедия Великой Французской революции и сейчас—через 175 лет—волнует каждого.

Книга Левандовского написана под хорошим влиянием Олара, Алданова, Франса, Р.Ролана, хотя в перечне литературы их имён нет.

Будто непреодолимый Рок вёл на гильотину всех, стремившихся осмыслить революцию и жизнь, и они сами не только подчинялись ему, но и делали всё для того, чтобы сложить голову на плахе. Какое переплетение судеб великих и трагических людей, неукротимых страстей и людей болота! Зная судьбу Бриссо, Верньо, Демулена, Дантона и самого Робеспьера, следишь за ними с возрастающим волнением, будто где-то в глубине души таится надежда, что ещё не предрешён ужасный исход, что вот где-то есть повторный пункт.

Но нет—всё свершится, падают головы в окровавленную корзину, и новые энтузиасты идут к гильотине, и 9 термидора неумолимо приближается—всё будет унесено, но не забыто.

С.А.Чернавский, 28.10.1964.

Оглавление

1.	ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ГОСПОДИ- НА Д'АНТОНА (1759—1788)	5
	Адвокат без практики	6
	Его биография	15
	Милостью всесильного случая. . .	38
	У истоков благополучия	45
2.	КАПИТАН ГВАРДИИ СВОБО-	

ДЫ (АПРЕЛЬ—СЕНТЯБРЬ 1789)	54
С кем ты, Дантон?	55
Дни перелома	65
Капитан Дантон проявляет себя	77
Новые времена—новые власти	85
3. В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДИС- ТРИКТЕ (ОКТЯБРЬ 1789—МАРТ 1790)	94
Кордельеры	95
«Добудем короля—будем с хлебом!»	101
Ассамблея в Париже	109
Дело Марата	121

Злой дьявол превращается в доброго 146

4.
НАЦИЯ, ЗАКОН, КОРОЛЬ
(АПРЕЛЬ 1790—АВГУСТ 1791)
160

Праздники и будни 161

В кругу друзей 172

Дела служебные 181

Дела житейские 197

Ни короля, ни закона, ни нации... 211

5.
НА **ФОНАРИ**
АРИСТОКРАТОВ!
(СЕНТЯБРЬ 1791—АВГУСТ

1792)	244
Я буду защищать конституцию	245
Бриссо или Робеспьер?	253
Перед штурмом	276
Собственность	295
В ночь на 10 августа...	314
6.	
МИНИСТР РЕВОЛЮЦИИ (АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ 1792)	333
Символ веры	334
В Исполнительном совете	345
Необходима смелость	365
Дни выборов	397

7.
МЕЖДУ ГОРОЙ И ЖИРОН-
ДОЙ
(СЕНТЯБРЬ 1792—ЯНВАРЬ
1793) 416
- Вечная и неприкосновенная 417
- «Я не люблю Марата» 426
- Судьба короля 449
- От океана до Рейна 474
- «Ты не прав, Гюаде» 483

8.
ПОБЕЖДЕННЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ
(ФЕВРАЛЬ—НАЧАЛО ИЮНЯ

1793)	489
«Прощай, Габриэль!»	490
Десятое марта	502
«Вы видели лучше, чем я...»	516
Революция еще не кончилась	542
Dies diem docet[30]	557
9.	
Я ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ (ИЮНЬ—НОЯБРЬ 1793)	581
«Комитет общественной гибели»	582
Медовый месяц	596
Необходима единая воля	606
«Не мешайте моему покою»	629

10.
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
(НОЯБРЬ 1793—МАРТ 1794) 636

Мир или перемирие? 637

«Старый кордельер» 657

Трубки папаши Дюшена 683

Кумир пал 693

11.
СМЕРТЬ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ЯКОБИНЦА ДАНТОНА
(АПРЕЛЬ 1794—АПРЕЛЬ 1964)
711

Мужайся, Дантон! 712

Кто ты такой? 738

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

ДАНТОНА	749
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ	753
	755

1.
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ГОСПОДИНА Д'АНТОНА
(1759—1788)

Адвокат без практики

Когда папаша Шарпантье, бывший чиновник откупного ведомства, выложил, почти не торгуясь, двадцать тысяч ливров за этот ветхий домишко, близкие были изумлены. Уж не притупился ли орлиный взор старого дельца? Не отказало ли ему чутье? Или за годы службы он нахватал столько денег, что теперь может сорить ими направо и налево?.. А тут еще стало известно, что Шарпантье определил новых тридцать тысяч на полную перестройку и расширение прежнего кабака. И только год спустя, глядя на сверкавшую червонным золотом вывеску «Кафе Парнас» и на валом валивший поток посетителей, скептики начали кое-что понимать. . .

Нет, Франсуа Шарпантье не дал маху, его

мозги отнюдь не заплыли жиром. Просто он, как всегда, смотрел чуточку дальше своих родственников и коллег.

Кафе «Парнас» уютно расположилось посреди Кэ де ль'Эколь, у подножья моста Пон-Неф, в самом центре делового и судейского мира. Отсюда было рукой подать до Лувра, Дворца правосудия и Шатле. Это значило, что в солидной клиентуре недостатка не будет: у Шарпантье регулярно завтракали и ужинали прокуроры, стряпчие и синдики, выпивали неизменную чашку кофе служащие парламента, назначали деловые свидания адвокаты. Здесь часто праздновались юбилеи, отмечались удачная речь или выигранное дело; сюда собирались и просто отдохнуть, покалякать на злободневную тему или сыграть партию в домино.

В семидесятых годах кафе пользовалось известностью, в восьмидесятых—стало модным.

Короче говоря, бывший контролер удачно построил капиталец и вполне обеспечил свою старость.

Нужно отдать справедливость папаше Шар-

пантье: он не просто выколачивал деньги. Он дорожил честью своего заведения и делал все для поддержания его доброй славы. Меню кафе «Парнас» было разнообразным, стол—дешевым, обслуживание—отменным. Сам папаша обычно дежурил у стойки, наблюдая за порядком. Мадам Шарпантье, моложавая дама пышных форм, встречала посетителей с любезностью радушной хозяйки и достоинством королевы. А чего стоила улыбка Габриэли, дочери Франсуа! Уверяли, что многие постоянные клиенты облюбовали «Парнас» именно из-за ее улыбки. Это, во всяком случае, с полной уверенностью можно было сказать о некоем молодом адвокате, не пропускавшем ни одного вечера у Шарпантье.

Правда, завсегдатаи кафе полагали, что шансы адвоката равны нулю.

Габриэль блистала красотой, была богата и водила за нос выгодных женихов.

Влюбленный адвокат был уродлив, беден и, казалось, не имел видов на будущее.

Но адвоката звали Жорж Жак Дантон, а Дантон не привык никому уступать, и если ставил на

карту, карта брала при любом раскладе.

На Кэ де ль'Эколь его хорошо знали. И не мудрено. Внешность этого человека была весьма примечательной.

Природа зло над ним подшутила, щедро одарив безобразием и силой.

Его огромный торс был торсом титана. На короткой бычьей шее сидела массивная голова. Лицо поражало: изрытое оспой, квадратное, с челюстями бульдога, оно все было покрыто шрамами. Мясистые оттопыренные губы были деформированы и рассечены; толстый короткий нос был перебит у основания, что еще более увеличивало непомерно разросшиеся надбровные дуги; глубокие глазные впадины совершенно скрывали глаза, превращая их в черные ямы.

Но при этом—странное дело!—уродство Дантона коробило лишь в первый момент. Маленькие глаза, коль скоро их удавалось рассмотреть, обнаруживали неиссякаемую энергию и веселый задор. Голос, гремевший из рассеченных уст, обладал приятным тембром и необыкновенной силой. Беседа с юным титаном не только достав-

ляла удовольствие—она пленяла.

И Габриэль, к величайшему огорчению папаша Шарпантье, вскоре начала отвечать на знаки внимания, расточаемые беспокойным клиентом. . . .

Его жизнь в Париже не была легкой. И если он ежедневно тратился в кафе на Кэ де ль'Эколь, то поступал так вовсе не от избытка средств.

Адвокат без практики—в этих словах сказано все.

Тщетно часами и днями терял он время у барьера парламента¹. Тщетно обивал пороги знакомых контор. Увы! Оставалось только жалеть, что бросил по своей воле малооплачиваемую должность клерка. У господина Вино были—хоть даровая квартира да ежедневный обед, а теперь. . .

А теперь он живет на улице Мовез-Пароль²,

¹[1] В дореволюционной Франции парламенты (парижский и провинциальные) были высшими судебными учреждениями, находившимися в руках чиновной знати («дворянства мантии»).

²[2] Дурных Слов (*франц.*).

вполне оправдывающей свое название, ибо доброго слова о ней никто не скажет, и столуется в трактире «Модести»³, вывеска которого служит программой его более чем скромной жизни.

Сейчас, после долгих мытарств, он ясно понял: только официальная должность при парламенте или другом учреждении принесет практику, выгодные дела, иными словами—деньги.

Конечно, чтобы купить должность, также нужны деньги, и притом немалые.

Но здесь может помочь выгодная женитьба.

Легко представить радость Дантона, когда, случайно зайдя в кафе «Парнас», он обнаружил прекрасную Габриэль и почувствовал, что находит доступ к ее сердцу.

Справедливость требует заметить, что в первый момент Дантон видел лишь черные глаза своей избранницы. Это оказалась буквально любовь с первого взгляда. Но юный шампанец сразу

³[3] «Скромность» (франц.).

понял, что приятное здесь соединено с полезным, что лучшего искать не следует и что действовать надо быстро и решительно.

Зная жизнь, он начал с мамыши.

Мадам Шарпантье, дама романтического склада, считала себя непонятой и неоцененной. Итальянка по происхождению, она жила в розовых мечтах, предаваясь воспоминаниям о своей солнечной родине.

Дантон знал итальянский язык. Он тотчас же нащупал слабую струну бывшей девицы Сольдини и сумел превосходно на этой струне сыграть. Прекрасный рассказчик и внимательный слушатель, умевший при надобности изобразить преданность и сочувствие, он вскоре добился желаемого результата: мать оценила вкус дочери.

С отцом дело обстояло значительно сложнее.

Франсуа Шарпантье никак не мог относиться к вопросу о будущем зяте с легкостью. Он был богатым человеком. Его состояние приближалось к четверти миллиона. За Габриэлью он давал двадцать тысяч наличными. Как же тут было не волноваться, как было не взвесить, кому

и за что отдаешь такие деньги, не говоря уже о дочери!

Старика Шарпантье беспокоила, разумеется, не внешняя неприглядность Жоржа. Страшным казалось другое. Парень выглядел нагловатым и самовлюбленным. Послушать его—Париж лежал у него в кармане. А на деле карман-то оказывался дырявым. Еще бы! Адвокат без практики! Голь перекатная, уж видно и по костюму и по краснобайству. Нет, шалишь, прежде чем думать о чем-либо серьезном, нужно все точно узнать и проверить. . . .

Шарпантье написал на родину Дантона и встретился с его родственниками. Он побывал во Дворце правосудия и в частных конторах. Он прислушивался к молве, опрашивал коллег адвоката и даже его квартирного хозяина.

Результат проверки если и не разрешил всех сомнений, то, во всяком случае, более или менее успокоил осторожного буржуа. Слава богу, парень не нищий. Его родственники—почтенные люди и готовы за него поручиться. На подобном фоне даже самоуверенность Дантона восприни-

малась иначе: это мог быть задор делового человека, рвущегося к успеху! Тертому дельцу Шарпантье такое было и понятно и приятно.

Короче говоря, биография Жоржа Дантона не смогла служить препятствием к его браку с дочерью столичного ресторатора.

Его биография

Жорж Жак, человек общительный, охотно рассказывал о себе. Обитатели «Парнаса» прекрасно знали многие факты из его жизни.

Он родился в Шампани, на окраине маленького городка Арси сюр-Об, 26 октября 1759 года.

Детские годы прошли в деревне, и скотный двор стал его первой школой. Здесь он познал многие стороны бытия и получил крепкую закалку; отсюда же шли его рубцы и шрамы.

Жорж обожал своих четвероногих друзей. Он без конца возился с ягнятами и поросятами, любовно ухаживал за коровой. И однажды—мальчишка был тогда крохой—имел пренеприятнейшую встречу с быком. От смерти спас счастливый случай, но несколько вдавленных ребер и

губа, превратившаяся в лохмотья, остались памятным подарком на всю жизнь. Ребенок не забыл и не простил. Через несколько лет, подросши и окрепнув, он пожелал взять реванш у подлого быка. Результатом была сломанная переносица. В другой раз, сражаясь с разъяренным, борова, Жорж получил такую рану, что чуть было не остался калекой.

Но упрямому мальчишке везло. Он уцелел наперекор всему и многое понял. Упорство его не стало меньшим. Но он твердо усвоил, что не всегда следует идти в лобовую атаку. . .

Деревня?.. Скотный двор?

На подобные темы словоохотливый адвокат не любил распространяться. Ведь теперь он везде подписывался как д'Антон, явно намекая на свое дворянское происхождение!

Это была ложь, вызванная желанием заполучить побольше клиентов. В действительности Жорж Жак мог бы рассказать своим собеседникам о том, как мозолистые руки его предков три столетия подряд корчевали пни и рыхлили непо-

датливую почву Шампани: все они были исправными хлебопашцами и честными сыновьями податного сословия. И та недвижимость, которую дед Жоржа умудрился передать своим наследникам, явилась не даром небес, но результатом постоянного труда, редкой удачи да крепкой мужицкой смекалки.

С годами Дантоны сумели выбиться из деревенской среды. Во второй половине XVIII века среди них уже встречались и почтенные буржуа, и священники, и судейские. Отец Жоржа начал с должности судебного пристава, а кончил прокурором, мать была дочерью подрядчика.

Жорж оказался четвертым ребенком в семье. После него родились еще двое. Отца он почти не помнил: Жак Дантон умер, когда мальчику было три года. Всю сыновнюю любовь Жорж перенес на мать, хрупкую Мари Мадлен Камю; эта любовь была одним из самых сильных чувств всей его жизни.

Широки просторы родной Шампани. Редко разбросаны деревни и города, зато полноводны

реки, необъятны леса и равнины. Есть где побродить и порезвиться. . .

Мальчишка рос богатырем. Зачинщик в драках, первый силач и пловец во всей школе, он пользовался авторитетом среди сверстников.

Иначе судили учителя. . .

Бедная Мари Камю, вдова, обремененная детьми, в ответ на постоянные жалобы только вздыхала. Что могла она поделать с этим сорванцом, не желавшим никому подчиняться? У нее и без того забот было по горло. К счастью, именно в это время ей сделал предложение господин Жан Рекорден, владелец маленького текстильного предприятия, человек добрый и домовитый. В Рекордене осиротевшая семья нашла второго отца.

Двенадцати лет от роду Жорж с грехом пополам закончил начальную школу. Год окончания чуть не стал для него роковым. Купаясь в ледяной воде Об, он простудился и тяжело заболел. К воспалению легких прибавилась жестокая оспа. Ребенка едва выводили.

Осенью 1772 года тринадцатилетний Дантон

был отправлен в Труа, где его отдали в семинарию духовного ордена ораторианцев.

Братья ораторианцы были богатой корпорацией. В Труа им принадлежали два больших дома, в которых располагались семинария, коллеж и библиотека. Своих подопечных братья усердно пичкали «духовной пищей», прежде всего «святыми» поучениями, заповедями и канонами. Правда, к концу XVIII века, подчиняясь новым общественным веяниям, в ораторианских школах ввели классическую историю, а также античную и французскую литературу.

Но церковный дух здесь сохранился во всем.

Воспитанники семинарии подчинялись строгой монастырской дисциплине, ложились и вставали по звуку колокола, много времени уделяли молитвам.

Все это было не по душе свободолюбивому мальчишке, пробуждая в нем ненависть к церкви.

— Я не переносу церковного колокола,— откровенно говорил он.—И уверяю вас, если долго буду его слушать, этот звон станет для меня погребальным.

Проучившись всего год в семинарии, Жорж добился перевода в местный коллеж. Хотя коллеж находился также в ведении ораторианцев, но там по крайней мере меньше разило этой отвратительной монастырщиной.

Занимался Жорж, сообразуясь со своими увлечениями. Он благоговел перед Плутархом и Титом Ливием, тайно зачитывался Рабле и Шекспиром, самостоятельно выучил английский и итальянский языки. Но его угнетала зубрежка, ему были отвратительны бесконечные доклады и рефераты—он не переваривал писанины. И поэтому юный Дантон не пополнил шеренгу первых учеников.

В начальный год обучения он красовался на четвертом месте среди «хороших». В год окончания занимал в той же категории двенадцатое место.

Юному богатырю было тесно и неудобно в церковной школе. Его буйный нрав и организаторские способности проявлялись при каждом удобном случае.

Дать отпор нажиму администрации? Ответить на несправедливость наставника? Он был всегда готов объединить и возглавить недовольных. Недаром друзья прозвали его «Каталиной» и даже «Республиканцем».

Но вот что казалось удивительным: в карцер или под телесное наказание сам он никогда не попадал!

Одно из событий этого периода особенно врезалось в память Жоржа.

Десятого мая 1774 года, заразившись оспой от случайной жертвы своей старческой похоти, испустил дух «многолюбимый» Людовик XV. Его смерть повсюду встретили как праздник. Ничтожный человек и бездарный правитель, развращенный себялюбец, девизом которого были слова: «После нас—хоть потоп!», Людовик XV был ненавидим в стране. Казалось, вместе с ним уходила в прошлое пора фавориток, тяжелых налогов, продажных министров и постоянного голода. Забитые мужики, оскудевшие ремесленники и ограбленные буржуа возлагали теперь все надежды на нового государя. Говорили, что Лю-

довик XVI, человек молодой и проникнутый новыми веяниями, был лишен пороков своего деда: недаром, едва придя к власти, он поставил у кормила правления выдающегося философа-реформатора, господина Жака Рене Тюрго!

Для Шампани наступили особенно хлопотливые дни.

Ведь здесь, в сердце провинции, находился город Реймс—церковная столица, священный город, где из поколения в поколение венчались на царство все французские короли. Здесь предстояло принять корону и нынешнему властителю.

Коронация была назначена на 11 июня 1775 года.

Ораторианский коллеж в Труа готовился к торжествам на свой лад.

Наставники продумывали темы панегириков в честь нового короля. Воспитанников заставляли просиживать долгие часы над изучением подробностей предстоящего обряда.

Жорж отплевывался и швырял на пол тяжелые фолианты. Заучивать наизусть, как короно-

вали какого-нибудь Генриха или Карла! Нет, уж если познавать, то не ветошь преданий, а действительность в ее подлинном виде!

— Вы как хотите,—говорил он товарищам,—а я все увижу собственными глазами. Я буду знать, как выпекают королей!

В свою затею он посвятил немногих, взяв с них слово, что те будут немые как рыбы. Заговорщики совместными усилиями подготовили кое-какой провиант на дорогу и собрали небольшие деньги...

Говорят, от Труа до Реймса не менее тридцати лье. Но что такое тридцать лье для здоровых ног, сильного тела и пытливого ума?..

Поход в Реймс доставил массу впечатлений.

Здесь все хранило аромат истории. Чего стоил один Реймский собор, эта величавая громада, сложенная из каменных кружев! А коронационное шествие? А пестрая толпа придворных и ротозеев, съехавшихся чуть ли не со всей Франции? Говоря по чести, если любопытный школяр не был ею смят и раздавлен, то лишь благода-

ря своему атлетическому сложению да железным кулакам!

Многое он здесь увидел, еще большее— услышал.

Зрители отнюдь не считали нужным держать при себе свои мысли и настроения. А так как среди тьмы людей, не получивших доступа внутрь собора, преобладала беднота, то и реплики мало походили на верноподданные. Кое-кто, правда, похваливал молодого короля и возлагал надежды на министра Тюрго, но скептики имели явный перевес.

Тюрго—друг народа? Он отменил хлебные законы? Но кому это на пользу, кому, кроме богачей торговцев? Что получил народ, как не новые заплаты? И не отсюда ли мучные бунты? Судачат, будто это лишь начало. Тюрго якобы намерен отменить барщину и уравнивать налоговое бремя. Но если это так, то министр-философ лопнет, как мыльный пузырь. Разве допустят господа, чтобы с мужиков сняли барщину, а их самих обложили налогом? Разве позволит Австриячка ущемлять своих именитых друзей? Ведь ни для кого

не секрет: и сам-то король прочно сидит у нее под башмаком!..

Шум и крики несколько поутихли лишь в тот момент, когда показалась вереница экипажей, возглавляемая огромной каретой.

Гвардейцы взяли на караул.

Жорж оттеснил оборванного парня, стоявшего в первом ряду, и пробился вплотную к шеренге гвардейцев.

С козел кареты соскочил придворный, распахнул дверцу и согнулся в почтительном поклоне.

Тяжело ступив на подножку, из кареты вывалился молодой одутловатый человек в атласном голубом камзоле и белом парике. На шее у него висела лента с огромным золотым орденом.

Раздались крики: «Да здравствует король!»

Людовик приветливо помахал рукой и направился к воротам собора. Его полное лицо выглядело туповатым и угрюмым. Следом за ним шла молодая женщина, одетая с изысканным вкусом. Нижняя губа красавицы была презрительно оттопырена.

– Австриячка!

– Мадам Дефицит!

Толпа шумела и бурлила, и трудно было понять, чего в ней больше: восторга к королю или ненависти к королеве.

Людовик подходит все ближе. Вот он поравнялся с тем местом, где стоит Жорж. Глаза монарха лениво скользят по голубым мундирам и на мгновение останавливаются на необычном лице молодого провинциала.

Затем королевская чета исчезает в темной пасти ворот.

Да, все было именно так.

Так оно и запомнилось на всю жизнь.

Но обряда коронации Жоржу все же увидеть не довелось. Хотя он пробился почти к самым воротам собора, дальше ходу не было: шеренга гвардейцев стояла нерушимо, как стена. О том, чтобы прорваться сквозь эту преграду, не приходилось и думать. Жорж несколько раз пытался, став на носки, подняться над общим уровнем голов. Но из этого также ничего не вышло. Все равно алтарь был слишком далеко, да и стоять в

подобной позе долго было невозможно.

Наконец Жорж устал и успокоился. Плетью обуха не перешибешь. Оставалось примириться, вдыхать удушливый аромат ладана, слушать ненавистное гудение колоколов да терпеливо ждать конца церемонии.

И по мере того как проходили унылые часы ожидания, юноша все чаще возвращался мыслью к вопросу: а зачем, собственно, он сюда так рвался? Что ему за дело до коронации, короля и всей этой сутолоки?.. Теперь впереди долгий путь, неприятности в коллеже, объяснения с дирекцией. И главное—даже не набрал материала для праздничного реферата: ведь не писать же, в самом деле, о том, как простолюдины поносили Австриячку!..

Молодой король также не задержался в Реймсе. На следующий день после коронации он отправился в Париж. Здесь он выслушал торжественную обедню в соборе Нотр-Дам, после чего посетил коллеж Луи-ле-Гран, патронами которого считались французские монархи. И при-

ветствовал его от лица воспитанников коллежа некий хрупкий юноша, по имени Максимилиан Робеспьер...

Так, в эти июньские дни 1775 года произошли две символические встречи, которые сами по себе, в отрыве от будущего, не имели никакого значения.

Разумеется, будущего не могли знать ни двадцатилетний Людовик, ни шестнадцатилетний Дантон, ни семнадцатилетний Робеспьер.

Ни один из них не имел ни малейшего понятия о том, как и когда пересекутся их жизненные пути.

По окончании коллежа Дантон продолжал жить в Труа. Он собственными средствами заканчивал образование, много читал и одновременно подрабатывал, помогая в делопроизводстве родственникам.

В столице Шампани их было несколько, в том числе два прокурора, судебный пристав и два священника. Особенно любил Жорж навещать своего дядю Николя, кюре из Барбери, неболь-

шого местечка в полутора лье от Труа. Гости здесь всегда ожидали вкусный обед и заботливые наставления. Последние, впрочем, для Жоржа были бесполезны. Он твердо решил отказаться от духовной карьеры. Колокольный звон остался для него ненавистным на всю жизнь.

В эти годы он неоднократно бывал и в родном Арси.

Милый Арси, крошечный городок, задремавший вдали от большого мира под шелест старых дубов и вязов!

Юноша мечтал: разбогатев и добившись славы, он обязательно вернется сюда и будет жить здесь, в кругу близких, с матерью, отчимом и сестрами...

Но для этого нужно было стать великим адвокатом, потрясти сердца соотечественников, приобрести состояние и независимость.

Для этого нужно было завоевать Париж. Только Париж.

Путь в Арси лежал через столицу.

Окончательное решение Дантон принял в

1780 году. После смерти отца оставалась его доля наследства, которой он мог располагать по своему усмотрению. Но что ему были эти крохи, ему, который мечтал о большой карьере и большом богатстве?

Он, не задумываясь, передал свою долю господину Рекордену, дела которого к этому времени сильно пошатнулись. А сам немедленно отправился в новое путешествие, в город гигантских возможностей, на поиски головокружительной карьеры.

Полный бодрости и надежд покидал двадцатилетний юноша родные места. Его путь от Арси до Парижа обошелся ему дешевле, чем прогулка из Труа в Реймс: владелец дилижанса, в котором он отбыл, старый друг семьи Дантонов, ничего не взял за проезд.

Ну, разве не было это хорошим предзнаменованием?..

Увы! Жоржа Дантона Париж принял с черного хода. Вместо широких улиц его встретили узенькие переулки, вместо дворцов—трущобы, вместо веселых сибаритов—мрачные, измучен-

ные труженики, вместо успеха—серенькое прозябание.

Дилижанс доставил путешественника на крохотную грязную улочку Жофруа-ль'Анье, где помещался постоянный двор «Черная лошадь». Его владелец, бравый Лайрон, шампанец по происхождению, принимал по преимуществу земляков. Каждому из них были обеспечены плохонькая комната и дешевый стол. Трактирщик не отказывал им также в протекции и добрых советах.

Именно Лайрон порекомендовал Жоржу обратиться к прокурору парламента, господину Вино, проживавшему неподалеку от «Черной лошади» на улице Сен-Луи.

Господин Вино долго и не без интереса рассматривал физиономию своего посетителя. Затем предложил ему сесть.

Работа?.. Гм... Собственно, ему не нужны служащие. Его штат укомплектован. Разве что по переписке бумаг... Вот перо и чернила. Пусть молодой человек покажет свое искусство.

Жоржа бросило в пот. Он писал так отвра-

тительно, что и сам едва разбирал свой почерк! Но он быстро овладел собой, небрежно отодвинул письменные принадлежности и встал.

— Я приехал сюда,—сказал он,—не для того, чтобы стать переписчиком.

Господин Вино вздрогнул от неожиданности, поднял брови и заново оглядел молодого человека. Потом улыбнулся.

— Люблю наглость,—заметил он.—В нашем деле без нее не обойтись.

И Дантон остался у прокурора в качестве клерка.

Конечно, это был не рай. Но это были квартира и стол, а возможно и тропинка к лучшему будущему. Кроме того, у прокурора была молодая жена, которая отнюдь не отвергала стихов и комплиментов напористого арсийца. . .

Дантон не подозревал, что в нескольких кварталах от его нового пристанища, в конторе другого прокурора, господина Нолло, служил таким же, как и он, клерком такой же, как и он, полный надежд провинциал, по имени Максимилиан Робеспьер.

Впрочем, пока это имя, как и имя Дантона, еще никому и ничего не говорило.

По долгу службы Жорж вскоре переступил порог Дворца правосудия.

Он был ошеломлен.

Сколько шуму и толкотни!

Кругом снуют хлопотливые люди в черных одеждах. Они о чем-то сговариваются друг с другом, спорят, кричат. Между ними там и сям мелькают продавцы брошюр и листов. Растерянные клиенты стараются кого-то поймать, что-то выведать. . .

Вот на трибуне появился какой-то грязноватый субъект. Он орет с такой силой, что, кажется, стены сейчас треснут. . .

Дантон откашлялся и хмыкнул.

Ну, с этим он бы смог потягаться. У него луженая глотка, способная выдержать любой искус. Жаль, что здесь выступить ему пока не придется. . .

Во Дворце правосудия новичок услышал великих юристов Троше и Тарже, познакомился с

Дюпором, Панисом и Билло-Варенном. Двое последних, как и он, были клерками.

С какой радостью он встретил здесь своего старого приятеля и однокашника по коллежу, ар-сийца Жюля Паре!

Паре также прибыл в столицу на поиски своей судьбы. Он не имел работы и с завистью смотрел на более удачливого товарища. . .

Первое время Дантон жил по-спартански.

Его могучее тело требовало большой физической нагрузки. Шумных улиц центра он избегал, но зато фехтовал, играл в мяч, ежедневно по несколько раз плавал в Сене.

Если случалось прихворнуть, то и здесь находилось дело. Как-то во время болезни Дантон просмотрел всю «Энциклопедию» — замечательный труд просветителей XVIII века. Он штудировал д'Аламбера, восхищался Бюффеном, хорошо усвоил идеи Монтескье, Руссо и Дидро. Последний был ему особенно близок.

Впрочем, человек практической складки, Жорж Дантон не очень увлекался философами

и философией.

Единственной роскошью, которую он себе позволял, был театр. От театра экономный провинциал не мог отказаться. Расин, Корнель и Мольер были его кумирами.

Толкаясь в парламенте и постепенно познавая скрытые пружины жизни, Дантон начал понимать, что без диплома ему ничего не добиться. Но как достать этот проклятый диплом? Сдать экзамен в Сорбонну? Днем работать, а ночи просиживать над учеными трактатами? И так несколько лет подряд!

Нет, на это он теперь не пойдет. И без того уже упущено слишком много времени.

Прислушиваясь к толкам судейской братии, Жорж узнал, что легче всего диплом адвоката получить в Реймсе. Там на это дело смотрели, по-видимому, проще, чем в Париже. Поговаривали даже, что дипломы там запросто продавались и покупались. . .

Не откладывая дела в долгий ящик, Дантон распрощался с господином Вино, приобрел место

в почтовой карете и укатил в Реймс.

Оттуда он вскоре вернулся с желанным дипломом.

Наступил 1786 год.

Пять весен минуло с тех пор, как провинциал появился в Париже. Пять лет исканий, надежд, разочарований.

А чего он добился? Что проку от того, что диплом, наконец, лежит в кармане? Какой толк, что судейский Париж знает Жоржа Дантона?

Он по-прежнему всего лишь адвокат без практики.

И молодой человек в который раз повторяет слова Дидро, изменив лишь имя:

– Как же это могло случиться, милый Жорж, что в Париже есть десять тысяч прекрасных обеденных столов, по пятнадцать или двадцать приборов на каждом, и ни одного для тебя? Есть кошельки, набитые золотом, льющимся направо и налево, и ни одна монета не попадает в твой карман! Тысячи краснобаев без таланта и без достоинств, тысячи ничтожеств, лишенных малейшего

обаяния, тысячи подлых, пошлых интриганов—и все хорошо одеты, а ты ходишь оборванцем! Доколе же будешь ты валять дурака?

Нет, надо встряхнуться! Надо действовать! Под лежащий камень вода не течет. Именно теперь Жорж пришел к выводу о необходимости купить должность.

Он изменил свои привычки.

Он стал «господином д'Антоном».

Он записался в масонскую ложу «Девяти Сестер».

Он не избегал больше шумных улиц.

Возвращаясь из Дворца правосудия, молодой адвокат пересекал площадь Дофины, поворачивал вправо, к Пон-Неф, и оказывался на людной Кэ де ль'Эколь. Здесь было много ресторанчиков и кафе,

В одном из них Дантон и нашел свою Габриэль.

Милостью всесильного случая...

Ей только что исполнилось двадцать четыре года.

Она была, бесспорно, хороша.

Быть может, пресыщенный сноб обнаружил бы некоторые дефекты в ее лице и фигуре.

Но если нос ее и был немного толстоват, то чудный овал лица, матовая белизна кожи, чистый красивый лоб—свидетель безмятежной юности, маленький, тонко очерченный рот и, главное, огромные влажные глаза заставляли забыть обо всем остальном.

Полнота? Но это был признак здоровья и силы, не идущий в разрез с грациозностью. При высоком росте и прямом стане она казалась вылепленной руками античного мастера.

В каждом ее взгляде, движении, повороте головы было что-то неувлимо трогательное, наивное и мягкое.

Такая женщина должна была стать верной женой и любящей матерью, сдержанной, чуткой, великодушной.

Дантон понял это.

Что касается Габриэли, то и она правильно разглядела сквозь внешнее безобразие молодого человека главное—могучую силу, несокрушимую энергию и жадную любовь к жизни.

И он стал для нее желанным.

Жорж прямо и без обиняков развил волновавший его сюжет.

Да, пока что он небогат, это верно, но скоро все может измениться. Нужно только, чтобы уважаемый господин Шарпантье ему поверил и помог. Дело в том, что он присмотрел весьма выгодную комбинацию. Некий Гюэ де Пези, адвокат при Королевских советах, уже с 1774 года ищет себе заместителя. Он готов продать свою должность со всеми вытекающими из нее привилегия-

ми и доходами за сумму в семьдесят восемь тысяч ливров.

Шарпантье крикнул и широко раскрыл глаза.

Должность за семьдесят восемь тысяч ливров! А не проще ли милому мальчику сделаться китайским императором?..

Дантон улыбнулся.

Да, на первый взгляд все выглядит несколько фантастично. Но на самом деле здесь ничего невозможного нет. Гюз де Пези продает должность в рассрочку. Немедленно надо уплатить всего пятьдесят шесть тысяч. Десять вносятся при передаче должности, а остальные двенадцать раскладываются на четыре года. Пять тысяч он, Жорж, имеет уже на руках: по его просьбе родные утилизировали часть его наследства и выслали деньги наличными. . .

Шарпантье снял свой круглый парик и вытер лысину. Он продолжал бестолково смотреть на своего собеседника. Так и есть, сумасшедший! Пять тысяч! Пять тысяч—это, в сущности, ничто. Что же думает милый затейник о следующих пятидесяти одной?

Дантон невозмутимо продолжал.

Следующую часть суммы можно реализовать так. У него есть на примете лицо, которое под поручительство родственников может дать немедленно тридцать шесть тысяч. Об этом уже все договорено. Остаются пятнадцать. . .

Дантон постарался изобразить одну из своих самых очаровательных улыбок.

Относительно этих пятнадцати он целиком и полностью уповает на своего будущего тестя, если уважаемый господин Шарпантье согласится стать таковым.

Адвокат встал и почтительно поклонился.

Старик сидел, точно пришибленный. Он силится понять и никак не мог. Когда, наконец, понял, еще раз взглянул на Дантона.

На этот раз в его взгляде было уважение и признание. Вот так хватка! Вот так умение братья за дело!

Да, такой далеко пойдет!

Шарпантье поверил молодому человеку и поверил в него. И он почти наверняка знал, что не пожалеет об этом.

Дантону неслыханно повезло.

Он не все рассказал папаше Шарпантье о существе комбинации, участником которой с помощью всесильного случая он оказался.

В том самом доме на одной из наиболее неказистых парижских улиц, где помещалась его скверная квартира, проживала некая мадемуазель Франсуаза Жюли Дюоттуар. Дантон хорошо знал эту уже не первой свежести девицу по Труа, где Франсуаза владела солидной недвижимостью.

Что привело ее в Париж?

Девушка откровенно призналась Жоржу, что вот уже несколько лет влюблена в одного столичного адвоката. Казалось бы, ничто не мешает их счастью. Но возлюбленный заявил, что не пойдет под венец с Франсуазой, пока не будет обладать достаточными средствами, которые он рассчитывает получить, продав свою должность. Однако вот уже четыре года, как сделано объявление, а провести сделку не удастся: то ли все люди обеднели, то ли ослабела тяга к судебским магистратурам. . .

Жорж чуть не подпрыгнул от радости. Добыча сама плыла к нему в руки! Он сразу увидел, какую пользу можно извлечь из услышанного рассказа. И тотчас же предложил Франсуазе свои услуги.

Мадемуазель хочет соединиться с возлюбленным? Для этого тот вынужден продать свою должность? Ничего нет проще. Покупатель налицо, вот он, сам Жорж Дантон. Правда, у него нет денег. Но мадемуазель, отнюдь не стесненная в средствах, может его ссудить ради мечты своей жизни?

Франсуаза прослезилась и расцеловала Жоржа. Однако тут же заявила, что всей требуемой суммы дать не может. В ее распоряжении было якобы всего тридцать шесть тысяч, каковые она и согласилась предоставить своему спасителю под нотариально заверенное поручительство его родных.

Нечего и говорить, что Жорж против этого не возражал.

Нечего говорить также, что имя адвоката, продавшего должность, было Гюэ де Пези.

Дальше все пошло, как в сказке, и закончилось самым лучшим из всех возможных концов.

Господин Гюэ де Пези получил искомые деньги, Франсуаза и Габриэль—любящих мужей, старый Шарпантье—многообещающего зятя.

Но всех больше приобрел Жорж Жак Дантон.

Он оказался обладателем красивейшей из женщин и примернейшей из жен, в его распоряжении были выгодная должность и кредит богатого коммерсанта, а впереди открывалась широкая дорога к материальному благополучию и успеху.

Да, этот 1787 год был для него удачным. Он компенсировал за все долгие мытарства и ожидания.

У истоков благополучия

Перелистывая справочник 1788 года «Современный Париж», любопытный читатель мог бы обнаружить на странице, посвященной Торговому двору, следующее указание:

«№ 1. Кабинет г. д'Антоня, адвоката при Королевских советах».

Итак, еще два года назад никому не известный провинциал теперь громко заявил всему Парижу о своем существовании.

Господа клиенты!

Сиятельные принцы, герцоги и маркизы! Преподобные отцы!

Почтенные буржуа!

Все, кто имеет нужду в адвокате и золото в кошельке, приходите на улицу Кордельеров, к до-

му № 1, ныряйте в широкую арку, ведущую на Торговый двор, поднимайтесь по парадной лестнице на второй этаж, и там на массивной дубовой двери вы увидите дощечку с той же надписью:

«Кабинет г. д'Антоня, адвоката при Королевских советах».

Смело звоните, и отказа не будет!

Ибо обладатель сих апартаментов, человек даровитый и энергичный, который к тому же погашает огромный долг, ныне берется защищать любые дела при одном лишь условии: чтобы они оплачивались большим гонораром!

Сразу вслед за женитьбой Дантон покинул свою уютную квартиренту на улице Мовез-Пароль. Теперь он должен был начинать настоящую жизнь.

После непродолжительных поисков он остановил свой выбор на Торговом дворе. Здесь в солидном пятиэтажном доме сдавалась обширная квартира. Жорж осмотрел ее и остался доволен.

Вскоре на улице Кордельеров застучали молотки, а еще через короткое время подкатили фу-

ры, доверху загруженные разнообразными предметами.

Прошло два-три месяца, и квартиру в доме № 1 было не узнать.

Стены покрылись тисненными обоями, цветным шелком, дорогими панелями и зеркалами.

В прихожих и салонах появилась мебель—ореховые и красного дерева шкафы, инкрустированные перламутром и крытые шлифованной медью столы, столики и бюро, пузатые комоды, кресла и пуфы, искусно обтянутые бордовым утрехтским велюром.

В буфетах сверкали дорогие сервизы, кладовые ломились от провизии и вин. И две краснощекие горничные без конца суетились, наводя на все лоск и глянец.

А чего стоил кабинет Дантона!

Письменный стол, крытый зеленым сукном, казался гигантским саркофагом. Справа от стола располагались отделанное бронзой массивное бюро и узкая оттоманка, слева—маленький столик и несколько стульев для посетителей. По стенам тянулись восемь шкафов, плотно на-

битых книгами, газетами и картонными папками. Убранство комнаты дополняли два высоких бронзовых канделябра, стоявших по обе стороны стола.

Да, теперь господин адвокат мог не краснеть перед своими клиентами. В таких хоромах не было зазорно принять и министра!

Министры действительно появились.

Сам Ломени де Бриен, генеральный контролер финансов и земляк Дантона, ведет с ним переговоры. Его подзащитным становится будущий хранитель государственной печати Луи Франсуа де Барантен. Принц де Монбарей, маркиз Кле де ля Девез, виконты Кайла и многие другие видные аристократы обращаются к нему с просьбами и поручают тяжбы.

И потомок шампанских мужиков Жорж Жак Дантон не подводит своих родовитых доверителей.

В звучных речах он прославляет доблесть знатных на государевой службе и на полях сражений. Он хлопочет об утверждении их титулов

и денежных интересов. Он обосновывает их наследственные права и привилегии. Он щедро расшаркивается перед царедворцами и королями.

Правда, очень часто молодой адвокат говорит и о другом.

Он в изобилии защищает дела о буржуазной собственности, о материальных претензиях корпораций и отдельных лиц податного сословия.

Иногда не пренебрегает даже тяжбами ремесленников и крестьян.

И всюду Дантон оказывается на высоте.

Каждый раз он прекрасно играет свою роль.

Сильный, высокий, безобразный, он очень импозантен в своей черной мантии с большим белым жабо, в белом парике и четырехугольном токе.

Когда он поднимался к барьеру, публика настораживалась. Он начинал говорить, и его речь шла под аккомпанемент непрерывных рукоплесканий.

Как он говорил! Голос его был необъятным. Казалось, он может перекричать любую стихию. Он никогда не писал своих речей. Он импрови-

зировал. Импровизировал блестяще. Он мог выступать с равным успехом на любую тему. Почти все дела, за которые он брался, были выиграны.

За два года службы в Королевских советах Дантон достиг многого. Он оплатил меблировку своей квартиры, рассчитался с папашей Шарпантье и приступил к возмещению главного долга.

Для делопроизводства были наняты два клерка: давнишний знакомый Жюль Паре и некто Дефорг, молодой человек, отличавшийся усердием.

В мае 1788 года Габриэль принесла мужу первенца. Дедушка Шарпантье, умиленный этим событием, решился на ответственный шаг.

Он продал кафе «Парнас» и купил благоустроенную ферму в пригороде Парижа, близ Фонтенэ.

Теперь Дантоны, кроме городской квартиры, могли располагать превосходной виллой.

Все продолжало идти как в сказке.

Но 1789 год уже наступил.

Частная жизнь господина д'Антоня прибли-

жалась к неожиданному кризису.

Франция бурлила, как гигантский котел. Правительство зашло в тупик, и чем дальше, тем более запутывалось в собственных тенетах.

Давно уже ободренные плебеи и мирные буржуа оставили надежды на «доброе» короля Людовика XVI. Толстяк был не лучше своих предшественников. Взбалмошная Антуанетта диктовала министрам законы, подсказанные ей самой придворными любимцами. Тюрго, посягнувший на привилегии знати, быстро получил отставку, а его преемники вернулись к старой песне.

«Мучная война» была лишь прелюдией новых восстаний, охвативших всю страну.

В Версале еще продолжали танцевать и веселиться, но острый дефицит набрасывал петлю на блистательнейший из дворов Европы.

И настал день, когда под дамокловым мечом банкротства правительство оказалось вынужденным вернуться к мысли Тюрго о реформе налоговой системы: без обложения привилегированных сословий—дворянства и духовенства—нечего бы-

ло и думать о разрешении финансового краха.

Но привилегированные оказали сокрушительный отпор правительству. Тщетно король обращался к нотаблям, тщетно министр Ломени де Бриен давил на парламент.

И тогда-то был брошен лозунг о созыве Генеральных штатов, как последней мере спасения. На это архаическое учреждение, не собиравшееся более ста лет, возлагали надежды и король, и привилегированные, и нация.

Правительство думало, что нашло выход.

В действительности же это был порог революции.

По временам, отвлекаясь от своих обычных дел, Жорж задумывался.

Он связал свою судьбу с магистратурами старой монархии и боялся ее крушения. «Разве Вы не видите, что надвигается лавина?»—писал он своему могущественному доверителю де Барантену в 1788 году.

А при вступлении в должность он произнес необычную речь, последние фразы которой зву-

чали как заклятие:

– Горе тем, кто готовит революцию! Горе тем, кто ее совершит!

Но жизнь не вняла призывам господина д'Антонна.

2.
КАПИТАН ГВАРДИИ
СВОБОДЫ
(АПРЕЛЬ—СЕНТЯБРЬ
1789)

С кем ты, Дантон?

Вечером 13 июля 1789 года известный в Париже адвокат господин Лаво, прогуливаясь по улице Кордельеров, вдруг услышал тревожный звон колокола. Идя на звук призыва, адвокат очутился под аркой Кордельерского монастыря. Здесь он стал очевидцем весьма любопытной сцены.

Церковь была набита людьми. Посередине стоял большой стол, на котором ораторствовал великан с квадратной рябой физиономией. Свою речь верзила сопровождал энергичными жестами. Его голос гремел, как иерихонская труба.

Лаво с изумлением узнал в ораторе своего коллегу по работе в Королевских советах Жоржа Дантона. Изумление возросло еще более, когда он понял содержание речи.

Дантон призывал граждан к оружию.

Против парижан, говорил он, движется армия разбойников. Пятнадцать тысяч бандитов собрались уже на Монмартре. Тридцать тысяч идут из Версаля. Эти наемиты деспотизма готовы обрушиться на столицу. Они сожгут и разграбят город, они перережут мирных жителей. Чтобы помешать этому, нужна бдительность. Необходимо единение всех сил народа!

Когда потрясенный Лаво кое-как протиснулся сквозь толпу и, дождавшись, пока оратор кончил, обратился к нему с недоуменным вопросом, Дантон нахмурил брови и тихо заметил:

— Вы ничего не видите и не понимаете. Самодержавный народ восстал против деспотизма. Не сомневайтесь: трон будет низвергнут, и ваше общество погибнет. Задумайтесь-ка получше над этим.

Лаво обалдело смотрел на говорившего. Такие речи в устах члена высокой корпорации? В своем ли уме его сослуживец?

— Я не вижу в этом движении ничего,— наконец пробормотал он,— кроме бунта, который

приведет вас и вам подобных на виселицу!

Недоумение маститого адвоката было законным. Каждый, кто знал Дантона, был бы не менее обескуражен.

Что за чертовщина! Этот респектабельный господин д'Антон, вчера еще славословивший не только аристократов, но и Людовика XVI вместе с его развратным дедом, сегодня вдруг заговорил языком крамолы! Он, всем своим положением и достатком обязанный абсолютной монархии и ее институтам, вдруг выступает как ее разрушитель! Он, видите ли, поносит «деспотизм» и восхваляет «самодержавный народ»!

Может быть, господин д'Антон действительно рехнулся?

Нет, Жорж Дантон сегодня был в здравом уме, более здравом, чем когда бы то ни было. И позиция, занятая им в бурные дни лета 1789 года, была обусловлена трезвыми и длительными размышлениями.

Уже с ранней весны этого необыкновенного года Жорж потерял покой. Его не радовали ни

служебные успехи, ни уютная квартира, ни обожаемая жена. Правда, именно весной его подстерегло личное горе: 25 апреля умер его маленький сын.

И все же главное было не в этом.

События несравнимо более широкого масштаба складывались так, что Дантону, в недалеком прошлом баловню судьбы, приходилось переосмысливать свои убеждения, взгляды и поступки.

В прежние времена говорили: все дороги ведут в Рим.

В апреле 1789 года можно было сказать: все дороги ведут в Версаль.

На Версаль—королевскую резиденцию, в одном из дворцов которой предстояло заседать Генеральным штатам,—отныне были устремлены взоры нации.

Жители городов, местечек и деревень в наказах депутатам изливали свои жалобы и слезы. Но не только жалобы. Не только слезы.

Люди требовали.

Там, в Версале, должны были утвердить меры, направленные к облегчению участи народа.

Там, в Версале, должна была окончить свои дни старая Франция, страна вековых привилегий, государство, в котором двести тысяч попов и дворян выжимали соки из двадцати пяти миллионов остальных граждан, принадлежавших к податному сословию.

Но старая Франция также уповала на Версаль, свой город-символ, любимое детище короля-солнца. Благородные господа, еще недавно фрондировавшие против абсолютной монархии, теперь посылали своих представителей, чтобы поприжать хвост всем этим мужикам и торговцам, чтобы отстоять исключительное положение дворянства и церкви.

Пятого мая в торжественной обстановке состоялось открытие Генеральных штатов.

С великим нетерпением и живейшим интересом депутаты третьего сословия приготовились выслушать тронную речь своего короля. Они ждали, что Людовик XVI расскажет им о внут-

ренных трудностях в государстве и о тех средствах, с помощью которых их можно ослабить. Они ждали приглашения к законодательной работе.

Их ожидания были обмануты.

Монарх в первой же фразе напомнил, что «безраздельно повелевает нацией». Ни словом не обмолвившись о реформах, он заявил, что сохранит неприкосновенными свою власть и принципы абсолютной монархии. Предостерегая депутатов от склонности к «опасным новшествам», он указал, что основная задача Штатов—помочь установлению порядка в финансах.

Короче говоря, от Штатов требовали одобрения новых налогов.

Эту же мысль с большей обстоятельностью развил хранитель печати де Барантен, как и король, энергично протестовавший против «пагубных мечтаний».

Оставался доклад Неккера.

Жак Неккер, генеральный контролер финансов, фактически первый министр Людовика XVI, в это время был весьма популярен. Король, неко-

гда давший ему отставку, согласился вернуть его к власти лишь в результате энергичного нажима общественного мнения. Ожидали, что Неккер-то уж обязательно скажет о главном.

Пустая надежда. Очевидно, министр в своем трехчасовом докладе не захотел или не посмел идти вразрез с требованиями короля.

Позиция двора четко определилась.

Когда правительство дало согласие на созыв Генеральных штатов, оно рассчитывало сыграть лишь одну из обычных «представительных» комедий: что не удалось с нотаблями и парламентом, то, по мысли царедворцев, должно было обязательно выйти со Штатами.

Во времена далекого средневековья Генеральные штаты являлись сословным органом, дававшим королю разрешение на сбор экстренного налога. Избранники трех сословий—духовенства, дворянства и горожан—обычно, покрихтев, утверждали требуемый налог, после чего послушно расходились.

Но сиятельные господа не учли одного: что

было возможно в XIV веке, оказалось совершенно несбыточным в XVIII, тем более в момент острого внутреннего кризиса, потрясавшего страну.

Третье сословие в Штатах 1789 года было представлено почти исключительно крупной буржуазией.

Однако депутаты буржуазии чувствовали за собой поддержку всей нации, а потому и говорили языком нации. Вместо того чтобы вотировать налог и тихо разойтись, они смело провозгласили себя Национальным учредительным собранием, поясняя, что ставят целью учреждение нового строя и выработку конституции.

Такое поведение многим показалось чересчур смелым.

Безрассудно смелым показалось оно на первых порах и Жоржу Дантону.

Дантон с интересом следил за новостями из Версаля. Он был поражен всем происходившим. Он ждал со дня на день: вот король вознегодует, прикажет—и гвардейцы разгонят самозванное «собрание», а вожаков упрячут в тюрьму.

Но король не приказал.

Напротив, он санкционировал самоуправство буржуазии, а депутаты привилегированных, хотя и не без сопротивления, присоединились к самозванцам. . .

Становилось ясно, что король не разогнал осмелевших податных не потому, что не пожелал, а потому, что не смог. А не смог оттого, что за депутатами третьего сословия стояла вся Франция.

Эти соображения медленно и трудно доходили до сознания Дантона, но когда дошли, угнездились достаточно прочно.

И потомок шампанских землепашцев понял, что дни абсолютной монархии сочтены. Понял он и другое.

Сейчас нужно выбирать, выбирать быстро и определенно. Ибо вопрос стоит так: с кем ты, Дантон? С теми, кто тебе покровительствует, но кто чужд и обречен, или с теми, из чьей среды ты сам вышел и кто одержит победу?

Дантон был сыном третьего сословия. Интересы этого сословия были его интересами.

Он занял место в шеренге борцов. И его могучий голос, еще недавно предостерегавший от революции, теперь предостерегал от неверия в революцию:

– Не сомневайтесь: трон будет низвергнут, и ваше общество погибнет. Задумайтесь-ка получше над этим!

В июльские дни 1789 года, смешавшись с ревущей толпой парижан, Жорж Дантон вдруг прозрел, прозрел настолько, что на какой-то момент оказался пророком. . .

Дни перелома

Три дня сыграли особенно большую роль в выяснении дальнейшего пути Дантона.

Двенадцатого июля он наблюдал и слушал.

Тринадцатого—вмешался в ход событий.

Четырнадцатого—твердо и окончательно определил в них свои позиции.

А после четырнадцатого возврата к прежнему быть уже не могло ни для абсолютной монархии, ни для господина д'Антонна.

Ибо в этот день великая революция нанесла старому миру первый сокрушительный удар.

Утром в воскресенье, двенадцатого июля, Жорж поцеловал, как обычно, Габриэль и вышел из дому, чтобы отправиться во Дворец правосу-

дия.

Пройдя улицу Кордельеров, адвокат свернул к набережной.

Занимался жаркий солнечный день. Несмотря на ранний час, былолюдно. Огромный город жил повседневной деловой жизнью. По улицам торопились группы плохо одетых людей. Для всех этих ремесленников и подмастерьев, рабочих и сезонников воскресений не существовало: их скудный заработок не позволял отдыхать.

У моста Нотр-Дам собралась толпа.

Обсуждали тревожную новость: не далее как сегодня утром Париж зачем-то наводнили войска. Они пришли из Версаля. Это были отборные иноземные части.

Подойдя к Гревской площади, Дантон убедился в справедливости услышанного. Всадники в голубых мундирах и золоченых кирасах перекрывали улицу. Пехотинцы под ружьем топтались на тротуарах.

Во Дворце правосудия адвокат пробыл довольно долго. Когда он освободился и вышел на

улицу, солнце склонялось к западу. Тревожно гудели колокола. Жорж не успел опомниться, как очутился в людском водовороте, который увлек его к парку Пале-Рояля.

Парк, примыкавший к резиденции герцога Орлеанского, давно уже стал центром революционной пропаганды. Этим летом он почти всегда был полон. Но сегодня здесь творилось что-то совершенно невообразимое.

На столах, скамейках, поваленных ящиках устроились ораторы, которые что-то разъясняли народу. Шум стоял невероятный. Многие, чтобы лучше слышать и видеть, влезли на деревья.

Дантон хорошо знал некоторых из выступавших.

Вот журналист, гневный обличитель Лусталло, вот похожий на медведя буян, маркиз Сен-Юруг, а этот, с растрепанными волосами и шпагой в руке, это Камилл Демулен, самый пламенный и популярный из ораторов-демократов.

Протискиваясь между клетчатыми фраками буржуа и синими блузами ремесленников, Дантон подобрался к группе, окружавшей Демулена.

Оратор неистовствует. Ему мало шпаги, он выхватывает пистолет. Срывающимся мальчишеским голосом он кричит:

– Граждане! Вы обмануты! Правительство готовит вам новую Варфоломеевскую ночь! Лучшие патриоты будут перерезаны!.. Вам нельзя медлить ни секунды! Вооружайтесь! Сплачивайте теснее ряды!..

Дантон в недоумении стал расспрашивать соседей. Ему с охотой объясняли.

Час назад прибыл человек из Версаля. Он сообщил об измене двора. Да, о гнуснейшей измене! Вчера по наущению Австриячки и своих клеветников король неожиданно вручил Неккеру и другим либеральным министрам приказ об отставке. Неккер отправлен в изгнание. К власти призваны ярые реакционеры во главе с бароном де Бретей, который похваляется, что сожжет Париж. А для того чтобы парализовать возмущение столицы, сюда прислали полчища иностранных войск под командованием придворного лизоблюда барона Безанваля. Следующим актом двора будет, несомненно, разгон Учредительного собра-

ния!..

Дантон слушал. Ага, значит, все-таки решились. Не слишком ли поздно, господа?..

Демулен запихнул пистолет за пояс, сорвал с дерева лист и прикрепил к своей шляпе. Это кокарда революции! Все следуют его примеру. Он спрыгивает со скамейки, узнает Дантона и пожимает ему руку.

– К Вандомской площади! Вперед!..

Толпа устремляется за своим вожаком. . .

Торжественное шествие.

Из музея восковых фигур притащили бюсты Неккера и герцога Орлеанского. Их несут впереди. Изображение Неккера держит почтенный старец с длинной седой бородой. Рядом шагает гордый хозяин музея.

Неккер. . . Герцог Орлеанский. . .

Дантон всегда симпатизировал герцогу. Ближайший родственник царствующего дома, этот принц не пользовался фавором при дворе и казался чуждым сословных предрассудков. Богатейший землевладелец, он был во многом соли-

дарен с буржуазией. Депутаты податных смотрели на него как на своего.

Неккер. . . Герцог Орлеанский. . .

Шествие напоминает религиозную процессию. Лица у всех торжественно-спокойны. Кажется, сейчас грянет религиозный гимн. . .

Но нет. Грянули выстрелы.

Со стороны площади Людовика XV мчится кавалерийский отряд. Конники вихрем врезаются в толпу демонстрантов. . . Бюст Неккера падает на землю. . . Старик, схватившись за голову, медленно оседает. . .

Толпа с криками расступается.

Но парижане не покидают поля боя.

Отойдя к тротуарам, они быстро собирают камни и щебень.

– Нате, доблестные уланы, получайте подарки!..

У окон домов появляются сочувствующие. В незваных гостей летят поленья, цветочные горшки, битые тарелки. . .

Кавалерийский отряд, обескураженный слишком бурным приемом, заворачивает обратно. . .

– К оружию!..

Этот клич теперь раздавался повсюду. Первое нападение солдат стало сигналом ко всеобщему восстанию.

Призывно гудел набат.

Люди вооружались чем попало. Прежде всего опустошили арсенал. Потом взялись за магазины. В городе не осталось ни одной оружейной лавки, которая не вытряхнула бы своих недр. Кое-где владельцы лавок, воодушевленные общим энтузиазмом, сами раздавали ножи, ружья и пики. Были конфискованы все запасы пороха и селитры.

Звуки стрельбы долгое время слышались с Вандомской площади и площади Людовика XV,

Королевские войска сопротивлялись вяло, отдельные части переходили на сторону парижан. Народ одерживал победу.

К ночи барон Безанваль решил покинуть столицу.

В эту ночь вопреки обычному Дантон спал плохо.

Впечатления дня снова и снова вспыхивали в мозгу с необыкновенной силой. Беспокойные мысли не давали забвенья.

Теперь он был уверен: против народа придворная камарилья не устоит.

Лавина двинулась. Дантон ее видел. Волна народной ярости захватила даже его, адвоката при Королевских советах.

В конце концов его место среди тех, кто боролся за свои права, за свободу.

Свобода!..

Это слово, такое короткое и такое могучее, теперь ослепляло Дантона.

Как он был близорук, как наивен, когда цеплялся за свои жалкие привилегии!..

Да и какие это, к черту, привилегии?

Он может, конечно, заработать кучу денег. Но что дадут ему деньги в обществе, где податные бесправны? Пусть он тщеславно величает себя «господином д'Антоном». Все равно каждый аристократишка, любой промотавшийся дворянчик может его безнаказанно третировать и оскорблять.

В старом мире он никогда не станет человеком.

Он навсегда обречен играть третьестепенные роли.

Так зачем же ему, Жоржу Дантону, яростному и могучему Дантону, любящему жизнь и успех, жадно рвущемуся к большой деятельности, зачем ему держаться за старое?..

Свобода!.. Вот его кредо отныне!..

Он пойдет с Лусталло и Демуленом.

Он покорится революции и возглавит ее!..

Тринадцатого июля наряду с другими агитаторами уже выступает и Жорж Дантон.

Он выступает как глашатай революции.

Его громовой голос слышен повсюду.

Именно в этот день его увидел и услышал в церкви Кордельеров адвокат Лаво, который был настолько потрясен неожиданной встречей, что запомнил ее на всю жизнь.

К утру 14 июля Париж был в руках восставшего народа.

Лишь мрачная громада Бастилии нависала

над Сент-Антуанским предместьем, напоминая, что победа еще не завершена.

Страшная крепость-тюрьма была последним убежищем контрреволюционных сил в столице. Она оставалась важным стратегическим пунктом в руках реакции. Ее комендант заготовил большое количество пороха, рассчитывая в положенное время нанести удар труженикам Парижа.

Но удар нанесли сами парижане.

В четыре часа пополудни после решительного и жестокого штурма Бастилия была взята.

Падение Бастилии было высшей точкой славных июльских событий.

Четырнадцатое июля стало первым днем революции: в этот день абсолютная монархия получила незаживающую рану.

До этого королю и старому порядку противостало лишь буржуазное Собрание. Ораторы Ассамблеи потеснили аристократов и заставили двор пойти на тактические уступки.

Но этот враг не был страшен абсолютизму.

С крупными буржуа, на худой конец, можно

столковаться.

Другое дело—народ. Это был могучий, несокрушимый враг.

Народ еще верил в короля, как верил и в своих депутатов. Но революционный инстинкт народа указал ему правильный путь: на провокацию он ответил восстанием, на попытку возврата к старому—низвержением оплота абсолютизма.

И двор отступил—что же еще ему оставалось делать?

Король расшаркался перед Собранием и вернул Неккера. Верховная власть санкционировала первый шаг революции и молчаливо признала факт взятия парижанами своей главной цитадели.

В штурме Бастилии Жорж Дантон непосредственного участия не принимал.

И тем не менее этот день для него оказался решающим: он вступил в народную милицию дистрикта Кордельеров. Он стал капитаном гвардии Свободы.

А на Бастилию он все же пошел, пошел один

на один.

Правда, случилось это уже сутки с лишним спустя после ее взятия. . .

Капитан Дантон проявляет себя

Темная безлунная ночь. Париж спит. Спит и поверженная Бастилия. Сон ее тяжел и мрачен. Ее огромные башни как бы осели и поникли. Словно каменная громада знает, что жить ей осталось недолго.

Вчера казематы тюрьмы расстались со своими жертвами.

А через несколько дней она и сама исчезнет, по воле народа ее разрушат, разнесут по камням, сровняют с землей. И на месте ее появятся столб и надпись: «Здесь танцуют!»

Но пока крепость еще жива.

Новые парижские власти поставили во главе Бастилии своего человека, зажиточного избирателя Сулеса, которому дан строгий приказ никого

не пропускать и ждать дальнейших распоряжений.

Избиратель Сулес горд своей миссией.

Комендант Бастилии—это что-нибудь да значит! Всякого забулдыгу на такую должность не поставят. Это знак расположения Ратуши и залог большой карьеры в будущем.

И Сулес старался изо всех сил: расставлял и проверял караулы, распекал солдат, ревизовал пустые камеры, посылал и принимал депеши.

Он не имел ни минуты покоя.

Честно говоря, он так хлопотал и суетился еще и потому, что немного трусил.

Гражданин Сулес отнюдь не считал себя суеверным.

Но жить в Бастилии... Особенно ночью!..

Здесь каждый скрип леденит душу. Каждый шорох наводит на мрачные мысли. Кажется, страшные тени прошлого обступают тебя...

Сулес глянул в окно.

Слава богу, рассвет уже близок. Да, тюремные часы бьют три раза. Надо пройтись, осмотреть наружные стены.

Когда комендант, сопровождаемый ординарцем, освещавшим ему дорогу, обошел крепость и приблизился к подъемному мосту, он услышал шум голосов и стук копыт.

При свете фонаря Сулес увидел группу всадников человек в сорок. На кавалеристах были колеты народной милиции. Внимание Сулеса привлек крупный мужчина с густым голосом, находившийся впереди отряда. Он о чем-то разговаривал с другим, одноруким, видимо отдавая распоряжение. Однорукий подъехал прямо к коменданту.

– Кто здесь главный?

– Допустим, я. Что вам угодно и что означает это вторжение?

– Мне ничего не угодно, а вот мой начальник требует, чтобы его немедленно пропустили в крепость.

– Кто такой ваш начальник?

– Капитан Дантон.

Это имя ничего не сказало Сулесу. Пока он раздумывал, что ответить, капитан, потеряв терпение, приблизился. Физиономия Дантона не

внушала Сулесу ни расположения, ни доверия.

– Я не имею права кого-либо принимать в Бастилии. Обратитесь в Ратушу и ходатайствуйте о специальном разрешении.

Дантона обуяла ярость. Он едва владел собой. Вначале он было хотел объяснить Сулесу, что явился сюда по распоряжению дистрикта Кордельеров и имеет поручение осмотреть внутренние камеры и казематы крепости. Но теперь вместо этого он переспросил издевательским тоном:

– Так, значит, обратиться в Ратушу?

– Да, в Ратушу.

– И ходатайствовать о специальном разрешении?

– О специальном разрешении.

– А так не пропустишь?

Сулес побледнел, но твердо ответил:

– Нет, не пропущу.

Тогда Дантон оглянулся, заложил два пальца в рот и протяжно свистнул.

Прежде чем злополучный комендант успел опомниться, его схватили и, скрутив за спиной

руки, перебросили на одну из лошадей.

В одно мгновение отряд исчез, оставив на мосту ординарца, потерявшего от ужаса дар речи.

– Ну и молодчага же этот господин Дантон! Слышали? Он раскрыл новый заговор! Только позавчера народ казнил старого коменданта Бастилии, а вчера уже появился новый, такой же негодяй. Но Дантон арестовал его и доставил сюда, к кордельерам. А сейчас соберется народ и будет судить изменника!..

Колокол кордельеров звонил во всю мочь. Заспанные люди быстро заполняли церковь. Большинство уже по дороге узнало, в чем дело. Теперь все горели нетерпением. Хотелось поскорее допросить и наказать предателя.

«Предатель» стоял тут же, ни жив ни мертв. Бледный как мел, висел он на руках двух милиционеров и, казалось, без их помощи не мог держаться на ногах. На все вопросы он с перепугу бормотал что-то невнятное, едва шевеля заплетаящимся языком.

Многие из собравшихся не могли ничего по-

нять. Иные спрашивали:

– Кто это?

Иные думали, что видят того самого коменданта Бастилии, которого повстанцы якобы убили 14 июля.

– Значит, его вовсе не убивали?

Им старались объяснить, но объяснения также были весьма туманны. Все, однако, сходились в одном: капитан Дантон—несомненный герой и спаситель отечества!..

Время шло. Нужно было на что-то решаться.

Большинство считало, что разговаривать не о чем. Чего же с ним канителиться? Вздернуть на ближайшем фонаре, да и конец делу!

Капитан Дантон, однако, вовсе не кровожаден. Гнев его давно остыл. А озорная проделка заходила слишком далеко, тем более что сам-то он хорошо знал суть дела: несчастный Сулес был повинен единственно в том, что отказал Дантону в повиновении, которым, строго говоря, вовсе и не был ему обязан.

Жорж принялся уговаривать членов дистрик-

та.

Зачем убивать этого трусливого ублюдка? Разве все не видят, как он трепещет? Сейчас от страха он не может вымолвить ни слова. А если он действительно знает что-либо важное? Нет, его следует препроводить в Ратушу, а там высшая власть допросит его в более подходящей обстановке и сама решит, что с ним делать. Кордельеры не станут пятнать себя самосудом!

С Дантоном неохотно согласились. Сулеса, уже считавшего себя погибшим, торжественно препроводили в Ратушу.

Члены муниципалитета, как и предвидел Жорж, сразу узнали своего ставленника. Жизнь Сулеса была спасена. Мало того, возмущенные советники, взяв коменданта под защиту, с великим гневом обрушились на самоуправника Дантона и выразили ему официальное порицание...

Дантон хохотал от души. Плевать ему на их порицание! Да, конечно, он немного погорячился. Но все обернулось к лучшему. Пусть господа из Ратуши запомнят: с кордельерами им придется считаться!

А то, что он нажил себе врагов, его не беспокоило. Что ж, господа, поборемся! Посмотрим, кто кого!..

Новые времена—новые власти

Та новая власть, которая командовала в парижской Ратуше и с которой Жорж Дантон начиная с 16 июля вступил в жестокую борьбу, родилась в ходе первых дней революции.

Еще накануне падения Бастилии крупные собственники столицы, видевшие, к чему клонится дело, и обеспокоенные размахом движения, приложили все усилия, чтобы перехватить народную инициативу в свои руки.

Богатые выборщики Парижа заняли Ратушу и учредили явочным порядком свой правительственный орган—Постоянный комитет. К участию в работе комитета были привлечены некоторые из представителей старой королевской администрации.

Дабы обуздать народное восстание и ввести его в нужное русло, Постоянный комитет издал приказ о формировании народной милиции. Каждый дистрикт столицы должен был выделить двести состоятельных граждан и вооружить их. По мысли членов комитета, эта милиция вместе с отрядами французской гвардии, перешедшими на сторону восстания, могла стать не только армией революции, но также в соответствующий момент оказаться надежной опорой собственности и порядка.

В последующие дни Постоянный комитет превратился в буржуазную Парижскую коммуну— высший орган муниципальной власти столицы. Народная милиция, в свою очередь, была переименована в национальную гвардию.

В качестве вновь избранного мэра Парижскую коммуну возглавил Байи, бывший председатель Учредительного собрания, а верховным начальником национальной гвардии был назначен маркиз де Лафайет.

Как ни отличались эти два человека один от другого, оба они в совокупности составили пре-

восходный дуэт, весьма умело запевавший в хоре крупных собственников.

Жан Байи снискал особое уважение буржуазной интеллигенции столицы. Сын виноторговца, он пренебрег духовной и адвокатской карьерами ради астрономии. Он был членом трех литературно-ученых академий. Однако избирателей привлекали не столько его научные познания, сколько репутация политической умеренности и житейской опытности, которой в своих кругах пользовался Байи. На организаторские способности этого длинного и худого аскета, равно как и на его умение сдерживать слишком горячие умы, не без оснований рассчитывали богатые парижане.

Мари Жан де Лафайет ни происхождением, ни внешностью не походил на своего компаньона. Изысканный и блестящий кавалер, он был представителем знатного дворянского рода. Но свои генеральские эполеты маркиз де Лафайет получил как участник американской войны за независимость. Он слыл либералом и врагом абсолютизма. Считали, что он был сторонником реформ

и настаивал на сближении дворянства с буржуазией. Считали, что ему первому пришла мысль о созыве Генеральных штатов. Конечно, уже одни эти предположения в глазах крупных промышленников и торговцев ставили маркиза на достаточно высокий пьедестал.

Сделавшись начальником национальной гвардии, Лафайет превратился в некоронованного короля Парижа. Этого-то «короля» больше всего и раздражил Дантон делом 16 июля: комендант Сулес был личным ставленником Лафайета!

Рассказывали, будто маркиз настолько возмутился дерзкой авантюрой Дантона, что едва не подал в отставку. Во всяком случае именно с этого дня гордый аристократ невзлюбил наглого плебея. После личного знакомства антипатия перешла в ненависть.

Она оказалась взаимной.

День спустя капитан Дантон стал свидетелем необычной картины.

Его величество Людовик XVI по призыву своих верных парижан решил посетить столицу.

Короля сопровождали двести сорок депутатов Учредительного собрания.

Монарха встречали торжественно.

На всем протяжении его пути от заставы Пас-си до Гревской площади прибывших ожидали толпы народа и выстроенные шпалерами отряды национальных гвардейцев.

Около четырех часов королевский кортеж прибыл к зданию Ратуши.

Мэр Байи вышел навстречу Людовику и преподнес ему ключи от города Парижа.

Король был усталым и растерянным. Он кивнул приветствовавшим его людям и быстро вошел в Ратушу.

Там он пробыл довольно долго.

Наконец растворилось большое окно, и повелитель Франции вновь показался народу. К шляпе короля была прикреплена трехцветная кокарда революции. Людовик кланялся направо и налево, точно картонный паяц. Все ожидали, что он скажет хоть несколько слов, но король так и не разжал губ.

Впрочем, восторженная толпа была гото-

ва все простить своему монарху. Люди забыли недавнее вероломство, жертвой которого чуть не стал Париж. Они верили, что король искренне примирился с революцией и признал все ее завоевания.

Правда, в тот же день стало известно, что братья Людовика XVI бежали за границу. Вскоре к ним присоединились многие другие аристократы. Господа придворные устремились из Франции, как крысы с тонущего корабля.

Но это в конце концов, полагал Дантон, тоже было не так уж плохо.

В ближайшие недели революция прошла победным маршем по всей стране. Повсюду поднялся простой народ. Страсбург и Реймс, Руан и Бордо, Лион и Марсель, как и десятки их младших братьев, активно восприняли пример Парижа.

Народное движение в городах приводило к падению старых властей и замене их новыми, выборными органами. Возникали местные подразделения национальной гвардии.

Но выборные муниципалитеты, как и в Париже, становились достоянием крупной буржуазии, а национальная гвардия превращалась в армию той же буржуазии, противостоящую не только абсолютизму, но и городской бедноте.

В июле—августе Франция запылала пожарами крестьянских восстаний.

Вооружась чем попало, мужики, пробудившиеся от векового сна, громили замки и усадьбы, прекращали выполнение феодальных повинностей, кое-где арестовывали и даже убивали своих господ.

Начинался «великий страх». Дворяне массами бежали из поместий.

Крупная буржуазия, не мешкая, направила в деревню отряды национальной гвардии.

Учредительное собрание приняло все меры к тому, чтобы в нужный момент остановить движение.

Так начался раскол третьего сословия.

До июля 1789 года податные казались едиными. Народ и буржуазия выступали совместно

против абсолютизма и привилегий.

Народное восстание заставило крупную буржуазию резко изменить образ действий. Утвердившись с помощью революции у власти, она поспешила закрепить эту власть за собой и постаралась наложить узду на революцию.

Богатые собственники начали первые карательные действия против тех, кто дал им силу.

А народ?

Народ еще не потерял веры ни в короля, ни в своих собратьев по сословию. Народ думал, что завоевал свободу, не видя, что это лишь тень свободы.

Но глаза народа также вскоре должны были раскрыться. Первым симптомом этого стала жестокая борьба между Ратушей и дистриктами Парижа, особенно обострившаяся с осени 1789 года.

Жорж Дантон оказался не с теми, кто захватил власть.

Новые господа были ему друзьями еще в меньшей мере, чем старые.

В августе—сентябре Дантон выступает с пла-

менными призывами и продолжает борьбу с Ратушей. Авторитет его у кордельеров продолжает возрастать. Но теперь он уже действует не как капитан национальной гвардии. С господином Лафайетом ему не по пути. Жорж оставляет свой военный мундир и занимает кресло председателя революционного дистрикта.

3.
В РЕВОЛЮЦИОННОМ
ДИСТРИКТЕ
(ОКТЯБРЬ 1789—МАРТ
1790)

Кордельеры

Слово «кордельеры» становилось едва ли не самым популярным в Париже.

Одним оно внушало страх. Другие произносили его с надеждой. Оно превращалось в символ, оно звучало как призыв, как набатный колокол восстания.

А между тем еще год назад это слово ни в ком не возбуждало ровно никаких эмоций. Ибо обозначало оно всего-навсего имя одного из монашеских орденов, одной из церковных корпораций, столь многочисленных в старой Франции.

Что же вдохнуло в древнее слово новый смысл? Что сделало его знаменем?

Ответ дал бы любой парижский мальчишка:
– Революция! Только революция!

Накануне созыва Генеральных штатов столица была разделена на шестьдесят избирательных округов—дистриктов. Дистрикты не прекратили деятельности и после выборов, а их граждане объявили свои заседания непрерывными.

Новые округа нуждались в новых названиях.

Их стали именовать по историческим памятникам или иным достопримечательностям, известным каждому.

Таким-то образом обширный район города, составлявший часть Люксембургского квартала и группировавшийся вокруг средневекового Кордельерского монастыря, окрестили дистриктом Кордельеров. А кордельерами с маленькой буквы стали называть его население.

Население это было пестрым, шумным и строптивым.

Рабочий люд дистрикта—кто не знал его? Не эти ли кордельеры-труженики, кордельеры-борцы, верные союзники Сент-Антуанского предместья, первыми поднялись в славные июльские дни? Не они ли шли в первых рядах на штурм Бастилии?

А интеллигенция кордельеров? Актеры Французского театра, типографы, издатели, журналисты, адвокаты—не их ли видели среди самых буйных агитаторов Пале-Рояля?

Про дистрикт говорили: он обладает своим Демосфеном—в лице Дантона, своим Тацитом—в лице Демулена, своими Корнелем и Мольером—в лице драматурга Мари Жозефа Шенье и комедиографа Фабра д'Эглантина.

Да, в талантах здесь не было недостатка. Многие люди будущего, те, кому предстояло стать известными публицистами, ораторами, лидерами партий, революционными генералами и администраторами, начали свою гражданскую жизнь именно в этом дистрикте.

Каждый день после окончания работы к улице Кордельеров направляются группы людей. У ограды церкви они сливаются в толпу. Церковь наполняется народом. Ее узкие окна почти не дают света, и вскоре под каменными сводами зажигаются десятки факелов. Становится чуть светлее: теперь можно разглядеть мощный торс пред-

седателя и догадаться, кто сейчас ораторствует на самодельной трибуне.

Как шумливы, как бурны эти заседания! В разгаре полемики ораторы не щадят друг друга. Но вот что знаменательно: кордельеры всегда приходят к единому решению.

О чем же здесь спорят и что решают?

Кордельеры по собственному почину устанавливают регламентацию продажи муки в своем округе—пусть другие берут с них пример! Они проводят твердый курс ассигнатов. А кто не помнит, как председатель Дантон своею властью задержал несколько телег серебра, которое воротилы из Учетной кассы при попустительстве Ратуши пытались вывезти из Парижа!

Но экономика—это лишь одна сторона дела. Нужно упорно и непрерывно бороться со старой и новой аристократией, за права народа. Нужно давать постоянный отпор Байи, Лафайету, правым лидерам Учредительного собрания—всем тем, кто топчется на месте или хочет повернуть назад. Нужно добиваться, чтобы Декларация прав, принятая в августе, не оставалась

пустым звуком.

И вот, не дожидаясь решений Ассамблеи, собрание дистрикта действует на свой страх и риск, действует как свободная законодательная власть.

Оно проводит решение об «императивных мандатах»: отныне любой уполномоченный дистрикта ответственен перед своими избирателями, и в случае, если не оправдает их доверия, может быть отозван с занимаемого поста.

Оно наделяет артистов, составляющих немалую часть населения квартала, всеми гражданскими правами, которых лишал их старый режим.

Оно берет под свою защиту свободу прессы: не один журналист был обязан собранию кордельеров своим освобождением из тюрьмы, куда упрятали его подручные господина Байи.

Оно борется с контрреволюционерами и бдительно следит за действиями городских властей, и если, например, барону Безанвалю, одному из главных виновников пролития крови 12 июля, не удалось избежать ареста, то в этом опять-таки заслуга доблестных кордельеров.

Учредительное собрание и Ратуша в тревоге. Новые корифеи Коммуны выбиваются из сил, чтобы обуздать неугомонных. Но, увы, это не так-то просто сделать!

Дистрикт своей демократичностью подает пример всей стране. Здесь почтенные буржуа не чураются простых людей, здесь сам господин Дантон охотно пожимает руку захудалому подмастерью. Единство кордельеров создало своего рода государство в государстве, маленькую кордельерскую республику, которая имела свою Ассамблею, издавала свои декреты, бросая вызов всему миру, и в первую очередь новым временщикам Парижа—Лафайету и Байи:

– Нет, уважаемые господа! Не надейтесь! Революция еще далеко не закончилась, она только начинается!

«Добудем короля—будем с хлебом!»

С начала осени призрак голода навис над столицей.

Это казалось странным: урожай года вовсе не был плохим. Зерна собрали много, мельницы работали в полную нагрузку, и вот поди ж ты...

Кто нес вину за создавшееся положение? В чем его причина? В нерасторопности новых властей или в нерадивости прежних чиновников? Или, быть может, зерно и продукты придерживали сеньоры, желавшие уморить революцию голодом?

Богатые буржуа и аристократы ни в чем не испытывали недостатка. Во дворцах вино по-прежнему лилось рекою, пиры, казалось, стано-

вились еще великолепно.

И, поглядывая сквозь хрусталь бокалов на взбудораженную голодом улицу, благородные господа говорили с издевкой:

– Прежде был один король, и хлеба всем доставало; теперь оборванцы заполучили тысячу двести королей—пусть просят хлеба у них!

Простые люди Парижа действительно связывали все свои беды с отсутствием короля.

Почему он сидит в Версале? Да еще и держит с собой, вдали от столицы, всю Ассамблею? Он окружен продажными слугами и ничего не хочет знать о народном горе. Придворные холуи скрывают от монарха народные беды да тайно творят измену, вот отсюда и голод! Да только ли один голод?..

И в очередях все чаще и чаще можно было услышать:

– Эх, сюда бы главного пекаря!

– Пекаря, пекариху и пекаренка—в Париж!

– Добудем короля—будем с хлебом!

Революционный инстинкт снова не изменил

народу.

Мысль о необходимости водворить короля и Собрание в Париже, стихийно складывавшаяся в умах ремесленников и рабочих, не была пустой блажью. И хотя парижане не знали всего происходящего в королевской резиденции, они давно уже догадывались о многом.

А действительность была хуже всех догадок.

После июльских дней двору пришлось на время стихнуть и внешне примириться с новым порядком. Но в глубине души ни монарх, ни его клеветы и не помышляли о мире. Как ни ласкала крупная буржуазия Людовика XVI, как ни заигрывала с ним, он не испытывал к ней ничего, кроме ненависти и отвращения. Монарх «божьей милостью» не мог переносить опеки со стороны податных, самодержец, воспитанный в вековых традициях абсолютизма, не желал быть королем во благо «чумазных».

Мысль о реванше ни на минуту не оставляла вчерашних господ.

Забыв уроки прошлого, двор решил еще раз попытать счастье.

В то время как Париж наводнялся контр-революционными листовками, авторы которых стремились запугать парижан и восстановить их против Учредительного собрания, в северо-восточных районах Франции, между Версалем и Мецем, тайно расквартировывались отборные воинские части. В самом Версале разместились лейб-гвардейский Фландрский полк и отряды Швейцарской гвардии.

Завершив концентрацию сил, заговорщики рассчитывали, разогнать Учредительное собрание и окружить Париж верными себе войсками.

Дальнейшее представлялось делом несложным.

Но самонадеянность двора приоткрыла завесу несколько раньше, чем подготовка была закончена.

Первого октября в большом зале Версальского дворца король дал банкет в честь офицеров Фландрского полка. Банкет превратился в контр-революционную манифестацию. Приветствуя короля, королеву и маленького наследника престола, лейб-гвардейцы топтали трехцветные кокар-

ды революции и выкрикивали проклятия по адресу мятежного Парижа. Подверглось оскорблению и национальное знамя. Переполненные вином и верноподданническими чувствами, офицеры громко и хвастливо кричали о своих планах.

Полностью скрыть происшедшее было невозможно.

Впрочем, двор в своем ослеплении к этому особенно и не стремился.

Париж, как и в июле, отреагировал немедленно. И первым сказал свое слово дистрикт Кордельеров.

Вечером 3 октября в кордельерской церкви было особенно людно.

Председательствовал Дантон.

Трибун был гневен. Он говорил в полный голос, и казалось, своды старой церкви не выдержат этого грома. Он увлек Собрание, его энтузиазм передался другим, его речь вылилась в яркий манифест, который был тут же утвержден и на следующий день распространился по всей столице.

Это был призыв к походу на Версаль.

— ... Пекаря, пекариху и пекаренка—в Париж! Добудем короля—будем с хлебом! А опоздаем—не только останемся без жратвы, но и погубим дело революции!..

Ранним утром 5 октября все пришло в движение.

Дистрикт Кордельеров бурлил.

Рабочие, ремесленники, их жены, актрисы и рыночные торговки—все собирались в отряды.

По рукам ходили свежие листки «Друга народа»—газеты Марата.

Люди читали:

«... Нельзя терять ни минуты. Все честные граждане должны собраться с оружием в руках; нужно послать сильный отряд, чтобы захватить порох... Каждый дистрикт должен взять пушки из Ратуши...»

Полезный и своевременный совет!

Толпа женщин и рабочих осадила Ратушу. Попробуй не пусти! Вломились прямо на заседание совета Коммуны. Испуганные советники повска-

кивали с мест. Многие не могли сдержать трепета.

Раздались презрительные свистки.

– Чего тут с ними болтать! Разве не видишь, все они трусы и не могут постоять за себя?

– Мы будем действовать вместо них!

– Эх, а хорошо бы все же вздернуть хоть Лафайета да Байи!

Толпа угрожала сжечь Ратушу. Впрочем, вскоре опомнились: ведь пришли сюда совсем не за этим! Нужно впрягаться в пушки, а там скорее на Версаль!..

Версальский поход шести тысяч снова поднял на ноги всю страну.

Нет, пламя свободы не угасло!

Если законодатели потеряли смелость, если Коммуна вступила на путь предательства, то простые люди Парижа, как и их братья во всей Франции, не дадут себя усыпить. А пока они будут бдительны, опасаться нечего: дело пойдет на лад!

Дело и впрямь пошло на лад.

Контрреволюционные войска не отважились

на объявление войны.

Шестого октября торжествующие парижанки конвоировали присмирившего «пекаря» вместе с «пекарихой» и «пекаренком» на их вынужденном пути в столицу. Позади шествия угрюмо дефилировал господин Лафайет, которому, несмотря на все его старания, не оставалось ничего другого, как плестись в хвосте у событий.

А пять дней спустя Жорж Дантон возглавил депутацию, которая отправилась почтительнейше благодарить Людовика XVI. . . «по поводу решения Его Величества остаться в столице своего королевства. . . ».

Ассамблея в Париже

Парижский народ был горд одержанной победой. Он снова спас революцию и защитил своих депутатов.

Но депутаты судили по-иному:

События 5—6 октября обеспокоили буржуазную Ассамблею не меньше, чем бурные дни июля. Значит, чернь не унялась! Она претендует на то, чтобы руководить политикой! Она хочет диктовать свою волю новым властям и продолжает крамолу!

Нет, с этим нужно покончить.

Нужно обезвредить смутьянов, всех тех, кто хочет до бесконечности продолжать эту революцию!

И вот, едва перебравшись в столицу, Учре-

дительное собрание приступило к разоружению своих спасителей.

Вместо того чтобы дать народу хлеб, Ассамблея дала ему «военный закон».

Этот жестокий закон бил прямо по демократии. Он запрещал массовые выступления и позволял применять Ратуше для их разгона военную силу.

Вопреки заверениям своей августовской Декларации прав человека и гражданина Собрание нарушило принцип политического равенства французов и разделило их на «активных» и «пассивных». В число «активных», то есть получивших право избирать и быть избранными, входили лишь те граждане, которые имели собственность и доходы. Все остальные—пять шестых населения страны—произвольно зачислялись в разряд «пассивных» и лишались каких бы то ни было политических прав.

Правда, мудрецы Ассамблеи всячески стремились, чтобы простые люди Франции не поняли существа их маневров. Свои антинародные акты они щедро прикрывали цветистыми речами и

разглагольствованими о «свободе» и «равенстве».

Но кого же все это могло обмануть?..

Жорж Дантон с интересом наблюдал за работой Учредительного собрания. Теперь, когда оно прочно осело в Париже, председатель кордельеров часто посещал его—то как простой зритель, то как уполномоченный своего дистрикта.

И чем внимательнее он смотрел и слушал, тем больше сомнений поселялось в его душе.

Как и в версальский период, Собрание делилось на две основные группировки—правую и левую. Но это деление все более теряло свою прежнюю четкость. Лидеры крайней правой, махровые реакционеры, давно уже отчаялись в своих надеждах, а после 6 октября в большинстве пренебрегли депутатскими званиями и эмигрировали из Франции. И вот командное место среди правых уже занимал великий оратор и демагог, некогда потрясавший трон своими писаниями и речами, а теперь прилагавший все силы к спасению этого трона, депутат от третьего сословия

Прованса, бывший граф Мирабо.

Мирабо!..

Еще так недавно это имя произносилось с обожанием и восторгом. Еще так недавно люди распрягали лошадей в карете графа, чтобы тащить ее на себе.

А теперь...

Правда, и теперь у него много обожателей. Но разве ему не известно, что напевают в рабочих кварталах:

– Мирабо, Мирабо, поменьше таланта, побольше добродетели, а не то на виселицу!..

Ишь ты! Так уж прямо и на виселицу! Ну, до виселицы, положим, еще очень далеко; таланта у него никто отнять не может, а что касается добродетели—на черта ему добродетель?..

Мирабо хохотал жирным смехом. Он часто смеялся. Дантон почти всегда видел его веселым и беззаботным.

В этом человеке многое импонировало Жоржу. И его огромное тело, едва уместившееся в модном камзоле, и львиная голова, обезображенная оспой, и ораторский дар, и необыкновенно

громкий голос.

Казалось, это был второй Дантон, но только Дантон припомаженный, респектабельный; Мирабо был Дантоном Ассамблеи, а Дантон— Мирабо улицы... Граф Оноре Рикетти Мирабо происходил из старинного аристократического рода. Он не украсил свой род примерным поведением: неисправимый мот, картежник, гуляка, юный Мирабо долгие годы мыкался по тюрьмам, куда усердно водворял его строгий отец.

Потом путешествовал, интриговал, много писал.

Кризис старого порядка стал манной небесной для Мирабо. Вот где можно было применить свои недюжинные способности!..

И граф очертя голову кинулся в революцию.

Когда начались выборы в Генеральные штаты, собратья дворяне отказались внести его в списки. Но Мирабо и бровью не повел. Он предложил свою кандидатуру третьему сословию и был единодушно избран.

От революции он ждал в первую очередь трех благ, в которых ему упорно отказывал старый ре-

жим: денег, почета, карьеры. Но ход событий его разочаровывал. И по мере того как революция шла вперед, Мирабо осторожно пятился назад. Он ненавидел демократию и боялся, хотя и скрывал это. Он мечтал, играя на противоречиях между двором и Ассамблеей, поставить двор в такое положение, чтобы тот стал игрушкой в его руках, а тогда были бы и деньги, и почести, и высокий сан.

Мирабо на первых порах озадачивал Дантона. Жорж никак не мог понять, чем дышит этот титан. Потом стало проясняться. Особенно после рассказов Камилла Демулена.

По стечению обстоятельств юный журналист провел у Мирабо в Версале весь сентябрь и теперь хвастал своей близостью с великим трибуном. Он без конца описывал кутежи и оргии, еженощно сотрясавшие дом Мирабо, превозносил его умение держаться и, между прочим, не скрывал, что граф одно проповедовал с трибуны и совсем другое—в интимном кругу. . .

Так вот оно что!.. Двуличие!.. Спекулятивная игра!.. «Мирабо, Мирабо, поменьше таланта, по-

больше добродетели... »

Впрочем, двуличие, по-видимому, в этом Собрании вещь обыкновенная и никого здесь ею не удивишь. Вот и красавчика Барнава, признанного вожака левых, аристократы называют «двуличким Янусом», и разве они не правы?

Кто не помнит, как аплодировал Барнав взятию Бастилии, как он оправдывал народное правосудие июльских дней, как бился на дуэли с лидером реакционеров Казалесом?..

А сейчас Барнав хлопчет о расширении прав короля, сейчас он по очень многим вопросам солидарен со своим партийным врагом Мирабо.

И удивительно ли это? Ведь Антуан Барнав—почти «белая кость», не зря он носит с таким чопорным достоинством свой пудренный парик и элегантный костюм. Барнав, так же как и его ближайшие соратники, братья Ламеты,—выходец из дворян. Правда, это дворянство чиновное, по старым понятиям—второй сорт, но богатством, образованностью и связями этот «второсортный» давно уже утер нос многим потомственным.

У себя в Дофинэ Барнав прославился как демократ. Это и привело его в Генеральные штаты, это и создало ему «левую» репутацию. Но демократизм Барнава—демократизм для избранных. Это равенство для богатых, братство для просвещенных, свобода для сильных. Народ? О, он готов рукоплескать народу, когда тот помогает осуществлению его замыслов. Народ—это орудие, которое можно и должно умело использовать. Умело! Ибо никогда не, следует давать черни большего, нежели она стоит, иначе поток сметет все. И поэтому коль скоро вопрос зашел о правах короля, пусть король эти права получит и создаст необходимую преграду между потоком и избранными!

Жорж Дантон далеко не глуп. Он все видит и понимает. Сомнения уступают место уверенности.

Разве так уж далеко ушел «левый» Барнав от «правого» Мирабо? И разве можно надеяться, что подобная Ассамблея что-либо сделает для людей попроще?

Нет! Учредительное собрание и Ратуша, Ми-

рабо, Барнав, Лафайет и Байи—это все одно и то же. Стало быть, борец против беззаконий Коммуны не найдет поддержки в Ассамблее крупных собственников. Никогда не найдет.

Так, может, довольно? Может, оставить борьбу, если она не имеет шансов на успех?

При подобной мысли Дантоном овладевала ярость. Как бы не так! Он не даст себя сломить, и не потому, чтобы уж слишком переоценивал свои силы. Но ведь с ним вместе Лусталло, Демулен, Марат, за ним весь народ Парижа—что Парижа!—всей Франции, простой народ, который эти господа так презирают, но еще так плохо знают! Наконец даже в этом поганом Собрании есть люди! Они есть, их только надо найти!

Одного он уже нашел.

Это на первый взгляд весьма забавный человек.

Внешне—плюгаш плюгашом, кажется, можно спрятать в кармане. . .

Дантон часто подсмеивался над маленьким и хрупким Максимилианом Робеспьером.

Чистюлька, одно слово, чистюлька! Взгля-

ните, как отутюжен его старенький камзол, на жабо—ни складочки, башмаки вот-вот от ветхости лопнут на сгибах, а как блестят! Бедняк старается скрыть свою бедность. Говорят, он обходится без женщин!..

Но загляните поглубже в его близорукие глаза—и вас поразит сталь клинка. Посмотрите внимательнее на его узкие губы—и вас охватит сомнение: так ли уж хрупок этот человек?..

Когда Робеспьер поднимается на ораторскую трибуну, в его лице—ни кровинки. Голос его тих и тонок. Не в пример Мирабо или Дантону, арасский депутат никогда не импровизирует—он читает свои речи и часто запинается.

Но о чем он говорит!..

Он один, иногда при поддержке двух-трех попутчиков, отваживается спорить с этой Ассамблеей, отваживается не соглашаться ни с правыми, ни с левыми.

Он говорит «нет», когда все говорят «да».

Он один последовательно и стойко защищает права народа. Он называет народ «добродетельным» и «великим», он протестует и против

королевского «вето», и против «военного закона», и против деления граждан на «активных» и «пассивных».

И его тихий голос становится подобным металлу, когда он предупреждает:

— ... Говорят о мятеже. Но этот мятеж— свобода. Не обманывайте себя: борьба еще не закончена. Завтра, быть может, возобновятся гибельные попытки, и кто отразит их, если мы заранее объявим бунтовщиками тех, кто вооружился для нашего спасения?..

Ай да Робеспьер! Такого, пожалуй, в карман не спрячешь!

Сейчас Ассамблея третирует его изо всех сил. Его освистывают, стаскивают с трибуны, коверкают его имя, над ним издеваются в глаза и за глаза, устно и в печати.

Но Мирабо, сам пронцательный Мирабо, уже больше не зубоскалит, а с вниманием присматривается к своему маленькому врагу. Мирабо видит то, чего не видят другие.

Видит это и Жорж Дантон.

И потому он не складывает оружия, а тща-

тельно готовит его для новых сражений.

Дело Марата

Господин Байи сидел в одиночестве. Советники Коммуны давно покинули большой зал Ратуши.

Пора бы и ему отправляться спать: завтра с утра предстоит масса дел. Но мэр не мог думать о сне. Сегодняшнее совещание снова разбередило рану, которая вот уже два месяца, как жжет ему грудь.

Узкое, сухое лицо господина Байи за эти месяцы высохло еще больше. Складки у щек повисли пергаментными мешками. Нос заострился, как у мертвеца.

Да, черт возьми, он явно влип не в свое дело. Зачем было ему, академику, уважаемому и почтенному человеку в летах, отказываться от науки, от астрономии и погружаться по уши в эти

дрязги?..

Честолюбивые замыслы? Деньги? Почет? Че-пуха! Просто, что называется, влопался, влопался по чувству долга. В старое время говорили: «Благородство обязывает». Его выдвинули достойные люди, и он не мог отказаться, не мог подвести своих.

В глубине души, правда, Байи чувствовал, что слегка лжет самому себе. Строго рассуждая, все было не совсем-то уж так. Вначале перспективы казались вполне ясными. Его носили на руках. Его боготворили. И кого бы в то время не прельстила должность мэра столицы, в особенности если знаешь, что твоей правой рукой будет сам господин Лафайет?

Всеобщее преклонение, любовь народа, роскошный особняк в Париже, огромные средства, предоставленные в полное распоряжение, почти неограниченная власть... У кого бы не закружилась голова от всего этого?..

И потом еще ему, как и тем, кто его поддерживал, казалось, что он наиболее подходящая кандидатура. Известность в высших сфе-

рах, здравый ум, житейская опытность, осторожность, тонкий нюх и умение выжидать—разве не это было нужно сейчас в первую очередь?

А на деле вышло, что имя Байи поносят на всех перекрестках столицы, а его самого мечтают вздернуть на фонаре. Хорошая репутация мэра растоптана: его называют «сатрапом» и «вором». И только шпага господина Лафайета, командующего национальной гвардией, пока еще с грехом пополам спасает положение. . .

Как произошло все это? Где он, Байи, допустил ошибку? В чем просчитался?

Он думал, думал до головной боли и не мог ничего понять.

Одно было ясно: все зло в этих проклятых дистриктах, которые забрали слишком много власти, в этой голытьбе, которая всюду гнет свою линию, в этих чертовых агитаторах и писателях, которые все «объясняют», «разъясняют» и еще больше будоражат темные инстинкты низов.

Особенно кордельеры.

Особенно Марат и Дантон.

Никто не испортил столько крови господи-

ну Байи, как этот бесноватый, вездесущий Марат. Не успеваешь прихлопнуть его в одном месте, как он появляется в другом. Сила Марата— в его осведомленности, в том, что его мерзкий листок говорит только правду. Откуда он ее получает, никому не известно. Но журналист как будто предугадывает все планы двора, Коммуны, его, Байи; предугадывает—и сразу бьет в набат! И вот все сорвано, а достойные люди выставлены на поругание черни!..

Марат—одержимый. Его не купить ни деньгами, ни карьерой. Он не щадит себя. Своими писаниями и поступками он отрезает все пути к отступлению.

Друг народа дал возможность возбудить против себя большое дело. Теперь главное—арестовать его, а там расправа будет короткой. . .

Дантон—явление совсем другого рода.

Этот смутьян творит не меньше зла, чем Марат. Он бог кордельеров. Он подбивает массы и руководит ими. Но Дантон очень хитер. В отличие от Марата он не оставляет следов. Он ничего не пишет и не печатает, не совершает наказуе-

мых проступков, не лезет прямо на рожон. Дантон, правда, много шумит, он произносит зажигательные речи, это всем известно. Но что речь! Вылетела и пропала! Поди докажи! А когда нужно, господин д'Антон готов и расшаркаться. Сейчас дистрикт выдвинул его своим представителем в Коммуну. Советники Коммуны, разумеется, устроят ему «теплый» прием!..

Байи ненавидит этого нахального выскочку. Не переносит его и Лафайет, которому, как известно, Дантон порядочно насолил.

Дантона необходимо уничтожить, как и Марата.

Но начать следует с Марата.

А после «дела Марата» можно будет создать и «дело Дантона», как бы ни хитрил и ни вертелся этот подонок. У мудрого Байи давно зреет свой план, и он хорошо выбрал то оружие, которым сокрушит ненавистного демагога.

Жан Поль Марат мог бы жить обеспеченным человеком. Он был известным физиком и выдающимся врачом. За долгие годы скитаний он

хорошо познал пружины успеха и изучил людские слабости. В свое время врачебная практика привлекала в его приемную столько посетителей, сколько вряд ли имел добрый десяток его конкурентов, вместе взятых.

Но Марат отказался от буржуазного благополучия.

Он обладал пламенным сердцем и неутолимой любовью к людям низов, к труженикам, ко всем обездоленным.

Началась революция—и он сразу бросил все ради остро отточенного пера публициста.

Та замечательная газета, бессменным автором, редактором, типографом и издателем которой был всего-навсего один человек, начала выходить с 12 сентября 1789 года.

А 8 октября последовал приказ об аресте Марата.

Не дожидаясь, пока этот приказ будет проведен в жизнь, журналист покинул свою обжитую квартиру на улице Старой Голубятни в дистрикте Карм.

Он скрывался в течение месяца.

В ноябре Марат вступил под покровительство славного дистрикта Кордельеров, поселился в доме № 39 на улице Ансьен-Комеди и открыл новую типографию.

Здесь-то он и издал свой острый памфлет против министра финансов Неккера, того самого печально известного Неккера, которого когда-то считали чуть ли не предтечей революции и который теперь становился одним из ярых ее врагов. Разоблачение Неккера сопровождалось резкими выпадами против Байи и его агентов.

Ратуша в ответ на это проявила необычную расторопность.

Двадцать первого января 1790 года по требованию господина Байи королевский прокурор подписал новый ордер на арест Марата.

На этот раз парижские власти решили сделать все возможное для того, чтобы не дать ускользнуть объекту своих «забот». Господин Лафайет готовил против Друга народа настоящую военную экспедицию.

Когда кордельеры вынесли решение о под-

держке Марата и предоставили для охраны его типографии отряд в тридцать национальных гвардейцев, они не могли не понимать всей серьезности сделанного шага.

По существу, Дантон и его штаб бросали вызов Ратуше и даже самому Учредительному собранию, вызов недвусмысленный и опасный. Ведь речь шла о прямом неповиновении верховной власти, притом в момент, когда эта власть впервые начинала ощущать свою силу.

Дантон давно уже чувствовал, к чему все идет. Он видел, что враг закрепляет свои позиции, что положение день ото дня становится сложнее и сложнее. Только что кордельеры проиграли кампанию за «императивные мандаты» и оказались вынужденными уступить Коммуне и Собранию. При таких условиях шансов на победу в намечавшейся баталии было не так уж много. Дантон хорошо знал также о настроениях, господствовавших в буржуазных дистриктах: они были совсем не на стороне Марата. По правде говоря, неуживчивый и бескомпромиссный Друг народа не внушал Жоржу большой симпатии, и

в другое время он не стал бы ломать из-за него копий.

И, однако, на этот раз он твердо решил дать бой. Его мнение полностью совпадало с мнением кордельеров.

Ибо теперь дело Марата неизбежно превращалось в дело свободы. Одержать победу в этом конкретном случае—значило добиться преобладания дистриктов над Коммуной, народа—над ставленниками крупной буржуазии. А в более узком смысле вопрос стоял так: быть или не быть республике кордельеров?..

Наконец, кроме всего прочего, Дантон и в чисто личном плане был весьма заинтересован в решительных действиях.

Хотя до сих пор в своей борьбе он и не сходил с легальной почвы, он прекрасно понимал, что мир невозможен. Лафайет, Байи и их присные ненавидели его лютой ненавистью. Дистрикт выдвинул его в Коммуну—теперь ему придется постоянно иметь дело с этими господами. А как они его встретят? Он мог их примирить с собой или уничтожив, или, на худой конец, устранив—

это представлялось вполне ясным.

Значит, каким бы ни оказался исход дела Марата, нужно было проявить максимум энергии, настойчивости и силы, не отступать до последней крайности и показать себя во весь свой богатырский рост!..

Двадцать второго января в семь часов утра жители района Одеон, примыкавшего к площади Дофины, вскакивали с постелей, разбуженные шумом.

Распахнув ставни, любопытные увидели огромное скопище солдат.

Красные колеты национальных гвардейцев занимали всю ширину улиц, пестрели на мостах, перекрывали проходы из Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий. Все новые и новые отряды шли из округов Сен-Рок, Сент-Оноре, Барнабитов и Генриха IV. Целая армия оцепляла дистрикт Кордельеров. . .

Сон как рукой сняло. Обыватели высыпали на улицы, расспрашивали друг друга и безуспешно пытались что-либо вытянуть из солдат. Никто толком ничего не знал, но не было сомнений, что

произошло что-то из ряда вон выходящее.

В восемь часов большой отряд, возглавляемый толстым и важным офицером, двинулся к улице Ансьен-Комеди.

Все сразу прояснилось: отряд окружал дом № 39...

У обителища Друга народа, как обычно, дежурил пикет из гвардейцев дистрикта, охранявший типографию. При виде столь значительного войска постовые обнаружили замешательство, а их начальник почтительно откозырял толстому офицеру. Завязались переговоры.

По-видимому, на первых порах командир экспедиционного отряда намеревался прямо проникнуть в дом Марата, но начальник поста, указывая на огромную толпу народа, сбегавшегося отовсюду и весьма недвусмысленно выражавшего свои настроения, посоветовал действовать по закону и прежде всего обратиться в комитет дистрикта. Офицер решил последовать совету и, оставив своих солдат на сержанта, сам вместе с двумя судебными приставами направился к Кордельерскому монастырю.

Уполномоченные дистрикта давно уже были на ногах. Дантон, Фабр д'Эглантин, Паре и другие комиссары, весьма встревоженные оборотом дела, вызвали начальника батальона кордельеров Ла Вийета. Ла Вийет держался очень настороженно. Он посоветовал подчиниться приказу муниципальных властей. Когда Дантон выразил бурное негодование, Ла Вийет лишь пожал плечами и заявил, что будет сохранять нейтральную позицию. Иначе он-де не может поступить: ведь Лафайет и Байи—его прямое начальство!

Такое поведение командующего их военными силами смутило комиссаров. Один Дантон требовал решительных действий, но и у него на душе было далеко не спокойно.

Честно говоря, он никогда не думал, что события примут такой размах. Чтобы арестовать одного человека, Ратуша бросила к кордельерам несколько тысяч солдат! Что они могли этому противопоставить? Вооруженные силы дистрикта, этих буржуазных молодчиков, маменькиных сынков, которые сразу же распустили нюни и устами своего начальника уже заявляют о ней-

тралитете? Или же поднимать народ?.. Но, черт возьми, это ведь невозможно! Это бы значило сойти с почвы законности, на которой он, Жорж, уже столько месяцев так судорожно пытается удержаться и которая представляется ему единственным ключом к победе! К победе?.. А может быть, во имя ее, победы, и не стоило бы так церемониться со всеми этими мерзавцами, которые идут ва-банк?.. Может быть, нужно действовать их же оружием?..

Дантон чувствовал, как его охватывает гнев, бешеный гнев, один из тех припадков ярости, которые с ним случались не часто, но с которыми он ничего не мог поделать. . .

Именно в эту минуту вошел начальник экспедиционного отряда в сопровождении двух судебных чиновников. . .

Внешне Дантон казался спокойным. Только лицо его было багрово-красным да дергалось левое веко. Он холодно ответил на приветствие вошедших.

Приказ? Пусть его предъявят. Ну, нет. Тако-

му приказу кордельеры не могут подчиниться. Приказ об аресте журналиста в свободной стране только за то, что журналист прямо выражает свое мнение,—это абсурд. Это противоречит законам о свободе слова и печати, изданным недавно Учредительным собранием. Поддерживая престиж Собрания, уполномоченные вынуждены отказать агентам Коммуны.

Офицер презрительно усмехнулся и что-то сказал на ухо одному из судебных приставов. Пристав обратился к коллегам Дантона.

Пусть граждане уполномоченные как следует вдумаются в то, что вещает их представитель. Неповиновение властям—это бунт. Ссылки на Учредительное собрание ничего не меняют, ибо законодатели и Коммуна—это единое целое, и невыполнение приказа Ратуши означает отказ в повиновении Ассамблее. А к тому же—пристав указал рукой на окно—все улицы и площади заняты национальной гвардией, и всякое сопротивление бесполезно. Если комитет заупрямится, приказ будет выполнен с помощью силы.

Комиссары, взволнованные и негодующие,

встали со своих мест. Лицо Дантона побагровело еще больше. Он едва сдерживался. Его голос принял зловещий оттенок.

– Ваши войска собрались здесь незаконно. На беззаконие мы можем ответить беззаконием. Вы угрожаете силой? Но неизвестно, чьи силы больше. Если кордельеры ударят в набат, нам на помощь придут предместья. Вы привели сюда десять тысяч солдат? Мы выставим, если потребуется, двадцать тысяч!..

Представители власти переглянулись. Толстый офицер больше не смеялся. Вся его важность вдруг куда-то испарилась. Сняв белую перчатку, он вытер пот со лба. Ла Вийет отчаянно делал предостерегающие знаки.

Дантон даже не взглянул на него. Теперь его голос был подобен грому.

– Жаль, что приходится иметь дело с трусами. Если бы батальон кордельеров был так же мужествен, как я, всех вас давно бы вышвырнули отсюда!

Ла Вийет подошел к Дантону, схватил его за руку и стал быстро шептать:

– Опомнись! Соображаешь ли ты, что несешь? Это же черт знает что такое!..

Только тут Жорж понял, что хватил через край. Он добавил совершенно другим тоном:

– Разумеется, это мое частное мнение. Как свободный гражданин, я волен говорить, что думаю.

Оговорка была запоздалой и напрасной. Все было сказано и прочно осталось в памяти как друзей, так и врагов.

Толпа возле дома № 39 продолжала расти.

Подходили рабочие в блузах, приказчики из соседних лавок, целые группы домашних хозяек.

Вскоре количество наблюдателей стало превышать число оставленных у подъезда солдат. Сержант экспедиционного отряда с нетерпением ждал возвращения своего командира. Рядовые кордельеры, собравшиеся для защиты Друга народа, стояли молча и вели себя сдержанно. Но в этой сдержанности чувствовалась немая угроза. Когда одного рабочего грубо толкнул и оскорбил офицер национальной гвардии, тот спокойно от-

ветил:

– Ничего не выйдет, дружок. Ты хотел бы нас спровоцировать, я это вижу. Но мы сохраним спокойствие до тех пор, пока это будет нужно, и пусть лопнут от ярости все аристократы, представителем которых ты являешься!

А одна из женщин крикнула с гневом и презрением, обращаясь прямо к гвардейцам:

– Мой муж тоже солдат! Но если бы он был так подл, что пожелал бы арестовать Друга народа, я сама раскроила бы ему череп!

И она угрожающе потрясла кочергой, предусмотрительно захваченной из дому.

В толпе раздались аплодисменты. Можно было заметить, что почти все собравшиеся вооружены.

Это хорошо заметил толстый офицер, только что вернувшийся из комитета. Не желая рисковать, он отправил несколько своих за подкреплением. Удалились и пристава, заявив, что им нужно получить дополнительные инструкции от своего начальства.

Казалось, кордельеры одерживали победу. Во

всяком случае, два часа времени были уже выиграны.

Народ ждал сигнала к дальнейшим действиям.

Но сигнала не последовало.

Когда Жорж Дантон несколько остыл и одумался, его охватили сомнения.

Пожалуй, Ла Вийет прав, он зашел слишком далеко. Следует всегда соразмерять силы. По существу, он только что апеллировал к народному восстанию. Но подумал ли он, к чему это приведет? Допустим, кордельеры выгонят солдат из дистрикта. Смогут ли, однако, они одержать победу в рамках столицы, не говоря уже обо всей Франции? В этом Дантон теперь не был уверен. Напротив, он полагал, что углубление конфликта способно привести к разгрому демократических организаций Парижа. А тогда гибель ждет и его. . . К тому же как мог он забыть, что завтра, 23 января, он сам вступает в Коммуну?..

Нет, пора бить отбой. Он произвел внушительную демонстрацию—Друг народа теперь вне

опасности, а господа Лафайет и Байи достаточно устрашены. Ну и хватит. Надо исправлять дело, пока не поздно. Скорее назад, на легальную почву!..

Ровно в одиннадцать началось общее собрание кордельеров.

Первым выступил Ла Вийет. Начальник батальона дистрикта пожаловался на некоторых «недостойных» граждан. Когда он проходил по улице, его вдруг стали оскорблять: его обозвали трусом и пособником врагов!

Дантон пресек красноречие Ла Вийета. Сейчас не время для жалоб и разбора личных дел. Сейчас нужно думать и говорить лишь о главном.

Внимательно и спокойно трибун оглядел собравшихся.

– Граждане, если бы мы следовали только своим настроениям, то, увидя себя осажденными на нашей территории, мы тотчас же вооружились бы и ответили в соответствии с законами войны: мы изгнали бы из нашего дистрикта солдат, которые явились, чтобы преследовать нас!..

Дантон выразительно помолчал.

– Но упаси меня боже, друзья, чтобы я проповедовал вам подобные истины!..

Еще пауза.

– Эти солдаты—наши братья. Их слепое повиновение приказам начальства—их единственная ошибка. Вооруженные, как и мы, для защиты свободы, они не предполагают, что защищают дело деспотизма!..

Голос оратора приобретает трагический оттенок.

– Завтра, когда они станут просвещенными патриотами, они будут страдать не меньше нас. . . Поймите: гражданская война стала бы неизбежным следствием нашего сопротивления, и этого, только этого добиваются наши враги, чтобы подготовить контрреволюцию! Разрушим же их подлые проекты, будем пользоваться только доводами разума. . .

Кордельеры сидели тихо и с недоумением поглядывали друг на друга. Они не узнавали своего вождя.

Меньшинство не согласилось с оратором: оно

потребовало энергичных мер.

Но авторитет Дантона взял верх.

По его предложению было решено послать делегатов в Учредительное собрание и подчиниться его арбитражу.

Это была капитуляция.

Однако даже и она не могла сгнать того, что было сказано два часа назад.

Между тем улица продолжала свою молчаливую борьбу.

Час проходил за часом.

Уже давно пришли подкрепления к экспедиционному отряду, а пристава вернулись с приказом спешно заканчивать операцию, уже давно народ знал о том, что порешили его руководители.

И все же народ стоял, стоял нерушимой стеной.

Не помогали ни уговоры, ни угрозы.

Только к шести вечера, догадываясь, что Марату ничто больше не угрожает, люди, уставшие и измученные долгим ожиданием, начали расходиться.

Солдаты тотчас же заняли дом.

Как и следовало ожидать, он оказался пустым. Слуга Марата сообщил, что его хозяин ушел много времени назад и не оставил никаких распоряжений. . .

Взбешенные гвардейцы разгромили типографию, подняли все вверх дном и унесли те рукописи и бумаги, которые сумели найти.

У дома № 39 оставили сторожевой пост.

Дежурили и в последующие дни, вплоть до 25 января, надеясь, что журналист вернется.

Но Марат не вернулся.

Избегнув ареста благодаря стойкости и героизму своих читателей, он некоторое время скрывался у друзей, а затем тайно эмигрировал в Англию, где и пробыл до июня 1790 года.

Лишь в восемь часов возвратились делегаты кордельеров из Учредительного собрания. По их хмурым лицам сразу можно было догадаться, какой ответ они принесли.

Ассамблея обращалась к дистрикту с письмом, в котором, воздавая должное патриотизму

его граждан, вместе с тем резко укоряла их за строптивость и неповиновение властям. На правах верховного арбитра Собрание предписывало кордельерам прекратить пустые разглагольствования и оказать эффективную помощь агентам Коммуны в выполнении полученного приказа. . .

Комиссарам дистрикта не оставалось ничего иного, как подчиниться верховной власти, что они и проделали. Было решено немедленно послать двух делегатов к Лафайету и к дому Марата с указанием, что больше не будет чиниться никаких препятствий к осуществлению декрета. . .

Эта мера запоздала. Солдаты разгромили типографию Друга народа ровно за два часа до того, как доблестные вожаки дистрикта дали свою окончательную санкцию. . .

Жорж Дантон в этот день, столь богатый событиями, вопреки обычному, рано оставил общественные дела и отправился домой. Ему не терпелось попасть под крылышко своей нежной Габриэли. Ему было плохо. . .

Дело Марата явилось высшей точкой рево-

люционных событий осени—зимы 1789/90 года. В день 22 января острота борьбы между Ратушей и кордельерами достигла максимального накала.

Она могла вылиться в новое народное восстание, которое сокрушило бы власть Лафайета, Байи и их хозяев.

Она могла стать шагом вперед на пути развития революции.

Но всего этого не произошло.

Благодаря нерешительности руководства, половинчатости проведенных мер, боязни выйти за рамки легальной борьбы момент был упущен и народный энтузиазм не принес тех плодов, которые мог принести.

Это значило, что крупная буржуазия получает перевес в схватке с народом, что Ратуша одерживает верх над дистриктами, что революционный подъем на некоторое время неизбежно сменится отливом.

И значительная вина за все это исторически лежит на Жорже Дантоне.

Именно здесь он впервые в полном объеме раскрыл все внутренние противоречия, заложен-

ные в его кипучей натуре, свою боязнь перед слишком решительными действиями народных масс.

Ему же первому было суждено и поплатиться за эту двойственность и противоречивость.

Ибо, как и предвидел Байи, дело Марата с неизбежностью вызывало к жизни дело Дантона.

Злой дьявол превращается в доброе

Собственно говоря, «дело Дантона» началось уже давно: быть может, в декабре, а то и раньше. И началось оно совершенно неофициально.

Едва лишь имя Дантона стало приобретать известность, как вокруг этого имени легла тень.

Змеей поползли слухи:

– Он сумасшедший! Он выступает с вздорными проектами, один хуже другого! Он хочет подорвать всякий порядок, разрушить все нормы жизни!

– Сумасшедший? Это провокатор! Ни одному его слову нельзя верить! Он работает в тайной полиции!

– Что вы! Это английский шпион! Он, как и

его креатура, Паре, проданся за английское золото!

– За английское? Вполне возможно. Но за французское-то уж наверняка! Дантон—это шавка Орлеанского дома, холуй, который за хороший обед и ласковый прием в лепешку разбивается для принца Филиппа, делает все возможное, чтобы обеспечить ему престол!

– Нет, вы ошибаетесь. Дантон куплен двором. Недаром он адвокат при Королевских советах! И за свою-то должность он заплатил деньгами, полученными из королевской шкатулки!

– Слишком много чести! Дантон просто работает на Мирабо! Мирабо хотел бы занять место Байи, вот он и платит этому авантюристу, который прокладывает ему дорогу!

– Дантон продается каждому, кто желает его купить. Вот откуда у него такие средства. А потом он, в свою очередь, скупает голоса кордельеров: поэтому-то он и председатель дистрикта, и уполномоченный, и комиссар, поэтому-то его и выдвинули в Коммуну!..

Слухи росли и ширились.

Дело дошло до того, что дистрикт счел себя обязанным выступить с официальным протестом.

Одиннадцатого декабря в особом постановлении кордельеры выражают признательность своему «дорогому председателю», восхваляют его доблесть, честность, патриотизм, «как военного и гражданина», и «отбрасывают всякое подозрение в неблаговидных с его стороны поступках».

Этот акт был разослан по всем остальным пятидесяти девяти округам столицы.

Клеветники потирали руки.

Тем, что дистрикт выступил с подобным заявлением, он юридически признал, что слухи существуют. А ведь—хе, хе!..—каждому известно: нет дыма без огня!

Агентура господина Байи работала на славу. Почтенный академик хорошо отомстил тому, кто величал его «сатрапом» и «вором».

Но это было лишь начало.

События 22 января предоставили в руки врагов Дантона благодарный материал, а слабость, проявленная трибуном, давала полную уверен-

ность, что этот материал можно будет тотчас же пустить в ход.

Теперь уже речь шла не о том, чтобы ослабить ненавистного демагога. Теперь, казалось, ничто не мешало упрятать его за решетку!..

Просматривая бумаги, связанные с делом Марата, королевский прокурор верховного суда Шатле обратил внимание на некоторые весьма любопытные места в протоколах показаний судебных приставов.

Вновь и вновь перечитывал прокурор отчеркнутые места.

Нет, он не ошибся.

Наконец-то правосудие обладает неоспоримыми уликами против кордельерского главаря! Бедняга в запальчивости сам подписал свой приговор. Он открыто угрожает правительству и подбивает граждан на бунт. Он готов призвать двадцать тысяч мятежников из предместий. Превосходно! К нему вполне может быть применен закон против поджигателей и смутьянов!

И, сделав красными чернилами замечания на

полях протоколов, прокурор немедленно пере-
слал их мэру.

Господин Байи не задержал столь важных бу-
маг.

Двадцать девятого января прокурор составил
обвинительный акт.

А 17 марта королевским судом Шатле был
издан декрет об аресте и заключении в тюрь-
му адвоката при Королевских советах господина
д'Антонна.

Для Жоржа это был гром с ясного неба.

Он давно уже забыл и думать о «деле Мара-
та».

Двадцать третьего января, несмотря на злоб-
ное противодействие со стороны клеветов гос-
подина Байи, он вступил в Ратушу и занял место
в Генеральном совете Коммуны.

В тот же день кордельеры переизбрали его
своим председателем.

Его слава и популярность возрастали с недели
на неделю.

И вдруг—на тебе, получай!..

Ну, нет. Так-то просто он им не дастся.

Конечно, полгода назад его бы в подобном случае сцапали без разговоров. Тогда никто и не пикнул бы в его защиту. Но теперь. . . Теперь его знает весь Париж, и заступников у него будет более чем достаточно!

А потому он может спокойно сказать:

– Руки коротки, господа! Скорее ваш знаменитый суд Шатле полетит в тартарары, нежели Жорж Дантон станет его добычей!

И Жорж, не теряя ни мгновенья, принялся за работу.

Прежде всего он обратился к избирателям.

Кордельеры тотчас же подняли свой голос. На следующий день после опубликования декрета был составлен внушительный протест, направленный к остальным дистриктам.

Подавляющее большинство округов поддержало кордельеров и выразило негодование по поводу действий Шатле.

Одновременно были посланы адреса в Учредительное собрание и Ратушу.

В Ратушу, впрочем, вряд ли стоило посылать.

Новые коллеги Дантона не только не оказали ему помощи, но проявили крайнее злорадство, в чем не было ничего удивительного: все они пресмыкались перед господином Байи и держали его сторону.

Однако адрес, предназначенный для Ассамблеи, имел совсем иную судьбу.

Протест кордельеров застал Учредительное собрание в разгар жестокой внутренней борьбы. Крайняя левая с радостью ухватила за этот документ и потребовала расследования.

Адрес передали в специальный Комитет Ассамблеи. Комитет обратился к министру внутренних дел. Министр запросил Шатле. После тщательного изучения полученных бумаг Комитет не нашел в них большого криминала и поручил своему докладчику, депутату Антуану, сделать отчет на ближайшем заседании Ассамблеи.

Депутат Антуан был единомышленником Робеспьера. Его сообщение выглядело гораздо более радикальным, нежели хотелось бы его товарищам по Комитету.

Дантона,—заявил докладчик,—становится делом всего Парижа. Несчастье этого человека превращается в общее горе. Сорок дистриктов столицы поддержали мужественных кордельеров, и теперь оковы их председателя стали его лавровым венком!

Разумеется, насчет оков докладчик прибавил лишь для красного словца: арестовать Дантона, вокруг которого кордельеры стояли несокрушимой стеной, никто и не пытался.

Далее Антуан убедительно показал, что все это дело раздуто, раздуто, без сомнения, в чьих-то личных интересах. Зажигательные слова? Да, конечно, слова были произнесены, но никто не может быть уверен, что они именно таковы, как свидетельствует судебный пристав. И вообще из-за каких-то двух-трех фраз бросать в тюрьму выдающегося патриота, оказавшего столько услуг отечеству, более чем безумие. Ассамблея должна отменить декрет Шатле, как антиконституционный и опасный для гражданской свободы.

Крайняя левая бурно аплодировала оратору.

Конечно, большинство депутатов, бывшее на стороне Лафайета и Байи, не допустило отмены декрета Шатле. Но в создавшейся атмосфере его никак нельзя было и одобрить.

Собрание решило поступить так, как поступало всегда при аналогичной ситуации: дело было отложено.

Дантон мог торжествовать. Его сторонники добились желаемого результата: отсрочка дела означала его прекращение.

А несколько месяцев спустя Максимилиан Робеспьер произнес гневную речь, в которой потребовал ликвидации суда Шатле. И, аргументируя свое требование, он еще раз напомнил о деле Дантона: в свободной стране нельзя было сохранять учреждения времен деспотизма, угрожающие лучшим патриотам и вызывающие ненависть добрых граждан!..

Трагедия закончилась фарсом.

В те дни, когда Ассамблея решала судьбу председателя кордельеров, по рукам парижан расходилась брошюра с весьма интригующим за-

главием:

«Великое слово о великом преступлении великого Дантона, происшедшем в великом округе великих кордельеров, и о великих последствиях этого дела».

Читатель брошюры сначала улыбался, потом смеялся, а затем начинал хвататься за бока.

И было от чего!

Анонимный автор памфлета не пожалел иронии. Он так все расписал и разъяснил, что хозяева столицы во главе с господином мэром выглядели чистейшими идиотами!

Парижане хохотали и подмигивали друг другу.

– Ей-богу, этот Дантон родился в сорочке. Ему везет во всяком деле, за какое он ни возьмется!

Здесь-то уж, кажется, его вот-вот должны были прихлопнуть, а он вышел сухим из воды, да еще превратил в шутов своих преследователей! Но посмотрите, как он притих! Точно переродился!

И правда, Жорж точно переродился.

Минуло всего два-три месяца с тех пор, как председатель кордельеров стал членом Коммуны, той самой Коммуны, против которой полгода подряд он метал громы и молнии. Его новые коллеги на первых порах смотрели на него с ужасом: казалось, сам дьявол проник под своды Ратуши! Но день проходил за днем, и советники с величайшим изумлением убеждались, что не так страшен черт, как его малюют: злой дьявол кордельеров на глазах превращался в доброго!

Это был весьма обходительный и любезный собеседник, равно приветливый со всеми и почти не проявлявший своего «я». Скромный труженик, он обычно не выступал на совещаниях и не выражал мнения ни по одному из разбираемых вопросов.

Он просто «выполнял свои функции».

Как-то не верилось, что именно этот человек был совсем недавно пламенным оратором Пале-Рояля, что он призывал народ к походу на Версаль, что он угрожал Ратуше восстанием предместьев.

Нет, это, конечно, был не тот Дантон.

Постепенно советники Коммуны стали забывать прошлое и сближаться с недавним врагом, тем более что он как будто вовсе и не был врагом. . .

Только господа Байи и Лафайет ничего не забыли и не простили. Они ни минуты не верили в перевоплощение Дантона.

Были ли они правы? В значительной мере— да.

Ибо если борец уступал место буржуа, а вождь революционного дистрикта превращался в добропорядочного чиновника, то только лишь потому, что к этому его временно вынуждали обстоятельства.

Когда-то в июне—июле первого года революции он думал о гораздо большем.

Он мечтал о своей линии в революции.

Но провести ее не удалось. Господа Лафайет, Мирабо, Барнав и другие его опередили. Наверху оказались они: мало того, теперь они закрепили свои позиции, и, быть может, надолго.

Дантон честно боролся с Ратушей, но проиграл. Это надо прямо признать. И надо сделать выводы.

Что ж, господа, сила сейчас в ваших руках. Но время работает на нас. Нужны лишь терпение и выдержка.

В конце концов внешне он добрый буржуа, счастливый муж, крупный адвокат, известный всему Парижу, он популярен и имеет деньги. Мало этого: ему удалось закрепить свое положение в Ратуше—подлинном стане врагов.

Чего же еще?

Нет, Жорж! Не лезь на стену, но и не вешай нос на квинту. Этот мир не так-то уж плох, и в нем у тебя много, очень много дела!..

Оплакивали ли кордельеры потерю своего вожака? Они пережили его очень ненадолго. Действуя исподволь и в контакте с буржуазной Ассамблеей, Коммуна в июне 1790 года, наконец, добилась своего.

В связи с новой административной реформой дистрикты были уничтожены. Их заменили сорок

восемь секций—округов более крупного размера. Бывший дистрикт Кордельеров оказался поглощенным секцией Французского театра.

Но старый Кордельерский монастырь по-прежнему остался местом бурных соборищ.

Здесь возник знаменитый Клуб кордельеров, подхвативший знамя демократии из рук повергнутого дистрикта. И члены клуба терпеливо ожидали того дня, когда их бывший председатель вновь даст волю своему необъятному голосу. . .

4.
НАЦИЯ, ЗАКОН, КОРОЛЬ
(АПРЕЛЬ 1790—АВГУСТ
1791)

Праздники и будни

Все шло по-обычному. Зима сменилась весной, весну торопило лето. Но зима выдалась на редкость теплая. А пробуждение природы волновало не только солнечными лучами и яркой зеленью—люди ждали чудес. Ждали, что кончатся голод и нужда. Ведь как-никак это была первая весна революции!

Казалось, ожидания не будут обмануты. Хотя чудес и не произошло, хотя голод и нужда остались, но все же весна 1790 года принесла столице и всей стране заметное экономическое оживление. Повсюду, особенно в строительном деле, повысился спрос на труд. Несколько возросла заработная плата. Рабочие, объединяясь в союзы, по-новому заговорили с предпринимате-

лями. Крестьяне приветствовали падение ненавистного феодального режима.

С начала лета пошли праздники. Дата за датой, юбилей за юбилеем. 17 июня исполнился ровно год Национальному собранию. Двадцатого буржуазия пышно отметила день солидарности своих депутатов. Но самое яркое, поистине всенародное торжество всколыхнуло Париж 14 июля— в годовщину взятия Бастилии. Это был подлинный юбилей победы. Его называли «Днем федерации», и все французы, как братья единой семьи, должны были принять в нем участие.

Парижане с энтузиазмом готовились к этому дню. Когда выяснилось, что не хватает строительных рабочих, тысячи добровольцев явились на Марсово поле. Вооруженные кирками, лопатами, топорами, мужчины и женщины, простолюдины, буржуа и даже депутаты Ассамблеи несколько дней трудились над созданием огромного амфитеатра и Алтаря отечества, где должно было происходить главное торжество.

А потом прибыли федераты. Они собрались со всех концов страны, и 14 июля на Марсовом

поле можно было услышать все диалекты французского языка.

Что это было за зрелище! Федераты прошли церемониальным маршем огромную арену. Их приветствовали четыреста тысяч парижан. Приблизившись к Алтарю отечества, делегаты провинций приносили торжественную присягу. Присягу на верность нации, закону и королю. . .

. . . Нация, закон, король. . . Так была найдена формулировка, к которой лидеры крупных собственников, господствующие в Ассамблее и Ратуше, стремились свести свои труды и дни. Альфа и омега их деятельности, начало и итог их судорожных стремлений примирить непримиримое, она в конечном итоге оказалась глубоко несостоятельной. Ибо «нация» была неоднородной, «закон» не устраивал большинства, а «король» одинаково ненавидел и навязанный ему «закон» и взбунтовавшуюся против него «нацию».

Но кумиры Учредительного собрания свято верили в созданную ими догму. Желаемое они принимали за действительное, и, когда от праздников пришлось вернуться к будням, они с ред-

кой настойчивостью и целеустремленностью пошли намеченным путем.

Декреты, изданные Ассамблеей в 1790-1791 годах, преследовали две цели. Во-первых, надлежало закрепить и утвердить все то, что уже было вырвано у феодализма и абсолютизма во благо крупной буржуазии, Во-вторых, утихомирить и обезоружить народ, лишив его возможности в дальнейшем чересчур сильно повышать голос.

Осуществляя первую цель, законодатели отменили деление на сословия, упразднили дворянство вместе с его титулами и гербами, превратили духовенство в обычных государственных чиновников, установили свободу вероисповедания, конфисковали и пустили в распродажу церковные земли, названные «национальными имуществами». Ассамблея устранила все прежние ограничения, мешавшие свободному развитию промышленности и торговли, уничтожила старые феодально-абсолютистские учреждения, в первую очередь парламенты, провела административную реформу.

Этим законам рукоплескала не только буржу-

азия. Их приветствовала вся новая Франция.

Но одновременно с этим Собрание продолжило серию мер, начатых еще осенью прошлого года и ставивших целью задушить движение «черни». Вслед за «военным законом» и положением об избирательном цензе, делившем граждан на «активных» и «пассивных», законодатели усилили и углубили раскол бывшего третьего сословия. «Пассивным», то есть малоимущим, были закрыты дороги к любой общественной должности. Их не допускали ни к избирательным урнам, ни в национальную гвардию, а новая административная реформа исключила их даже из секционных собраний.

Крестьяне напрасно торжествовали, проводя уходивший феодальный режим. Когда рассеялся туман пышных фраз, сопровождавших аграрное законодательство, оказалось, что труженики полей не получили почти ничего: они по-прежнему были лишь «держателями» помещичьих земель и по-прежнему должны были выполнять большую часть «реальных» повинностей.

Что же касается поднявшихся было городских

пролетариев, то в начале лета 1791 года им был нанесен страшный удар: по предложению бретонского депутата Ле-Шапелье Ассамблея единодушно приняла декрет, запрещавший рабочие союзы и стачки. . .

В целях дальнейшего усиления нажима на массы депутаты собственников стремились усилить власть короля. Закрывая глаза на контрреволюционную политику двора, законодатели наделили монарха правом вето—правом приостанавливать на долгое время любой законопроект Ассамблеи. Людовик XVI сам назначал и смещал министров. А для удовлетворения его личных нужд вотировали цивильный лист—ежегодную сумму в двадцать пять миллионов ливров!.,

Лишь небольшая группа депутатов во главе с Максимилианом Робеспьером осмеливалась противиться политике крупной буржуазии. Однако смельчаков никто не слушал. Законодатели верили, что одержали победу: революция закончена, король у них в руках, а сами они у кормила правления.

Но так ли все было в действительности, как

им казалось?..

В действительности революция не прекратилась ни на миг. Поток, сорвавшийся с вековой кручи, оставался неудержимым. И если плотина разбила его на мелкие ручейки, то каждый из них все равно продолжал свой бег в раз принятом направлении.

Крестьянские бунты с новой силой прокатились по стране. Керси, Перигор, Руэрг, департаменты Сены и Марны, Луары и Соны... Отовсюду поступали грозные вести.

Не дремали и города. Не только в столице и крупных центрах, но и в самых глухих, захудалых местечках оживилась деятельность передовых журналистов, возникали народные клубы и общества. После короткого перерыва вновь ударил набат Друга народа. С Маратом соревновался пылкий Демулен, провозгласивший себя «прокурором фонаря» и «первым республиканцем». Весной и летом 1790 года демократическое движение приняло четко организованные формы.

Больше всего филиалов и отделений в про-

винции насчитывал Якобинский клуб⁴. В первую годовщину революции их было около сотни, а еще через год—четыреста шесть. К якобинцам принадлежали все ведущие депутаты Ассамблеи, от Мирабо и Барнава до Робеспьера. А внутри клуба уже начиналась борьба между умеренными и демократами.

Клуб кордельеров был более плебейским по своему составу и более решительным по своим требованиям. Невысокие членские взносы давали доступ в члены клуба простым людям. Как и во времена дистриктов, клуб оставался гнездом непокоримых; его ораторы, журналисты и политики гремели на весь Париж.

Еще более решительную позицию занял Социальный кружок, руководители которого основали в Пале-Рояле многотысячную «Всемирную федерацию друзей истины». Здесь обсуждались принципы идеального общества и государства,

⁴[4] Это имя клуб получил вследствие того, что заседал в помещении бывшего Якобинского монастыря; официально клуб назывался «Обществом друзей конституции».

причем ставилось под сомнение даже «вечное» право частной собственности.

Все это было более чем симптоматично. Столпы крупных собственников допустили просчет. Революция взорвала старый мир не для того, чтобы оставить все на полдороге. И то дремотное состояние, в которое снова стремились свергнуть пробудившийся народ, ни в коей мере не устраивало победителей Бастилии.

Но если крупная буржуазия впадала в ошибку, думая, что ей удалось «успокоить» революцию, то не менее тщетной была ее надежда и на «приручение» короля.

Правда, внешне король и двор как будто смирились с новым положением дела. Монарх приходил на заседания Ассамблеи и произносил прочувствованные речи. Казалось, старый порядок снимает шляпу перед новыми господами. Но никогда лицемерие не было столь полным, а ненависть столь непримиримой.

Ибо между абсолютным монархом и его утешителями с самого начала разверзлась пропасть,

причем каждый шаг революции, каким бы умеренным он ни был, увеличивал эту пропасть с роковой неизбежностью. Король без дворянства и духовенства, самодержец, лишенный самодержавия, вынужденный действовать в интересах тех, кого он всегда так глубоко презирал, не мог и не желал смириться. Его заветной целью оставался возврат к принципу «государство—это я». И что значили какие-то двадцать пять миллионов ливров гражданского листа для того, кто еще так недавно властвовал над двадцатью пятью миллионами человеческих жизней?..

Впрочем, двор давно уже понял, что открытым противодействием многого не возьмешь. Все попытки вооруженного переворота с треском провалились. И «благородные» резко изменили тактику. Сделав хорошую мину при плохой игре, они постарались использовать щедрость крупной буржуазии, прежде всего гражданского листа, чтобы начать планомерный подкоп под революцию.

Старый мир готовился к длительному и жестокому сопротивлению.

Будни революции оказались насыщенными. Они были насыщены борьбой, борьбой непримиримой, хотя зачастую и скрытой, словно притаившейся под сенью новых законов.

Но дальновидные люди понимали: час, когда тайное станет явным, не за горами.

В кругу друзей

Из своих окон Габриэль могла оглядеть всю улицу Кордельеров. Она любила рано утром или в сумерки сидеть у окна и смотреть вниз. Высокие дома на противоположной стороне загораживали небо. По улице сновало много народу. Но Габриэль всегда видела лишь одного. Утром она провожала его и долго следила за тем, как серый квадрат знакомой спины все уменьшался, пока не исчезал в толпе; вечером старалась издали узнать милое рябое лицо. Он хорошо знал это.

18 апреля Габриэль родила крепкого мальчишку, которого с обоюдного согласия окрестили Антуаном.

Появление младенца было встречено с энтузиазмом во всем квартале. Визитам и восторгам

не было конца, а по улицам ходила толпа и распевала тут же сочиненные куплеты:

Трепещите, министры, трепещите,
тираны, ибо родился новый
Дантон!

Он пойдет по стопам своего отца -
Ведь на лбу у него печать об-
щественного спасения!

Первые слова, которые он произнесет,
будут: «Жить свободным или
умереть!»

Его мать поспешила украсить малют-
ку национальной кокардой;
Не сомневайтесь: наш дофин⁵ будет
воспитан лучше, чем сын ко-
роля!

Так и прозвали маленького Антуана: «Дофин кордельеров».

⁵[5] Дофин—старший сын короля, наследник , пре-
стола (*франц.*).

Да, здесь, на территории прежнего дистрикта, Жорж Дантон в сердцах людей продолжал оставаться «дорогим и бессменным председателем». Здесь, как и раньше, его любили и уважали; здесь он всегда был в кругу друзей.

– Этот превосходнейший господин Дантон!— улыбаясь, говорили прохожие, указывая на него тем, кто приехал из других мест и еще не знал его.

«Этот превосходнейший господин Дантон!»— так он и числился у кордельеров.

Дантоны жили тихо и мирно. Пожалуй, не было другой столь мирной семьи на улице Кордельеров. Здесь рано вставали, и весь день был наполнен делами. По вечерам, после работы, Жорж занимал большое кресло у камина в своей уютной библиотеке. Перелистывая страницы книги, он слушал, как потрескивали дрова, и наслаждался покоем. Габриэль находилась тут же: что-либо чинила или вязала. Она в совершенстве владела искусством молчания, никогда не задавала ненужных вопросов, никогда первой не на-

рушала прелести тишины.

По субботам и воскресеньям приходили гости. Дантоны очень любили общество. Их приемы славилась радушием, причем здесь всегда бывал накормлен, напоен и обласкан даже мало-знакомый посетитель. Нечего и говорить о том, как принимали друзей!

Их собиралось обычно не так уж много. Все были молодые, веселые, все воодушевленные революцией и надеждами юности.

Кроме нескольких родственников, постоянными посетителями квартиры Дантонов были Камилл Демулен, Фрерон, Фабр д'Эглантин, журналист Робер со своей энергичной супругой, Паре. Иногда захаживал депутат Ассамблеи Максимилиан Робеспьер. Впрочем, Робеспьер, замкнутый и скрытный, тяжело сходящийся с людьми, как-то не привился к веселой компании.

Душой и любимцем общества был Демулен.

Этот пылкий и неуравновешенный мечтатель, всегда занятый какой-либо новой идеей, всегда восторженный и шумный, одновременно веселил,

очаровывал и занимал. Его вьющиеся волосы, спадающие на плечи, рассеянный взор, небрежно завязанный галстук—все выдавало поэта. Но Камилл не был поэтом, и если писал стихи, то откровенно плохие. Сферой его деятельности неизменно являлась политика. Сначала оратор Пале-Рояля, затем журналист, издававший «Революции Франции и Брабанта»—одну из самых популярных газет в Париже, Демулен откликался на каждое событие, истолковывал его и преподносил в своем освещении жителям столицы. Кое-кто считал Камилла слишком легковесным, но в остроумии ему не мог отказать никто.

Друзей Камилла долгое время волновали его сердечные дела, которых он ни от кого не скрывал. Журналист больше года был страстно влюблен в очаровательную Люсиль Дюплесси. Люсиль была дочерью богатых родителей: ее отец владел солидной недвижимостью и считался весьма почтенным буржуа. Естественно, что о браке дочери с вертопрахом-журналистом чета Дюплесси и слышать не желала. Но Люсиль и Камилл добились своего. 29 декабря 1790 года

вопреки всему свадьба состоялась, причем, разумеется, в ее организации приняли участие все друзья.

Жорж Дантон, искренне любивший Камилла, от души хохотал над всей этой историей, которая в какой-то мере напоминала ему его собственную. После женитьбы Жорж и Камилл сблизились еще больше: этому содействовали их жены.

Люсиль Демулен, живая и грациозная блондинка, была почти на пять лет моложе Габриэли. Они ни в чем не походили одна на другую и тем не менее быстро нашли общий язык. Габриэль, всегда спокойная и выдержанная, импонировала капризной и шумной Люсиль; Люсиль без сопротивления подчинилась своей подруге. Вскоре они стали неразлучны и дня не могли прожить одна без другой.

Люсиль пользовалась большим успехом у мужчин. За ней откровенно ухаживал элегантный Станислав Фрерон, ей делал весьма недвусмысленные комплименты сам хозяин дома, к ней даже, как утверждали, — дело неслыханное — был неравнодушен всегда сторонившийся жен-

щин Максимилиан Робеспьер!

Собственно говоря, Робеспьер вошел в дом Дантона благодаря тому же Камиллу. Когда-то, в очень отдаленные времена, Максимилиан и Камилл учились в одном коллеже и были близки. Время и обстоятельства их разлучили. В дни революции они снова встретились и, оказавшись политическими единомышленниками, стали часто видеться. Серьезному Робеспьеру прочили в невесты юную Адель, сестру Люсилы. Но если Неподкупный тайком и вздыхал по одной из сестер, то это была не Адель. . .

Все эти комплименты и вздохи пропадали даром. Несмотря на кокетство и даже кажущееся легкомыслие, Люсиль была вернейшей из жен и не помышляла ни о ком, кроме своего Камилла.

В жаркие летние дни, на праздник или под воскресенье, вся компания отправлялась за город—на зеленые луга и водоемы, искупаться и порезвиться на воле. Излюбленных мест было два. Чаще всего предпочитали Фонтенуа, где у старика Шарпантье, на самой опушке Венсенско-

го леса, притаилась уютная ферма. Окрест почти не было соседей: можно было пробродить целый день и не встретить ни единой души! Неплохо проводили время и в Бур-ля-Рен, в поместье подбревшего папаши Дюплесси. Здесь, правда, больше отдавало цивилизацией, но зато каким поили вином!

Чтобы совсем уйти от обычного, будничного, раз и навсегда порешили: на время странствий менять имена. Имена выбирали нарочито торжественные или просто смешные. Так, Дантон прозывался Марием, Фрерон—Зайцем, Камилл—Були-Була, а мадам Дюплесси, часто председательствовавшая на литературно-музыкальных вечеринках, получила гордое имя Мельпомены.

Загородные прогулки бывали пленительными. Непринужденность и простота, царившие в кругу друзей, веселые игры, интересные разговоры—воспоминаний об этом хватало на всю неделю, вплоть до следующего сбора.

Жорж Дантон умел жить и наслаждаться жизнью. Он не отказывал себе в радостях бытия и веселых дружеских встречах даже тогда, когда

в его служебной или общественной деятельности все складывалось далеко не так, как он бы желал.

Дела служебные

Вообще-то говоря, дела были дрянь. После крупных успехов на судебском и политическом поприще, после блеска и славы в масштабе не только квартала, но и всей столицы Дантон явно садился на мель.

Официально он продолжал быть защитником при Королевских советах. Однако новые тяжбы появлялись в исчезающе малых количествах, и в этом не было ничего удивительного: сами Советы дышали на ладан и не сегодня-завтра должны были разделить судьбу других архаических учреждений Старого порядка. В эти дни Дантон ведет несколько дел бывших привилегированных, таких, как принц Монбарей или кавалер Мансо. Он получает изрядные гонорары, но при его мас-

штабах жизни и долгах это капля в море.

Не лучше обстояло и с политической карьерой. После январского удара, казалось, все объединились против него. Тщетно Дантон играет пай-мальчика, тщетно старается приспособиться к новому соотношению сил. Лафайет и Байи хорошо знают, с кем имеют дело.

Роль Дантона в Генеральном совете Коммуны была ничтожной. Его не загружали ответственными поручениями, не включали в полномочные комиссии. Заправилы Ратуши ждут удобного момента, когда вообще можно будет вышвырнуть его вон.

Видя все это, Жорж меняет тактику. К новым выборам он должен быть во всеоружии, он заставит вспомнить о себе всю секцию Французского театра, если не весь Париж! И, подобно раненому льву, трибун внезапно оборачивается к своим преследователям. Его разъяренное, изрытое оспой лицо ужасно. Его голос подобен грому. Что ж, господа, вы не пожелали мира,—пусть снова будет война!..

С конца мая экс-председатель кордельеров

все чаще поднимается на свою старую трибуну. Выступает он и в Якобинском клубе. Он доказывает, что народ—властелин. Долго ли властелин будет ползать у ног всех этих байи и лафайетов?.. И во имя чего?..

— Сегодня,— утверждает он,— когда существует только авторитет, дарованный народом, когда возвеличены только те, кого народ сделал великими, мы можем страшиться лишь закона, а наши надежды мы должны связывать только с нашими собственными талантами!..

Прекрасный призыв! У кого же еще дарованный народом авторитет и талант, как не у Жоржа Дантона?..

Но. при всем своем уме Дантон не учитывает одного. Он забывает, что новые законы Ассамблеи сделали единственной силой *активных граждан*, то есть богачей. Тот народ, к которому обращается трибун, как и прежде, готов носить его на руках. Но что проку? Сегодня народ отеснен от избирательских урн, сегодня туда опускают бюллетени только «активные». А это значит, что новые речи Дантона, которые он в запаль-

чивости произносит во весь голос, сулят ему не пользу, но вред. Ибо «активные», как и их вожди, больше всего на свете боятся «крайностей», ибо теперь, слыша новые призывы, ему вспоминают и старое: на него указывают пальцами, как на «бешеного». Иными словами, от избирательной кампании ему ждать нечего, и очень скоро он в этом убеждается на практике.

Согласно утвержденному Ассамблеей закону, в июле—декабре 1790 года должны были подвергнуться переизбранию все административные органы, начиная от Коммуны и кончая департаментскими и секционными советами.

Секция Французского театра приступила к выборам 29 июля.

Прежде всего надлежало переизбрать мэра.

Дантон нервничал. От того, удастся ли Байи удержаться на своем посту, зависело многое. Кандидатов было несколько. Друзья Жоржа выставили его кандидатуру, хотя и не имели большой надежды на успех.

Активные граждане столицы устроили Байи

настоящий триумф. В секции Французского театра за него проголосовали 478 человек из 580 допущенных к выборам. По всему Парижу он собрал двенадцать с половиной тысяч голосов из четырнадцати тысяч возможных. За Дантона же проголосовали... сорок девять человек.

Это было плохо, и плохо не столько потому, что не был избран Дантон, сколько потому, что был переизбран Байи.

Жорж не отчаивался. Разумеется, он и не рассчитывал попасть в мэры. Впереди было нечто более реальное: выборы должностных лиц в Коммуну.

Третьего августа приступили к избранию прокурора Коммуны. Это была важная и почетная должность. Дантон выставил свою кандидатуру и... провалился, получив всего 129 голосов.

Не удалось ему также стать ни одним из двух заместителей прокурора: оба раза «активные» прокатали его на вороных.

Оставалась самая решающая схватка. На вторую декаду августа были намечены перевыборы советников Коммуны.

Дантон уже более полугодом занимал кресло члена Генерального совета Коммуны. Он добросовестно исполнял свои обязанности. Казалось бы, для него перевыборы в этой должности сведутся к пустой формальности: он просто будет заново утвержден в ней. Но после всего, что произошло, и это далеко не представлялось таким уж вероятным.

Именно теперь враги Дантона взорвали бомбу, осколки которой должны были поразить трибуна в самое сердце.

В соответствии с судебной реорганизацией Франции, предпринятой по решению Учредительного собрания, ненавистный суд Шатле, преследовавший столько революционеров, был уничтожен. Все свои бумаги упраздненный суд передал гражданскому трибуналу VI округа. И вот прокурор этого трибунала, просматривая полученные дела, обнаружил среди них... дело Дантона!

Исходя из того, что в свое время дело это было лишь *приостановлено*, но отнюдь не пре-

кращено, прокурор после консультации в соответствующих инстанциях решил его *возобновить*. 4 августа, в самый разгар избирательной кампании, был выправлен новый ордер на арест. Ордер не только подписали—его задумали предъявить обвиняемому.

Скандал разразился прямо на избирательном собрании секции Французского театра. Судебный пристав, соответственно инструктированный, имел дерзость прервать заседание и потребовать немедленной выдачи преступника.

Поднялась буря. Возмущенные кордельеры не только не выдали Дантона, но схватили пристава и подвергли его тщательному допросу. Вновь началась газетная кампания в защиту преследуемого, вновь посыпались адреса в Ассамблею.

Конечно, Дантон арестован не был. Мало того, дело на этот раз было по-настоящему прекращено. Но господа Лафайет и Байи добились того, чего желали: активным гражданам столицы еще раз напоминали, с каким опасным субъектом они имеют дело.

Результаты можно было предвидеть.

Одиннадцатого августа секция Французского театра выдвинула Дантона одним из трех своих представителей в Генеральный совет Коммуны. Это значило, что Жорж сохраняет свое место в Ратуше. Но по новому закону любое избрание в любой секции считалось действительным, если его утвердят остальные 47 секций.

Тут-то и произошла осечка.

Против Дантона высказались 42 секции из 47. Он, единственный из 144 кандидатов, не был избран.

Коллеги по Ратуше указали ему на дверь.

Кампания оказалась полностью проигранной. Но Жорж Дантон, если даже его и смущало столь дружное противостояние, не подал виду. Он был бодр и дерзок, как обычно. Его голос не потерял своей силы. Он знал, что впереди ждет новая борьба.

Летом и осенью 1790 года по всей стране прошли волнения. Недовольство охватило часть армии. Возмутился гарнизон Нанси. Восстали мо-

ряки Бреста.

Власти жестоко расправлялись с недовольными. Улицы Нанси были залиты кровью революционных солдат. Целые подразделения отправлялись на каторжные работы. Учредительное собрание поспешило санкционировать все карательные действия военных властей, а кровавому генералу Буйе, душителю нансийского выступления, была объявлена благодарность.

Иначе отнеслась к этим событиям демократическая общественность страны. Крайняя левая Ассамблеи во главе с Робеспьером бурно протестовала. По всем секциям Парижа прошли демонстрации. Народ возлагал ответственность за голод, нужду и бесконечные репрессии в первую очередь на реакционеров министров.

Министр финансов Неккер, давно ставший оплотом контрреволюции и не раз уже подвергавшийся беспощадным разоблачениям со стороны Марата и Демулена, первым сообразил, что старому кабинету не удержаться. 3 сентября он подал в отставку и покинул Францию. Но другие члены Государственного совета, в особенности

ненавистный военный министр Латур дю Пэн, и слышать ни о чем не хотели. Они продолжали свою прежнюю политику.

Тогда поднялся Париж. Во главе с демократической секцией Моконсей все 48 районов столицы объединили свои усилия и решили подать коллективную петицию Учредительному собранию. Душой этого дела стал Дантон. Он в качестве секретаря общего собрания комиссаров секций редактировал адрес. Он же выступил в Ассамблее как оратор от лица всей депутации. Это произошло 10 ноября.

Речь Дантона была смелой, сильной и прекрасно аргументированной. Он дал уничтожающую оценку кабинету в целом, после чего с едкой иронией охарактеризовал отдельных министров.

В зале стоял невообразимый шум. Правые свистели, шикали, кричали и требовали, чтобы оратору заткнули глотку.

Но заткнуть глотку Дантону было невозможно. Его голос перекрывал все, и он говорил до тех пор, пока не исчерпал своей темы. Последняя часть его речи, произнесенная под аплодисменты

крайней левой Собрания, была исполнена гнева и призывала к немедленной отставке министров.

— Вы,— обращался он к министрам,—недостойны общественного доверия хотя бы потому, что остаетесь у власти во время процесса, который мы начали против вас!..

Дантон вышел из Ассамблеи с гордо поднятой головой. Он имел для этого все основания. Он оказался победителем. Правительство дрогнуло перед силой общественного мнения, и через несколько дней два министра из трех, ославленных Дантоном, в том числе ненавистный Латурдю Пэн, подали в отставку.

Итак, неустрашимый Дантон, вместо того чтобы спасовать и отойти в тень, вновь заявлял о себе всей Франции. И не только заявлял—он добился осуществления намеченной цели.

Кордельеры, в восторге от мужества и талантов своего экс-председателя, приготовили для него награду: 24 ноября ему предложили пост командующего батальоном национальной гвар-

дии секции Французского театра, ставший вакантным вследствие ухода Ла Вийета.

Друзья Дантона были в восторге. Ведь таким образом Жорж попадал в прямое подчинение к Лафайету, который был главнокомандующим! Уж теперь-то он насолит своему начальнику! Увидите, как попрыгает и повертится этот лицемер Мотье⁶, как он справится с таким подчиненным!

Дантон умерил пыл своих соратников. Он отказался от предлагаемого поста. Время «капитана Дантона» прошло. Теперь для него подобная должность не была находкой. Кроме того, он не желал погрязать в мелких интригах, когда впереди маячило нечто несравненно более заманчивое: в январе следующего года ожидалась выборы в Департамент.

Согласно новой административной реформе Совет парижского департамента, или просто Департамент, был одной из главных административных пружин управления столицей и ее окру-

⁶[6] Одно из имен Лафайета.

гом. По своей значимости Департамент соперничал с Ратушей. Учредительное собрание смотрело на него как на свой вернейший оплот.

Нечего и говорить, что Департамент комплектовался из архиумеренных деятелей, как их называли, «людей восемьдесят девятого года»⁷. Выборы в этот орган были двухстепенные: «активные» граждане на секционных собраниях выдвигали выборщиков, которые затем, из своей среды избирали советников Департамента. При подобной двойной фильтрации ни один лидер демократического направления не мог рассчитывать на место в этом Совете. Кажется бы, меньше, чем кто другой, мог рассчитывать на него «бешеный» Дантон, в особенности после всех его летних невзгод. И, однако, Дантон с упорством включился в новую кампанию.

Прежде всего ему удалось получить мандат выборщика, которым наградила его секция Французского театра. Этого после ноябрьских со-

⁷[7] По названию «Общества 89-го года» — клуба, основанного в 1790 году.

бытий добиться было нетрудно, но этого было, конечно, еще очень мало. В коллегии выборщиков Жоржа встретили крайне враждебно. На него здесь смотрели как на чужака.

Начались голосования.

День за днем, тур за туром умеренные проводили своих кандидатов.

15 января прошли Талейран и Мирабо. Дантон, разумеется, провалился.

В следующих турах—21, 22, 24 и 25 января—он также неизменно проваливался.

28-го он вдруг получил неожиданно большое число голосов и чуть не набрал нормы.

31 января, в последний день выборов, ко всеобщему изумлению, он был избран. . .

Что же такое вдруг произошло? Почему люди, из которых каждый порознь не мог говорить о Дантоне иначе, как с пеной у рта, все вместе, хоть и после долгого скрипа, проголосовали за него?..

Всякому было ясно: здесь что-то не так, в основе лежит какая-то закулисная игра. Но какая?

Этого пока никто не знал.

В состав Департамента были избраны такие столпы порядка, как Талейран, Мирабо, близкий к Барнаву Александр Ламет, Сиейс и им подобные. Среди столь определенных фигур Дантон, разумеется, выглядел белой вороной.

Однако он не растерялся.

При вступлении в должность 2 февраля 1791 года он написал письмо на имя председателя департаментских выборщиков, которое просил огласить с трибуны. Письмо это, прочитанное при всеобщем гробовом молчании, показалось столь странным и даже невероятным, что по требованию выборщиков секретарь был вынужден перечитать его дважды.

В этом письме достойный трибун кордельеров достойным образом доказывал свои верноподданнические чувства. Он заверял правительство, что не обманет его надежд и будет следовать только голосу «разумной умеренности, для того чтобы пользоваться плодами нашей прекрасной революции». Он клялся, что всем своим существом предан «нации, закону и королю» и что сделает все от него зависящее, чтобы «оберечь

конституцию».

— Вот вам и «бешеный»!—поражались слушатели.

Впрочем, изумление их скоро улеглось. Они кое-что вспомнили. Они вспомнили, как подобный же фокус этот же самый Дантон уже выкинул в январе прошлого года.

Как известно, один и тот же фокус, в одной и той же аудитории редко удается дважды.

Дантону больше не верили.

Позднее он со смехом говорил:

— Я за все время пребывания здесь не приобрел ни одного рекрута среди департаментских ослон!

Но эти «ослы» сейчас и не были ему нужны. На ближайшее время Жоржа Дантона занимало совсем другое. Его волновали чисто житейские дела, которые, правда, волею обстоятельств оказывались теснейшим образом переплетенными с делами служебными и общественными.

Дела житейские

Если бы в 1790—1791 годах существовал наблюдатель, который присматривался бы к частной жизни Жоржа Дантона столь же внимательно, как несколько поколений спустя стали присматриваться историки, он смог бы сообщить для сведения потомства целую, кучу любопытных открытий; без сомнения, он смог бы объяснить многое из того, что позднее представлялось кое-кому совершенно необъяснимым.

Жизнь Жоржа Дантона на грани этих двух лет полна загадок.

И самой странной из них, пожалуй, является его головокружительный материальный взлет.

В конце 1790 года положение его плачевно. Над ним продолжает тяготеть колоссальный

долг—большая часть цены его адвокатской магистратуры. Ему приходится содержать квартиру и поддерживать соответственный тон жизни. А приходы? Должности, занимаемые им в Ратуше и Департаменте, не оплачиваются. Приходы дает только адвокатская практика, которая неуклонно падает, пока не доходит до нуля.

И вдруг, точно по мановению волшебного жезла, все меняется.

Весною 1791 года он не только полностью покрывает свой долг, составляющий около 40 тысяч ливров, но и становится обладателем крупной земельной собственности. Разночинец внезапно превращается в помещика!

Согласно нотариально заверенным документам Жорж Дантон в марте и апреле 1791 года, примерно в течение двух недель, купил три национальных имения в округе Арси-сюр-Об на сумму в 57 500 ливров, а также прекрасный дом, стоивший 25 300 ливров. Таким образом, за две недели он выложил наличными, не пожелав воспользоваться рассрочкой, 82 800 ливров и приобрел около сотни гектаров земли!

Правда, в том же 1791 году вследствие ликвидации Королевских советов была упразднена и должность адвоката при них, причем Дантону возместили большую часть покупательной стоимости должности—69 тысяч ливров. Но это произошло уже в октябре, а последняя покупка была сделана в апреле, то есть почти за полгода до этого. Если учесть одновременную уплату долгов, а к моменту упразднения должности Дантон никому и ничего не был должен, то придется признать, что весной и летом 1791 года он располагал свободными деньгами в сумме свыше 120 тысяч ливров!

Откуда разоряющийся адвокат мог взять такие деньги? Занял? Но кто бы и под залог чего дал вдруг ему такую сумму? И потом покупать на занятые деньги дома и поместья? Как будто полнейшая чепуха. Но тогда...

Удивительное дело: финансовый взлет Дантона *почти совпадает* с его замещением должности советника Департамента, вернее—второе быстро следует за первым.

Современники считали, что свою новую

должность Дантон получил не чистым путем. И в то время и позднее утверждали, что сделано это было с помощью Мирабо.

Мирабо! В который раз молва сближала это имя с именем Дантона!

В один из ранних дней апреля 1790 года перед роскошным отелем Шаро остановилась черная карета без гербов и лакеев. Из кареты вышли двое, закутанные в плащи. Несмотря на то, что оба быстро скрылись в отеле, прохожие одного из них узнали очень хорошо: это был граф де Мерси, австрийский посол в Париже, по слухам, главный участник всех придворных заговоров. Второй также принадлежал к высшей аристократии. Звали его граф Ла Марк.

В это же время к этому же месту, но задворками, через Елисейские поля, двигаясь мелкими перебежками и стараясь, чтобы его никто не заметил, подходил еще один субъект, закутанный в черное. Он был толст и совсем обессилел. По его вискам струился пот, Лицо, которое он тщетно старался спрятать, напоминало маску Вельзе-

вула. Войдя в сад отеля, толстяк, быстро оглядевшись, вынул из кармана ключ. Тихо отомкнув дверь черного хода, крадучись, избегая взглядов прислуги, он пробрался на второй этаж, в кабинет хозяина. Там его уже ожидали.

Человек этот не напрасно скрывался. Он был хорошо, слишком хорошо известен в Париже. Его имя было Оноре Мирабо. . .

Мирабо произвел очень благоприятное впечатление на графа де Мерси. Что же касается Ла Марка, тот знал его очень давно. Именно Ла Марк и рекомендовал Мирабо двору. . .

Измена Мирабо, которую Марат так давно предвидел, началась с января 1790 года. В апреле сделка была окончательно заключена, и великий оратор поступил в полное распоряжение своих хозяев.

Сделку оформили по-царски. Мирабо получал сразу 208 тысяч ливров для уплаты своих долгов. Ему назначалось постоянное секретное жалованье в размере 6 тысяч в месяц. По окончании же сессии Ассамблеи граф Ла Марк должен

был передать ему один миллион. . .

Миллион в перспективе! Мирабо чуть не задохся от радости. «Он обнаружил опьянение счастья,—писал Ла Марк,—и его восторг, признаюсь, несколько удивил меня. . . » Граф, разумеется, был шокирован несдержанностью своего компаньона. Но как тут было сдержаться! Как было не выразить восторг! На один миг великий хищник, как в капле воды, увидел все: роскошные дворцы, кареты, почести, пленительных женщин, власть. . . Все, о чем он годами мечтал, к чему всегда стремился, ради чего был готов продать душу и совесть!..

По условиям договора Мирабо был обязан. . . «помогать королю своими знаниями, силами и красноречием». Он сразу же развил бурную деятельность. С одной стороны, ведя хитрую парламентарную игру в Учредительном собрании, с другой—он начал приводить в движение тайные пружины, которые должны были спутать карты новых правителей и помочь монарху в осуществлении его. планов.

В конце декабря 1790 года Мирабо рекомен-

дует двору организовать специальное бюро тайной полиции и пропаганды. Агенты этого бюро должны будут знать все, что происходит в клубах, оказывать давление на руководителей народных обществ, распространять с помощью продажных журналистов монархические статьи, подкупать депутатов Собрания и других видных деятелей.

Рекомендация была принята. С января 1791 года бюро начало функционировать. Во главе его по совету того же Мирабо был поставлен прежний судья Шатле, член Учредительного собрания, имевший широкие связи у якобинцев, Омер Талон. В марте бюро получило в свое распоряжение огромную сумму денег, одним из распорядителей которых стал министр иностранных дел Монморен.

Машина заработала. Вскоре стали видны первые результаты.

Когда в ноябре 1790 года Жорж Дантон громил министров и добился их ухода, никто не придавал большого значения одной его оговорке: ора-

тор ни словом не упрекнул министра иностранных дел Монморена, напротив—вещь на первый взгляд непонятная—воздал ему хвалу от имени народа. . .

Монморен, как установлено, был одним из главных распорядителей гражданского листа и отпускал средства на политический подкуп.

Случайное совпадение, скажет читатель. Возможно.

В январе Дантон вдруг по непонятной причине оказывается избранным в Департамент—не без протекции Мирабо, как утверждает молва.

Молва, конечно, может и ошибаться. Еще одна случайность. Тоже возможно.

Имя Дантона все чаще мелькает на страницах секретной переписки. Сам Людовик XVI, адресуясь к своему тайному агенту, называет Дантона среди тех «. . . смелых людей, известных честолюбием и склонностью к интриге. . . », на подкуп которых двором затрачены огромные средства.

Король мог быть неосведомленным? Мог, конечно.

Но вот наступает конец случайностям. В од-

ном из писем, подлинность которого неоспорима, между прочим, попадаются слова:

«... Дантон получил вчера тридцать тысяч ливров...»

Автор письма—Мирабо. Письмо написано в крайне непринужденном, интимном тоне. Адресат—Ла Марк. Мирабо жалуется на Дантона. Мирабо считает, что тридцать тысяч Дантону дали зря, так как он не выполняет взятых на себя обязательств.

Письмо заканчивается глубокомысленным заключением:

«... В сущности, большая глупость не быть мошенником в этом низком мире...»

Скажем сразу: это единственная *прямая* улика против Дантона. Но улика убийственная. И главное, при сопоставлении с другими материалами, а таковых великое множество, она их полностью подтверждает и объясняет.

Все это относится к марту 1791 года, то есть времени, когда Дантон делает свои первые земельные приобретения...

По-видимому, весной этого года из королевских фондов черпали очень многие. И вообще брали многие и у многих. Буржуазия, ценившая больше всего на свете деньги, обнаруживала продажность у колыбели своей истории. Король платил щедро, еще щедрее платил герцог Орлеанский, мечтавший о королевском престоле.

— Почему не взять то, что легко дают?— рассуждали скороспелые политики.

Некоторые честно отработывали. Другие— только брали, но делали по-своему. К числу последних причислял себя и Жорж Дантон.

Мирабо думал превратить трибуна кордельеров в своего человека. Он готов был пойти на затраты: платил-то ведь он не из своего кармана! Но Жорж не стал «маленьким Мирабо», предпочитая оставаться «большим Дантоном».

А деньги, полагал он, не имеют запаха...

В марте—апреле он вновь переходит в атаку. Как бы стыдясь своего тайного падения, он с особенной яростью выступает против двора и агентов исполнительной власти. Он рычит и у корде-

льеров и в Якобинском клубе. Обрушившись на одного члена клуба, который скрыл, что назначен правительством на государственную должность, Дантон заявляет, что поддерживать подобного предателя могут только рабы!

Он требует созыва нового, Законодательного собрания, он громко спорит с теми, кто считает, что революция уже сделала свое дело.

— По-видимому,—заявляет он,—придется восполнить революцию!..

Парижане снова—в который раз!—не могут прийти в себя от удивления. Не без иронии они распевают:

Господин Дантон,
Оставьте ваш грозный вид!
Господин Дантон,
Вас могут принять за демона,
Сбавьте тон!..

Но он не сбавляет тона. Он разрушает все планы двора. Когда 18 апреля король в качестве генеральной репетиции своего будущего побега

хочет удалиться в Сен-Клу, Дантон—среди тех, кто не дает ему этого сделать.

Вот почему Мирабо так печалится в своих письмах, вот отчего он считает, что деньги, переданные Дантону, брошены на ветер.

Впрочем, до событий 18 апреля Мирабо не дожил. Он так и не дождался своего миллиона. Он сгорел в пламени дневных забот и растаял в вихре ночных наслаждений. 3 апреля, после очередной оргии, он испустил дух. Его оплакали, как великого революционера. В то время народ ничего не знал о его предательстве.

Хоронил Мирабо и Жорж Дантон. Что он при этом думал, никому не известно. Во всяком случае, он не собирался идти тем же путем. Когда однажды Лафайет упрекнул Дантона в том, что его будто бы купили за восемьдесят тысяч ливров, трибун гордо ответил:

– Такому человеку, как я, охотно дают восемьдесят тысяч. Но купить за восемьдесят тысяч человека, подобного мне, невозможно!

В этом ключ к его поведению.

Одна характерная деталь: речь идет о вось-

мидесяти тысячах. Именно столько Дантон затратил в марте—апреле на покупку своих поместий...

Исследователи много спорили о продажности Дантона. Одни лезли вон из кожи, чтобы его обелить и доказать его неподкупность. Другие, напротив, превращали его в продажную шкуру, политическую проститутку, торговавшую своими взглядами, а в равной мере и революцией.

По-видимому, и те и другие преувеличивали. Дантон не был чист и безгрешен—документы его изобличают. Но Дантон не был и примитивно продажен. Он брал там, где мог взять, и делал то, что считал нужным делать. В большинстве случаев его житейская нечистоплотность не вела к *прямому* предательству.

В большинстве случаев...

И все же в конечном итоге прав был тот историк⁸, который, характеризуя Дантона, сказал:

«... Нет двух понятий о честности, честности личной, которую ни во что не ставят, и честности

⁸[8] А. Матъез.

общественной, которая единственно якобы необходима; есть только одна честность. . . »

Да, есть только одна честность. Ее Дантон потерял, причем потерял задолго до того, как начал брать деньги.

Продажность Дантона была плоть от плоти его извечного соглашательства: утратив принципиальность в борьбе, став на путь поправок своей слабости, мог ли он отказаться от золота, то есть материальных благ, которыми он так дорожил и за которые—утешал он себя—ему ничего или *почти* ничего не придется менять в своем политическом курсе?..

Но если великий трибун, слишком любивший широкую жизнь, считал, что деньги не имеют запаха, то он ошибался. Деньги, которые он брал, были столь зловонны, что он никогда, ни до смерти, ни после нее, не смог отмыть своих рук. И этого не смогли сделать поколения его апологистов.

Ни короля, ни закона, ни нации. . .

Следующим летом та видимость динамического равновесия, на создание которой «люди восемьдесят девятого года» затратили столько сил, развеялась в прах.

Формула «нация, закон, король» не выдержала испытания временем. Вавилонская башня «закона» во главе с пресловутой конституцией, строившаяся два с лишним года, развалилась менее чем за месяц.

Для полного раскола «нации», то есть бывшего третьего сословия, оказалось достаточным одного дня.

А конституционный «король» как раз и заварил всю кашу: он вдруг вопреки нескончаемым приманиваниям и побрякам со стороны «при-

ручавшей» его буржуазии пожелал исчезнуть.

Двадцатого июня заседание якобинцев окончилось поздно. Дантон, выступавший последним, спустился с трибуны в одиннадцать часов. Он был, доволен своей речью: только что он крепко отделал Сиейса и Лафайета; он выявил махинации заговорщиков и предостерег якобинцев.

— Хотя ваши враги,—заклучил он,—поскольку их измена уже открыта, наполовину низвергнуты, не предавайтесь дремоте, остерегайтесь кажущейся безопасности!..

Жорж вышел из клуба вместе с Демуленом, Фрероном и еще несколькими соратниками. Все они, громко разговаривая, направились через Тюильри к Королевскому мосту. Ночь была очень теплой и очень темной: несмотря на полнолуние, тучи заволокли все небо. Пять освещенных окон дворца на фоне этой тьмы казались настоящей иллюминацией. Глядя на свет, друзья вспомнили, что именно на сегодня предсказано бегство короля: сам Марат писал об этом в своей газете!

Фрерон рассмеялся. Какая нелепица! После апрельского-то конфуза! Париж хорошо охраняется. Вот, видите, идет патруль. А вот в ворота дворца нырнул человек; кажется, это сам мосье Лафайет, который оберегает августейшее семейство. . .

Дантон мурлыкал себе под нос последнюю фразу своей речи:

«Не предавайтесь дремоте, остерегайтесь кажущейся безопасности. . . »

Маленькая группа, мирно беседуя, покинула Тюильрийский парк, пересекла Сену и последовала дальше, вдоль набережной Вольтера и улицы Мазарини. Париж спал. На углу улиц Фоссе-Сен-Жермен и Кордельеров Дантон распрощался со своими спутниками и также отправился спать.

В это время из Тюильрийского дворца вышли, крадучись, несколько человек. В одном из них, как он ни драпировался в свой серый плащ, легко можно было узнать короля. На углу улицы Эшель их ждал экипаж.

Щелкнул бич. Лошади тронулись. Варенн-

ский кризис начался.

Двадцать первого июня, в половине десятого утра, три пушечных выстрела и набатный звон на башне Ратуши известили столицу о происшедшем.

Но Париж уже все знал. С семи часов парижане были на ногах. С удивлением и гневом люди обсуждали новость. Гревская площадь, Пале-Рояль, набережные и Тюильрийский парк были похожи на живое море. Секции и клубы объявили свои заседания непрерывными. Народ проник во дворец. Портрет короля был сброшен, а личные вещи Марии Антуанетты топтали ногами. О беглецах никто не жалел. Кто-то высказал предложение: если короля схватят и привезут обратно, выставить его дня на три на публичное посмешище, а затем выдворить за границу. Предложению аплодировали.

Так измена монарха рассеивала монархические иллюзии народа.

Дантон чувствовал себя возбужденным. Он снова и снова вспоминал вчерашний вечер. Ма-

рат оказался пророком! Но как, как могли проглядеть эти холуи? Повсюду гвардейцы, у каждой двери дворца – караулы, Лафайет вертится в королевских апартаментах днем и ночью... Чудес, как известно, не бывает. Вот и получается, что он, Жорж, был совершенно прав: все они изменники и предатели.

Ассамблея, собравшаяся в крайней спешке, срочно затребовала Департамент. Советники Департамента, сопровождаемые эскортом гвардейцев, направились в Собрание. В Тюильрийском саду их окружила толпа. Дантон обратил внимание на одного энергичного простолюдина, который поносил Лафайета и обвинял его в предательстве.

– Он должен ответить за бегство короля!— кричал неизвестный оратор. К немалому возмущению своих коллег, Дантон его тут же поддержал.

– Вы правы!—воскликнул он, обращаясь к толпе.—Ваши вожди—предатели и обманывают вас!

Тогда поднялась буря. Все устремились к три-

буну. Отовсюду слышались возгласы:

– Да здравствует Дантон! Слава Дантону!..

Учредительное собрание было встревожено. Бегство Людовика XVI застало его врасплох. Все планы рушились. Растерянные законодатели срочно принимали «временные меры» с целью успокоить народ. В разгар прений прибыл запечатанный пакет на имя председателя Ассамблеи. В пакете оказался... манифест бежавшего короля!

Считая себя в полной безопасности, Людовик сбрасывал маску. Он показал истинную цену своим прежним прочувствованным речам. Тонем безусловного повелителя он отчитывал депутатов, которых называл «бунтовщиками», и заявлял, что вернется во Францию, «... когда наша святая церковь будет уважаться, а управление—покоиться на твердой основе...».

Законодатели проглотили пиллюлю. Перед лицом возможного восстания они думали, только об одном: как бы закрепить свои позиции и не дать слишком большого простора натиску слева. Предчувствуя, что им еще вдоволь придется по-

лебезить перед предавшим их монархом, вожаки Ассамблеи постарались вопреки всему сделать вид, что король покинул Париж «против своей воли», что он «похищен»... Этой идеей и было проникнуто официальное заявление, опубликованное в печати.

Вечером собрались якобинцы. Речь Робеспьера, в которой он обвинял власти и своих товарищей—депутатов, а также предостерегал народ от излишней доверчивости, была встречена с энтузиазмом. В клубе, правда, еще не было умеренных; но вот они появились—Ле Шапелле, Лафайет и весь «лепрозорий восемьдесят девятого года», как их ехидно величал Демулен. Жорж Дантон, казалось, только и ждал этого момента. Он как лев бросился на трибуну. Используя ситуацию, он решил на одном сконцентрировать все то, что Робеспьер говорил о многих. Вперив свой мрачный взор в Лафайета, он начал его распинать. Он припомнил «герою двух частей света» все его политическое прошлое с начала революции. Но главный огонь был сосре-

доточен на настоящем.

— Вы, мосье Лафайет,—сардонически изрекал Дантон,—вы, который еще так недавно грозились ответить головой за особу короля, платите ли вы нам свой долг? Вы клялись, что король не уедет. Выходит одно из двух: или вы предаете родину, или глупы настолько, что не можете отвечать за свои слова. В самом лучшем для вас случае вы обнаруживаете полную неспособность нами руководить... Желаете быть по-настоящему великим? Тогда уходите, превратитесь в просто-го гражданина: Франция может стать свободной только без вас!..

Что мог ответить на эту филиппику струхнувший генерал? Он и без того был убит всем происшедшим. Корежась под пристальным взглядом Дантона, он пробормотал несколько фраз и покинул клуб.

И все же Дантону не удалось добить его ни этой речью, ни ей подобной, произнесенной на следующий день. За Лафайетом стояли слишком сильные люди. Барнав и Александр Ламет—с последним Жорж был в довольно близких

отношениях—постарались выгородить прежнего маркиза и сгладить впечатление от слов Дантона.

Злые языки уверяли даже, что через несколько дней Дантон и Лафайет встретились в весьма интимной обстановке за чашкой шоколада. . .

Зачитывались адреса из разных концов Франции, в которых люди требовали официального низложения Людовика XVI. На следующий день волнение в столице продолжалось. Клуб кордельеров отпечатал и распространил афишу, призывавшую навсегда забыть имя короля, а Францию—провозгласить республикой. Республиканцами объявили себя журналисты Демулен и Бриссо, видный философ Кондорсе и многие другие лица, известные в Париже. Вслед за кордельерами орган Социального кружка—газета «Железные уста» писала:

«. . . Не нужно больше ни королей, ни диктаторов, ни императоров, ни протекторов, ни регентов! Наш враг—это наш повелитель!..»

Вожди демократии не разделяли этих настро-

ений. Марат считал, что в связи со сложной внутренней обстановкой необходима военная диктатура, причем возможным кандидатом в диктаторы называл Дантона. Робеспьер нервничал и колебался. Его, как и Марата, пугали замыслы крупной буржуазии. Он опасался, что, если немедленно провозгласить республику, эта республика станет олигархией.

А Дантон? У Дантона были свои планы, которых он пока никому не высказывал. Но и он в эти дни не помышлял о республике.

Его величество слишком поторопился со своим манифестом: затея не удалась.

Беглецов остановили вечером 21 июня в городке Варенне, совсем неподалеку от цели их путешествия. Не Лафайет, не Байи и не активные граждане, одетые в гвардейские мундиры, проявили революционную бдительность. Простой человек, почтовый чиновник Друэ, узнал короля и забил тревогу; простой народ окрестных городишек и деревень, вооруженный чем попало, преградил путь монаршей карете, задержал пре-

дателей и заставил их повернуть обратно.

В Париже новость стала известна ровно через сутки. Трепещущая Ассамблея отправила для встречи задержанных трех комиссаров. В числе них был Барнав.

Антуан Барнав, считавшийся одним из самых видных лидеров Собрания, давно уже не был вожаком левых. Его либеральная окраска сильно потускнела. Он разочаровался в революции и готовился занять место, ставшее вакантным после смерти Мирабо.

Поездка в королевской карете, где он сидел рядом с обворожительной Марией Антуанеттой, задавшейся целью пленить молодого депутата, оказалась для Барнава роковой. Он принял окончательное решение и стал преданным советником трона.

Столица ожидала короля в напряженном молчании.

Что будет дальше?.. Этот вопрос в равной мере стоял и перед поникшим двором, и перед Учредительным собранием, и перед народом.

Дантон понял, что терять времени нельзя.

Двадцать третьего июня он снова выступает в Якобинском клубе и пытается сделать свою речь программной.

– Человек, называемый королем Франции, поклялся охранять конституцию и после этого бежал; я с удивлением слышу, что он еще не лишен короны!..

Начало было эффектным. Дальше оратор стал обыгрывать ту же альтернативу, которую недавно применял к Лафайету.

– Этот человек написал, что будет изыскивать средства для уничтожения конституции,—все вы слышали его манифест. Если он не откажется от своих слов, значит он преступник; в противном случае мы имеем дело со слабоумным. Перед лицом всего мира мы предпочтем признать последнее. Но человек, носивший королевский титул, не может оставаться королем с того момента, как его признали слабоумным, и нам, следовательно, необходим сейчас не регент, но опекунский совет!..

Мысль Дантона раскрывалась с убеждающей

последовательностью. К чему же клонил он? Что из себя должен был представлять «опекунский совет»? Оратор отвергал возможность его составления из членов Ассамблеи. Речь шла о другом. . .

В июне 1791 года герцог Филипп Орлеанский возглавлял очень сильную партию, объединявшую либеральных буржуа, недовольных как Старым порядком, так и властью умеренных конституционалистов. Для этих политиков фигура слабавольного и щедрого принца, имевшего престиж самого близкого родственника традиционной династии и вместе с тем готового на все уступки собственникам новой формации, представлялась почти идеальной. С начала Вареннского кризиса они, естественно, зашевелились. Особенную энергию проявлял член Якобинского клуба писатель Шодерло де Лакло, известный обществу своим нашумевшим романом «Опасные связи». Лакло—это ни для кого не было тайной—состоял на жаловании у герцога Орлеанского. И вот подобный человек вдруг сближается с Данто-

ном. Характерно, что на заседании якобинцев 23 июня—заседании, на котором, кстати говоря, герцог Орлеанский присутствовал лично,—первым выступил Лакло, и именно он поставил вопрос, вызвавший речь Дантона. Был ли Дантон, в свою очередь, как считали многие, платным агентом принца-либерала? Это неизвестно. Да это и не столь существенно. В моральном облике Дантона новая сделка ничего бы не изменила. Существенно другое: орлеанизм был близок трибуну кордельеров, ибо орлеанизм отвечал всем его поводам и стремлениям. Для него герцог Филипп был в тысячу раз ближе, чем Лафайет, в особенности еще и потому, что герцог был смертельным врагом Лафайета.

Выступление 23 июня открыло новую страницу в политической жизни Дантона. Всячески продвигая Филиппа Орлеанского, сначала в качестве главы «опекунского совета», затем регента, а потом, быть может, и короля, Жорж решительно порывал со своим двусмысленным прошлым и становился во главе тех кругов новых собственников, которые надеялись, свергнув кли-

ку Лафайета—Байи, утвердиться у власти.

Хотя Учредительное собрание и приставило к возвращенной королевской семье двойную стражу, про себя оно давно уже решило вопрос о будущем Франции в положительном для Людовика XVI смысле. Не то чтобы «люди восемьдесят девятого года» слишком уж благоговели перед скомпрометировавшим себя монархом. Они не стали бы за него держаться, если бы видели подходящую замену и если бы считали, что такую замену произвести можно быстро и безболезненно. Но, во-первых, единственный возможный претендент—герцог Орлеанский—устраивал их еще меньше, чем Людовик, а во-вторых, они как огня боялись всяких перемен, которые могли бы попутно содействовать революционному взрыву. Поэтому все семь комиссий, выделенные Ассамблеей для решения королевского дела, пришли к единому выводу, давно уже подсказанному Собранием: король ни в чем не виновен, к ответственности следует привлечь только его «похитителей».

Это решение было доложено Ассамблее Антуаном Барнавом, причем в таких словах, которые не могли не вызвать бурных аплодисментов со стороны лидеров крупной буржуазии.

— Нам причиняют огромное зло,—сказал Барнав,—когда продолжают до бесконечности революционное движение. Революция не может сделать больше ни шага, не подвергаясь опасности. Если на пути свободы первым действием станет упразднение королевской власти, то на пути равенства последует покушение на собственность... В настоящий момент, господа, все должны чувствовать, что общий интерес заключается в том, чтобы революция *остановилась*...

Итак, восстановить короля на троне значило остановить революцию, а остановить революцию для крупных собственников было делом жизни...

Трудно было лучше выразить мысль, чем это сделал Барнав.

Решение Ассамблеи, хотя оно еще и не превратилось в декрет, вызвало всеобщее негодо-

вание. Париж демонстративно оделся в траур. Его поддержали все 83 департамента. Вечером по требованию народа все зрелища были запрещены. Клубы, переполненные до отказа, заседали бурно. Кордельеры объявили Барнава изменником. Якобинцы изыскивали средства, могущие парализовать решение комиссий.

Лакло тотчас же предложил подать в Ассамблею петицию, подписанную гражданами столицы.

Дантон горячо поддержал это предложение.

— Я,—заявил он,—люблю мир, но не мир рабов. Если у нас есть энергия—докажем ее. Аристократы Национального собрания ясно показали, что не желают конституции, так как они нарушили ее. . .

Почему же в таком случае нас могут считать виновными за то, что мы посмели высказать свое суждение открыто и энергично?..

В этих словах, сколь ни были они громоподобны, уже чувствовалась боязнь, боязнь, что его сочтут виновным. . .

Сейчас Дантон был популярен, как никогда. Ему забыли все его прежние вилянья. Его захваливали прогрессивные журналисты. На него смотрели как на оракула. Секция Французского театра выдвинула его выборщиком в будущее Законодательное собрание. Если раньше Дантона боготворил демократический Париж, то теперь его знала вся Франция: в провинциальных адресах его имя ставилось рядом с именем Робеспьера!

Но все это не радовало Жоржа, не радовало потому, что он чувствовал: на данном этапе его игра опять проиграна.

Он видел и понимал, что крупные собственники, растерявшись на какой-то момент, собираются с силами. И они не пожелают компромисса с ним, с Дантоном, как не пожелали в прежнее время. Они не хотят Орлеанской династии, ибо чувствуют, что за ней кроется. Они готовят удар: поглядите, как разгуливает подбоченясь этот наглый Мотье, который так трепетал всего лишь несколько дней назад! Чутье подсказывало Дантону: на этот раз они не остановят-

ся ни перед чем, даже перед кровопролитием! Нет, он, Жорж, совсем не годился в диктаторы— в этом случае провидец Марат допустил ошибку. Сейчас он продолжал свое дело, но уже без всякого подъема. Он ничего не ждал от пресловутой петиции. В перспективе он видел только кровь, которой ему, Дантону, вовсе не хотелось терять ни за какие дела или идеи. . .

В разгар прений Якобинский клуб осадила толпа. Около четырехсот человек пришли сюда из Пале-Рояля. Оратор депутации заявил, что народ принял решение завтра, 16 июля, отправиться на Марсово поле, чтобы «. . . дать клятву никогда не признавать Людовика XVI как короля. . .». Председатель заверил, что члены клуба будут вместе с народом.

Тут же были избраны комиссары—Лакло, Дантон и Бриссо,—которым и поручили составление текста петиции.

Дантон от этого поручения сразу отказался. Лакло также, сославшись на головную боль, доверил все дело Бриссо. Однако, уходя из клуба,

он заявил журналисту, что, полностью на него полагаясь, требует только одного: говоря о низложении Людовика, необходимо пожелать, чтобы тот был замещен *«конституционными средствами»*.

Это была очень важная оговорка. Замещение *«конституционными средствами»* означало регентство, а регентом мог стать только Филипп Орлеанский. . .

Бриссо согласился и сел за работу. Вскоре петиция была готова. Она выглядела очень внушительно, но главная ее статья читалась так:

«. . . Французы требуют формально и категорически, чтобы Национальное собрание, именем нации, приняло отречение, заявленное Людовиком XVI двадцать первого июня, и озаботилось заместить его всеми конституционными средствами. . . »

Утром 16 июля Марсово поле было полно народом. Люди, вставшие чуть свет, пренебрегли всеми делами, чтобы прийти сюда.

Ждали комиссаров Якобинского клуба.

Вон они появились.

Впереди шествовал Дантон.

Мрачный, но спокойный поднялся он на алтарь. Его фигура атлета резко выделялась на фоне неба. Он простер руку, в которой был сжат текст петиции

Толпа восторженно кричала.

Трибун начал читать. Его голос неудержимым вихрем проносился над полем. Каждое слово звучало отчетливо и веско.

Все затаив дыхание слушали.

Это была величественная и строгая картина.

Но вот оратор дошел до слов «конституционными средствами», и вдруг начался шум. Сначала тихий, он все нарастал, превращался в гул, в громкий вопль и, наконец, стал заглушать голос чтеца. . .

Величественная картина нарушилась.

Толпа разгадала нехитрую игру авторов петиции.

Дантон кончил чтение и спустился с алтаря.

Все кричали и что-то доказывали друг другу. На атлета никто не обращал больше внимания. . .

По настоянию народа одиозная фраза была вычеркнута. Замыслы орлеанистов расстраивали не только господа из Ассамблеи—их не могли и не желали допустить простые люди столицы.

Дантон ко всему охладел. Его не интересовали дальнейшие споры в Якобинском клубе. Как сквозь сон, слышал он дребезжащий голос Лакло, который доказывал, что без вычеркнутой фразы петиция теряет смысл...

Что они порешили?.. Печатать петицию не будут?.. Ее взяли из типографии?.. Тем лучше. Впрочем, ему теперь все равно. Он сделал, что мог, и ничего не добился. Пусть поступают, как хотят. Надо подумать о собственной шкуре, ибо еще день-два, и она начнет, без сомнения, трещать по всем швам...

Учредительное собрание приняло декрет, который полностью реабилитировал короля и восстанавливал его на престоле. Прения завершились. Теперь любой адрес, любая петиция, направленные против Людовика XVI, превращались в антиправительственный, *мятежный* акт.

Законодатели решили разом покончить с надоевшими до смерти протестами и демонстрациями. Если народ до сих пор не понял, где его место, что ж, ему покажут, и покажут с подобающей случаю строгостью. Ведь у них есть в запасе *военный закон*, который, хотя и принят давно, еще не потерял своей силы. Чего же ждет Ратуша? Где ее прежний боевой задор? Придется напомнить господину Байи, что его основная обязанность—следить за общественным порядком. . . .

Ожидают, что завтра народ снова соберется на Марсовом поле, чтобы подписывать свою петицию. Прекрасно! Вот здесь-то державная Ассамблея и проявит всю мощь и твердость своей руки. И пусть обнаглевшая голытьба надолго запомнит этот день, 17 июля. . . .

Семнадцатого июля в десять часов утра Жорж Дантон беседовал у себя на квартире с друзьями.

Вчера Якобинский клуб изъясил нашумевшую петицию. Но народ ничего не знает об этом.

Народ соберется, как было договорено, чтобы ее подписать. Тогда может произойти разное. Скверно. Нужно немедленно на что-то решиться. . .

Раздался звонок. Вошел Сержан, председатель секции Французского театра. Сержан был взволнован. Он рассказал, что час назад на Марсовом поле толпа учинила самосуд над двумя шпионами.

Дантон раньше, чем другие, понял всю глубину опасности. Он крикнул и почесал в затылке. Дела оборачивались совсем неважно. Повод для провокации уже налицо!..

Час уходил за часом. Нужно было на что-то решиться, но никто не произнес решающего слова. Все ждали, затаившись, как мыши в мышеловке. Никто не желал сознаться, о чем он думал. . .

За полдень прибежал Лежандр. Он был крашен и задыхался. По его лицу было ясно, что все идет из рук вон плохо. . .

Когда народ узнал, что якобинцы взяли назад свою петицию, было решено тут же на месте написать другую, более недвусмысленную и энер-

гичную. Среди собравшихся оказались кордельеры: Шомет, Эбер, Анрио и другие. Петицию составили прямо на Алтаре отечества и начали собирать подписи. Уже подписали несколько тысяч человек. . .

Лежандр снизил голос до шепота. . .

Он видел кое-кого из окружения Ламетов. Его предупредили, что над Парижем нависла гроза. Хотя права петиций никто и не отменял, хотя толпа ведет себя мирно и ни о чем не подозревает, председатель Собрания Александр Ламет потребовал от Байи немедленного применения военного закона. И закон будет применен. . .

Лежандр перевел дух. . .

Александр Ламет из дружеской привязанности к Дантону советует ему, а также его ближайшим единомышленникам Демулену, Фрерону и самому Лежандру немедленно покинуть столицу. . .

Четыре друга тихо удирали из Парижа. Пробирались задворками и мелкими улочками, нагнув шляпы на глаза и спрятав в воротники

уши. Трое достигли заставы без приключений; четвертого—Фрерона—едва не задержали на Новом мосту.

Они спешили в Фонтенуа, самое близкое из безопасных мест, какое им было известно.

К вечеру беглецы уже восседали за столом у хлебосольного папаши Шарпантье. Ужин был, правда, не очень веселый. У всех на душе скребли кошки.

Поздно вечером через случайного путника стало известно, что в Париже пролилась кровь. . .

В то время как люди подписывали петицию, Байи и Лафайет перекрыли войсками все выходы с Марсова поля. Стрелять начали без предупреждения. Сколько убитых? Этого никто точно не знает. Кто говорит—двести, а кто—две тысячи. На обратном пути гвардейцы чуть не разгромили здание Якобинского клуба. . .

Самым совестливым из четырех оказался Демулен. Его республиканское сердце не выдержало. Будь что будет! Он распрощался с друзьями и, невзирая на их уговоры и позднее время, по-

плелся искать обратную дорогу в Париж.

Ночь у оставшихся была не сладкой. Под окнами кричали и ругались: кто-то указал на ферму Шарпантье как на место, приютившее подозрительных субъектов, быть может шпионов.

Рано утром, воспользовавшись минутой затишья, трое покинули гостеприимную ферму. У околицы они расстались: каждый пошел своим путем.

Путь Дантона лежал в родную Шампань. Он двинул прямо в Арси-сюр-Об, в свои новые владения, которых до сих пор не успел еще как следует рассмотреть.

Здесь он провел пару недель, живя тихой жизнью.

Когда в Арси стало небезопасно—о его местопребывании, конечно, узнали,—Жорж махнул в Труа, а затем, воспользовавшись оказией, уехал в Англию. Это произошло в августе.

О его пребывании в Англии никаких сведений не сохранились.

Бойня на Марсовом поле, как и следовало

ожидать, была лишь первым актом наступления реакции.

Уже накануне умеренные поспешили отмежеваться от демократов: все «люди восемьдесят девятого года» во главе с Барнавом и Александром Ламетом покинули Якобинский клуб и основали собственное общество—Клуб фельянов. 17 июля окончательно закрепило новый водораздел.

На следующее утро Байи с трибуны Ассамблеи громогласно заявил:

– Совершенно было преступление, и был приведен в действие закон. Смеем уверить вас, что это оказалось необходимым. . . Мятежники провоцировали силу; на их головы пала кара за их преступления. . .

Ложь была встречена аплодисментами. Президент Собрания поздравил мэра, а Барнав распространился о верности и храбрости национальной гвардии.

Затем последовали кары.

Газеты прогрессивных журналистов—Марата, Бриссо, Демулена—были разгромлены и запрещены. Более двухсот человек подверглись аре-

стам.

Оформили новый ордер и на арест Дантона.

Однако с задержанием трибуна почему-то не спешили. Хотя правительственные агенты разнюхали, где он проживает, и делали насчет его запросы в Париж, верховные власти не торопились с ответом.

По-видимому, благорасположение Ламета продолжало делать свое дело.

Итак, новый период в политической жизни Дантона закончился новым кризисом. Причем кризис этот был много более тяжелым и затяжным, чем после дела Марата. Беглец и изгнанник, потерявший должность, не сумевший столковаться с властью имущими и обманувший доверившихся ему людей,—так должен был выглядеть Жорж Дантон перед всяким сторонним наблюдателем.

Но сам он думал иначе. Он не считал, что есть основания для хандры или угрызений совести.

Конечно, все получилось не так, как он хотел.

Но он стал много опытнее. Он лучше научился понимать интригу и более четко осмыслил свое поведение на будущее. Он твердо усвоил, что с верхами он не столкнется, что те никогда не примут его в свою среду. Значит, по-прежнему надо ориентироваться на народ. Но, с другой стороны, он разглядел и слабое место, «сильных мира сего»: их можно было морочить и с них же тянуть деньги!.. Одним словом, он укрепился в мысли о том, что главное в политике—*игра*, игра, как на бирже или за зеленым сукном: кто ловче и умнее ведет свою партию и кому, сверх того, везет, тот выигрывает; но и от проигрыша не стоит приходить в уныние, ибо всегда есть следующая партия, где можно отыгаться.

А главное, он стал ведь богатым человеком! Теперь он располагает солидной недвижимостью, и никто не может ее отнять: правительства приходят и уходят, а собственность остается и приумножается.

Так полагал Дантон, и эти мысли убаюкивали его в дни изгнания.

В это же время другой деятель, соратник Дантона по клубу, собирал разгромленные силы демократов, чтобы продолжать борьбу.

Он имел смелость сказать на одном из следующих заседаний Ассамблеи:

– Нам предстоит впасть в прежнее рабство или снова браться за оружие!..

Деятель этот стал постоянным оратором и подлинным вождем якобинцев.

Он не юлил между политическими группировками, не страшился репрессий и не дорожил благами жизни: справедливый глас народа прозвал его Неподкупным.

А когда Учредительное собрание закончило свои труды, народ поднес своему любимому депутату гражданский венок и с пением патристических песен провожал его до дверей его жилища.

Этот человек смело смотрел в будущее. Он видел впереди не деньги и поместья, но равенство и добродетель освобожденных граждан.

Звали его Максимилиан Робеспьер.

События 17 июля были не только вехой в жизни Дантона. Они сделались важным рубежом в ходе революции.

В этот день буржуазия не просто расстреляла безоружную толпу. Она убила веру в себя, в свою Ассамблею, в свою конституцию.

Ее победа оказалась пирровой победой.

Раскол бывшего третьего сословия завершился.

До бойни на Марсовом поле народ сомневался в новых правителях, но был готов оказать им помощь против насилия со стороны старого режима.

Теперь в глазах народа король, Байи, Лафайет или Барнав стоили друг друга: это были враги, враги ненавистные, смертельные, пролившие народную кровь, враги, мир с которыми стал невозможным.

Кровь Марсова поля осталась вечной памятью и укором для сыновей, братьев и отцов погибших.

И борьба отныне должна была продолжаться до тех пор, пока эта кровь не оказалась бы

отмщенной.

5.
НА ФОНАРИ
АРИСТОКРАТОВ!
(СЕНТЯБРЬ 1791—АВГУСТ
1792)

Я буду защищать конституцию

К этой речи Жорж Дантон готовился особенно тщательно.

Он, всегда говоривший экспромтом, вдруг вооружился пером, причем взвешивал каждую фразу, каждое слово.

Слишком многое было брошено на чашу весов.

После событий 17 июля его политической карьере, казалось, пришел конец. Всякий благоразумный буржуа на его месте, пожалуй, предпочел бы успокоиться, затихнуть и уйти в свои частные дела.

Но кипучая натура Жоржа не могла примириться с подобным исходом. Из своего далека он жадно прислушивался к тому, что происходило в

Париже. И как только горизонт начал чуть-чуть проясняться, он снова ринулся в гущу событий.

Двенадцатого сентября он появился в столице и занял свое место среди выборщиков секции Французского театра. Забыл ли он об ордере на арест? По-видимому, опальный политик не слишком его страшился. Он знал, что делает: через два дня правительство опубликовало декрет об общей амнистии. . .

Правда, в Законодательное собрание Дантона все же не выбрали. «Активные» остались верны себе. Но он с яростным удовлетворением видел, как один за другим низвергались его враги. Первым подал в отставку Лафайет: после 17 июля его положение стало безнадежно двусмысленным, и гордый генерал предпочел временно удалиться в свое поместье. За Лафайетом последовал и Байи. Парижане не очень тосковали об его уходе. На место мэра был избран бывший депутат Учредительного собрания Жером Петитон, соратник Робеспьера.

Дантон по-прежнему делал ставку на Ратушу. На выборах прокурора Коммуны он провалился,

но должность эту занял Пьер Манюэль, якобинец и демократ. 6 декабря Жорж стал его вторым заместителем, что было тоже не так уж плохо. Теперь верхушка парижского муниципалитета оказалась представленной тремя левыми: Петион, Манюэль и Дантон принадлежали к одному лагерю.

Это был тяжелый удар для крупных собственников—фельянов, удар тем более ощутимый, что и в Законодательном собрании их позиции выглядели не столь прочными, как в прежней Ассамблее.

Но, разумеется, «люди восемьдесят девятого года» об отступлении не помышляли.

Это значило, что борьба вскоре вспыхнет с новой силой.

И поэтому Жорж Дантон спешил взять быка за рога.

Используя благоприятную ситуацию, он хотел обелить себя от всяких подозрений и справа и слева, успокоить правительство, умаслить фельянов, привлечь якобинцев и воодушевить народ.

Можно ли было разом достичь столь противоположных целей?

Дантон полагал, что можно.

Именно поэтому он и вложил столько труда в свою речь, которую собирался произнести в Ратуше 20 декабря 1791 года, в день своего вступления в новую должность.

Прежде всего оратор представил слушателям свою подробную защиту.

Его обвиняли в том, что он получал какие-то сомнительные субсидии? В том, что он купил свое благосостояние чуть ли не на иностранные деньги? Какая нелепица! Весь этот вздор, уже неоднократно опровергавшийся, рассеивается в прах его революционным прошлым. И если он сумел кое-что приобрести, то лишь благодаря своей энергии и на средства, которые заработал трудом или вернул от государства при ликвидации адвокатской должности!..

Давая свою характеристику, Дантон не поспешил на краски:

– Природа наделила меня атлетическими

формами и лицом, суровым, как свобода. Я имел счастье родиться не в среде привилегированных и этим спас себя от вырождения. Я сохранил всю свою природную силу, создал сам свое общественное положение, не переставая при этом доказывать как в частной жизни, так и в избранной мною профессии, что я умело соединяю хладнокровие и разум с душевным жаром и твердостью характера!..

После такого не слишком скромного, но весьма веского вступления Дантон обращается к благонамеренным буржуа. Он знает, что те до смерти напуганы республиканским и демократическим движением прошедшего лета. И он знает, как их успокоить.

Он, Жорж Дантон, всегда боролся за *легальность*, он никогда не отступал от буквы и духа закона. Его хотят наделить репутацией беспокойного человека? Это недоразумение. Разве он принимал какое-либо участие в деле с пресловутой петицией? Разве он был на Марсовом поле 17 июля? Нет, все знают, что он неизменно стоял на страже порядка.

— Я выбран для поддержания конституции,— поясняет Дантон,— и должен следить за исполнением законов. . . Я сдержу свои клятвы, исполню свои обязанности, всеми силами поддерживая конституцию, *только конституцию*, потому что это значит в одно и то же время защищать равенство, свободу и народ. . .

Оратор готов даже объяснить в любви Людовику XVI, ибо, поскольку король предан конституции, долг каждого патриота быть преданным королю!..

— Итак, господа,— заключает он эту часть своей речи,— я должен повторить, каковы бы ни были мои личные взгляды на людей и на события во время пересмотра конституции, теперь, когда она подтверждена присягой, я определенно выскажусь за смерть того, кто первый осмелится святотатственно поднять на нее руку, будь это даже мой друг, мой брат, мой собственный сын. . .

Кажется, дальше некуда. Монархическая лояльность декларирована и доказана. Собственники и робкие могут ни о чем более не беспокоиться.

Но тут оратор вдруг вспоминает о революционном народе, о боготворящих его плебейских массах, на которые—он знает это—ему неоднократно придется опираться в будущем и поддержки со стороны которых он ни за что не хочет терять.

И он, буржуа, внезапно обращается к санкюлотам.

— Я посвятил,—прочувствованно заявляет он,— всю свою жизнь народу, который больше не будет подвергаться нападениям, которому больше нельзя будет безнаказанно изменять и который скоро очистит землю *от всех тиранов*, если они пойдут по тому пути, по которому шли до сих пор. Я готов погибнуть, защищая дело народа, если это будет нужно. Ему одному принадлежат мои последние желания, он один заслуживает их. Его ум вывел его из жалкого ничтожества, его ум и мужество дадут ему вечность!..

В этой речи—весь Дантон. И если бы он за всю свою жизнь не произнес больше ни слова, то сказанного достаточно, чтобы определить его

символ веры.

Речь 20 декабря вызвала значительное возбуждение в Париже. Ее приветствовали, ей аплодировали, о ней и об ее авторе писали в газетах. Многие осторожные политики все отчетливее начинали понимать, что они действительно напрасно боялись этого «бешеного», ибо он вовсе не «бешеный», а всего-навсего искатель золотой середины, того промежуточного статуса, при котором и волки бывают сыты и овцы остаются целы. А что касается до его диких выходов и трескучих фраз, то все это, в сущности, не так уж и страшно...

Бриссо или Робеспьер?

В новой должности Дантон проявлял себя слабо. Его шеф Манюэль, человек весьма энергичный, оставлял мало дела своему второму заместителю. Жорж получал шесть тысяч ливров жалованья и был вполне этим доволен. Все свое время он отдавал Якобинскому клубу. Но и здесь зимою 1791/92 года обстоятельства сложились так, что ему, человеку действия, снова приходилось смотреть, лавировать и выжидать. Жизнь поставила перед ним вопрос, на который он сразу не смог ответить.

Вопрос сводился к выбору: Бриссо или Робеспьер?

Эта дилемма имела свою историю.

Экономический подъем, воодушевивший было Францию весной 1790 года, оказался недолгим. За ним последовал спад, который к концу 1791 года поставил страну в весьма бедственное положение.

Все расширявшаяся эмиграция придворной знати серьезно понизила спрос на предметы роскоши. Резкое сокращение их производства привело к закрытию сотен мелких предприятий. Одновременно были сведены почти на нет строительные работы. Тысячи тружеников оказались выброшенными на улицу и лишенными всяких средств к существованию.

В поисках выхода из кризиса правительство стало на путь увеличения выпуска бумажных денег. Ассигнаты, стремительно падая в цене, приводили к дороговизне, прежде всего к вздорожанию продовольствия и предметов первой необходимости. Все труднее становилось с хлебом. Совершенно исчезли сахар, чай и кофе.

Все это било по народу, по бедноте, по санкюлотам революции, по тем самым людям, которые несли на себе всю тяжесть классовых битв.

Народ сопротивлялся.

Усиливались волнения ремесленников и рабочих, вновь подымались крестьяне. В Законодательное собрание сыпались петиции, требующие установления твердых цен на продукты и обуздания спекулянтов. Но Законодательное собрание было глухо к подобным призывам. Вместо хлеба и сахара оно посылало войска, вместо ограничения оптовиков и спекулянтов оно оказывало им всяческое покровительство.

Да и могло ли быть иначе? Ведь новое Собрание представляло интересы именно тех слоев, на которые жаловался народ!..

Согласно декрету, проведенному в свое время по инициативе Робеспьера, ни один из членов Учредительного собрания не мог быть переизбран в новую Ассамблею. Это в известной мере ущемляло фельянов: их ведущие лидеры Барнав, Ламет и другие оказались за бортом верховной власти.

И все же Законодательное собрание, избранное активными гражданами, должно было стать

и действительно стало оплотом крупных собственников. В нем, правда, почти не оказалось «бывших» — епископов и дворян. Изменился и состав буржуазии: если в прежнем Собрании господствовали землевладельцы и финансисты, то сейчас тон задавали более активные торговые и промышленные слои. Из их представителей и составила левая Законодательного собрания, которую называли партией Бриссо, или Жирондой⁹.

Эта левая была не столь многочисленной, сколь шумной. И не удивительно: в нее входили адвокаты, журналисты, прежние муниципальные чиновники — все люди не без талантов и не без претензий.

Какие среди них подвизались ораторы! Пьер Верньо, человек внешне робкий и мешковатый, на трибуне преображался в сущего демона. Он импровизировал не хуже Мирабо или Дантона, он мог таким образом повернуть любой вопрос, что черное становилось белым, а белое — черным.

⁹[9] По имени департамента Жиронды, откуда происходили многие ее лидеры.

От Верньо не отставали его друзья: изворотливый Инар, едкий Гюаде и осторожный Жансонне; в целом здесь можно было насчитать добрый десяток первосортных говорунов.

Правда, тот человек, которого все эти деятели считали если не вождем, то по крайней мере идеологом, духовным отцом своей партии, вовсе не блистал красноречием. Пьер Бриссо на трибуне появлялся редко и лишь в случае особой нужды. Но зато...

Зато он показал себя непревзойденным мастером в искусстве совершенно иного рода.

Современники придумали оригинальный глагол: «бриссотировать». Это значило «интриговать».

Во времена достаточно отдаленные Пьер Жан Бриссо прибавил к своему имени фамилию «де Варвилль». Бриссо де Варвилль! Это хорошо звучало и, главное, намекало на потомственное дворянство.

В действительности же Бриссо был сыном шартрского трактирщика, а Варвиллем называ-

лась деревня, где он провел детство.

Дилетант, не лишенный способностей, легкий на перо и на мысли, менявший убеждения, как одежду, Бриссо в юности без конца скитался. Он побывал в Англии, Голландии и Соединенных Штатах, связывался с подозрительными компаниями, встречался с великими людьми, выпрашивал отзывы у Вольтера, исповедовал доктрины Руссо и флиртовал с Маратом. . .

Но это все в прошлом.

Сегодня, принимая в своей новой квартире своих новых друзей, депутат Законодательного собрания Пьер Бриссо предпочитал считать, что этого не было вовсе.

Столь же решительно отказывался он и от многого, происшедшего совсем недавно. Он забыл, например, о своих республиканских настроениях июня текущего года; он также ничего не помнил о роли, сыгранной им в деле, закончившемся избиением на Марсовом поле. . . Одним словом, он забывал все то, о чем помнить было невыгодно.

Не надо думать, что под выгодой Бриссо по-

нимал только деньги. О нет, он не был настолько мелок. Деньги он легко зарабатывал и легко проживал, хотя никогда и не научился тратить их с шиком. Не богатства волновали этого приземистого некрасивого человека с прилизанными волосами и беспокойным взглядом. Он был честолюбив, и честолюбие с ранних лет каленым железом жгло ему душу.

Он мечтал о власти.

И если в 1790 году он согласился на тайные субсидии из Ратуши, а год спустя вступил в сговор с покровителем Мирабо, графом Ла Марком, если постоянно, с начала революции, он пел дифирамбы Лафайету и помогал Байи, то делалось все это с одной лишь определенной целью— пробиться в первые ряды, стать государственным деятелем крупного масштаба.

В какой-то мере Бриссо добился своего.

Он, правда, не стал министром. Но он получил большее. Он сделался главой партии,—а отсюда был всего лишь один шаг и до руководства министерством и до руководства правительством.

Так, во всяком случае, осенью и зимой 1791 года думал бывший журналист Пьер Жан Бриссо.

Он не только думал. Он действовал. Выдающийся мастер интриги, умевший сталкивать политиков и ссорить друзей, создавать хитроумные комбинации и использовать любые обстоятельства, Бриссо в октябре—декабре этого года нашел, наконец, мост, вступив на который он и его партия смогли пробраться к высшей политической власти.

Этим мостом была война.

Над революционной Францией давно уже сгустились свинцовые тучи. Призрак войны следовал по пятам за каждым новым успехом демократического движения.

Монархи феодально-абсолютистской Европы с ужасом и ненавистью взирали на то, что творилось у них под боком. Им было страшно, и страшно не только потому, что там, во Франции, попал в беду их коронованный собрат. Самым ужасным был дух революционной заразы, дух, который, проникая повсюду, грозил основам всего старо-

го мира.

— Мы не должны,—говорила Екатерина II,— предать добродетельного короля в жертву варварам; ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии. . .

Мысли русской царицы совпадали со взглядами весьма многих кабинетов и королей, и в первую очередь государей Англии, Австрии и Пруссии.

В августе 1791 года в замке Пильниц, в Саксонии, между австрийским императором и прусским королем была подписана декларация о совместных действиях; в феврале 1792 года эта декларация превратилась в военный союз.

Поход реакционной Европы против революционной Франции ставился в порядок дня. Война казалась неизбежной.

Но вот что бросалось в глаза и вот чего не мог не заметить господин Бриссо, строя свои хитроумные планы: союзники не спешили объявлять войны. Между державами коалиции существовали острые разногласия, весьма затруднявшие пе-

реход от слов к делу.

И еще одно обстоятельство сразу же привлекло внимание главы жирондистской партии.

Он и его друзья прекрасно видели, что войну с Европой одновременно приветствовали бы две взаимопротивоположные силы: королевский двор и народ.

Вот тут-то и следовало искать ключ к успеху всего предприятия!..

После вареннского конфуза Людовик XVI и его окружение пришли в замешательство. Но оно оказалось недолгим. Крупные собственники, как обычно, поспешили на помощь оскандалившемуся монарху. Он был реабилитирован и обласкан, в честь его гремели аплодисменты и ставились верноподданнические пьесы.

И, быстро оправившись от испуга, придворная камарилья снова вступила на путь заговоров.

Теперь все ставки делались на открытый вооруженный конфликт.

Король и королева полагали, что если вспыхнет война, то вне зависимости от ее исхода их ожидает победа.

Если война будет развиваться успешно для Франции, тогда, опираясь на верный генералитет и послушный офицерский состав, король-победитель закроет клубы, разгонит Собрание и восстановит Старый порядок.

Если же война окажется проигранной,—ну что же!—тогда можно будет добиться совершенно аналогичного результата, опираясь на штыки интервентов.

В этом превосходном плане аристократы не учитывали лишь одной силы, силы, которой во всех случаях было суждено играть главную роль: революционного народа.

Но вот что любопытно: революционный народ, так же как и его непримиримые враги, рвался к войне.

В глазах простых людей внутренняя контрреволюция неразрывно переплеталась с внешней.

Народ знал о зарубежной деятельности эмигрантов, знал о Пильнице и прочих демаршах европейской реакции.

Народ полагал, что голод и дороговизна, царившие в стране, в значительной мере связаны с

происками зарубежных агентов.

Народ, полный революционного патриотизма, горел желанием прорвать кольцо врагов и стереть с лица земли ненавистных тиранов.

Все это хорошо разглядели и учли бриссотинцы.

Двадцатого октября 1791 года Бриссо впервые поднялся на трибуну Законодательного собрания. Свою речь против роялистов-эмигрантов он читал в заносчивом тоне, сильно злоупотребляя восклицаниями и угрозами.

Он доказывал, что Франции нечего трепетать перед феодальной Европой. Монархи угрожают? Но ведь дальше угроз они не идут. И не идут потому, что страшатся французского патриотизма и ненадежности собственных народов!

— Заговорим, наконец, языком свободной нации!—надрывался Бриссо.—Пора показать миру, на что способны освобожденные французы!..

Речь была встречена бурными аплодисментами.

Так началась кампания жирондистов за войну.

В печати, в Собрании, в Якобинском клубе, при каждом удобном случае и без него Бриссо, Верньо, Гюаде и их товарищи на разные лады твердили одно и то же:

– Война необходима, чтобы утвердить и закрепить революцию!.. Война—это национальное благодеяние!.. Война освободит Европу и навсегда покончит с тиранами!..

Эти писания и речи звучали столь патриотично и так отвечали революционному духу народа, что бриссотинцы в несколько месяцев стали самой популярной партией. Им верили, за ними шли, на них уповали.

Между тем Бриссо и его компаньоны были крайне далеки от опьянения лозунгами, которые они так упорно внушали народу. Высокие идеи вызывались весьма земными страстями.

В основе тяги к войне, которую испытывала торговая и промышленная буржуазия, лежало стремление к экономическому могуществу. Крича о революционной войне и мировом пожаре, промышленники и торговцы думали о новых рай-

онах сырья и рынках сбыта. Попутно они отвлекали народ от мыслей о лишениях и нужде; внешняя война должна была вывести буржуазию из внутренних затруднений.

Что же касается лидеров, заседавших в Ассамблее, то, выполняя волю их пославших, они играли и свою собственную игру.

Они превращали народ в пробойную силу для своих честолюбивых комбинаций: ведь с помощью народа можно было сдержать и парализовать всех противников!

Они одновременно и устрашали и заинтересовывали монархию. Им было безразлично, из каких соображений король желает войны. Им было важно, что он ее желает. А раз так, то для него единственный выход—покинуть фельянов и столкнуться с новой партией, которая готова идти тем же путем, что и он, и за которой следует народ. В случае успеха сговора бриссотинцы, уже господствовавшие в Собрании, наверняка получили бы и министерство!..

Но вдруг на пути у всех этих размечтавшихся господ оказалось препятствие.

Против Бриссо встал Робеспьер.

Максимилиан Робеспьер долго прислушивался к воплям жирондистов, прежде чем принял решение.

Вначале он был удивлен. Ведь Бриссо как будто выглядел соратником и патриотом. Потом удивление сменилось гневом. Человек редкой пронизательности, он все понял.

И Неподкупный, отдавая полный отчет в сложности своего положения, начал неравную борьбу с Жирондой.

Первый раз он выступил против войны 12 декабря. Шесть дней спустя в ответ на очередную тираду Бриссо Робеспьер произнес у якобинцев блестящую разоблачающую речь. Его мудрые и веские слова не могли не приковать внимания слушателей.

— Прежде чем вторгаться в политику и во владения государей Европы,—сказал он,—обратите ваши взгляды на внутреннее положение страны; приведите в порядок свои дела, прежде чем нести свободу другим!..

Робеспьер прекрасно понимал, что война рано или поздно начнется. Но он считал, что содействовать ее ускорению безрассудно, и если не спешат союзники, то еще меньше оснований для спешки может быть у французов.

Главное зло, подчеркивал Робеспьер, не за рубежом, а во Франции, в Париже, возле трона, на самом троне. Пока контрреволюция орудует в правительстве, развязывание войны—не более чем авантюра. Король, его министры, генералы, офицеры—очевидные предатели и делают ставку на интервенцию. Для того чтобы победить, нужно в первую очередь ликвидировать внутреннюю опасность; без этого война не приведет ни к чему, кроме поражения.

Невзирая на сопротивление разъяренной Жиронды, Робеспьер бесстрашно продолжает борьбу.

Он не одинок.

Рядом с Неподкупным бьется Друг народа. С начала зимы Марат разворачивает на страницах своей газеты кампанию против войны.

А Дантон? Ведь его в это время уже считают

одним из трех главных столпов демократии. Как же он реагирует на эту пламенную борьбу?..

Положение, в которое попадал Жорж, стало весьма сложным и двусмысленным.

Внутренне он не мог не согласиться с аргументами Робеспьера: он видел, что агитация жирондистов сильно отдает авантюризмом. Его, как и Робеспьера, прежде всего беспокоила политика двора. Враг Лафайета, он должен был особенно насторожиться, узнав о предложении поставить опального генерала во главе армии.

Но, с другой стороны, он полагал, что выступить против Бриссо не имеет никакого смысла. С Бриссо его связывало слишком многое. В прошлом это были совместные действия и общие симпатии к орлеанизму. В будущем—далеко идущие планы, вплоть до надежды войти в состав правительства.

Жирондисты, зная о слабостях нового заместителя прокурора, не скупилась на авансы и посулы.

Перед выборами в Коммуну газета Бриссо

оказала Дантону энергичную поддержку. Когда он был избран, Бриссо писал, что «... этот выбор делает честь здравому смыслу парижских граждан...».

Позднее товарищи Бриссо, рассчитывая сформировать свой кабинет, резервировали якобы для Дантона портфель министра юстиции или даже министра внутренних дел.

Мог ли он остаться к этому равнодушным?..

Дантон выступил в Якобинском клубе 16 декабря. Это было его первое и последнее выступление по вопросу о войне.

Он начал с горячего панегирика Бриссо.

Бриссо объявлялся «колоссом свободы».

— Мы ждем от этого человека огромных услуг обществу,— вещал Дантон,— и уверены, что он не обманет наших надежд... .

Похвалив вожака Жиронды, оратор решил перейти к сути дела.

Здесь он был предельно краток и резюмировал свои мысли в весьма уклончивой форме:

— Если вопрос состоит в том, чтобы оконча-

тельно знать, будет ли война, я отвечу: да, фанфары войны протрубят. . .

Это для Бриссо. А дальше—для Робеспьера:

— Но, господа, вопрос о том, когда будет война. Не после ли того, как мы внимательно познакомимся с ситуацией и все взвесим, не после ли того, как установим все намерения исполнительной власти, которая нам предложит войну?..

Более отчетливо свою мысль оратор не развернул. Намекнув Робеспьеру на возможность поддержки, он на деле не собирался оказывать этой поддержки ни в коей мере. Он кончил и удовлетворенный спустился с трибуны. Были ли удовлетворены те двое, ради которых произносились «речь»? Они никак не высказались по этому поводу, но за них ответило будущее. В своих дипломатических комбинациях Жорж Дантон слишком часто забывал, что человек, садящийся между двумя стульями, рискует очутиться на полу. . .

После этого, со второй половины декабря до начала марта, Дантон молчит. В лучшем случае

он ограничивается короткими репликами в дебатах по второстепенным вопросам.

— Я не агитатор,— оправдывался он позднее, говоря о своем «довольно тяжелом» молчании.

Он бесстрастно взирает на то, как Робеспьер задыхается в неравной борьбе с жирондистами: ведь теперь Неподкупный совсем один, ибо его верный союзник Марат, затравленный властями, вынужден покинуть столицу. . .

Тщетно осыпаемый бранью и клеветой, изнемогающий Робеспьер будет искать взглядом то место на скамьях клуба, где сидел обычно Дантон. Он не увидит запавших глазок титана. Нет, он не встретит поддержки.

Жоржа Дантона интересует сейчас совсем не Робеспьер.

Его внимание приковано к бриссотинцам.

Ну и ловкачи же они, однако! Как Сумели одурачить народ, как тонко ему льстят и подыгрываются под его настроения! И как добиваются своих целей! Нет, фельянам и двору перед ними определенно не устоять!..

И впрямь, фельяны и двор не могут устоять. Начинаются переговоры. Король согласен составить министерство из «патриотов», то есть друзей Бриссо.

Дантон ждет.

Ура!.. Цель достигнута: фельяны уходят в отставку и новый кабинет сформирован!..

Но что это?! В новом кабинете оказываются все запланированные кандидаты, за исключением... Бриссо и Дантона!..

Что до Бриссо, то он удовлетворенно потирает руки и даже не пытается скрыть свою радость. Он, собственно, и не метил в министры! Для чего ему ненужная ответственность, когда и так вся власть сосредоточена в его руках: ведь новые министры—его ставленники!..

А вот Жорж Дантон действительно оказался ни с чем. Его поманили, использовали и оттолкнули.

Ибо Дантон как министр при сложившихся порядках никому не был угоден. Двор его презирал, фельяны—ненавидели, жирондисты—боялись. Прожженные дельцы, пробившиеся к

власти путем интриг, опасались другого, слишком известного в прошлом комбинатора, не принадлежавшего к тому же к их кругу.

История повторилась. Дантон, не сумевший столкнуться с «людьми восемьдесят девятого года», не внушил доверия и их наследникам.

В ярости трибун прокликает свою «дипломатию». Как же он глупо попался на их приманку, как сразу не понял, с кем вступил в сговор! И, пылая жаждой мести, Жорж Дантон протягивает обе руки тому человеку, которого всего лишь несколько дней назад он так старательно не замечал.

Пусть он опоздал. Пускай войну предотвратить невозможно. Все равно, теперь он пойдет с Робеспьером, только с Робеспьером, ибо Неподкупный призван сорвать все маски и поднять народ на решающий штурм, а ему, Дантону, теперь может помочь лишь народ!

Жирондистское министерство утвердилось в марте.

Двадцатого апреля была объявлена война...

А 10 мая в Якобинском клубе Жорж Дантон впервые ясно и недвусмысленно встал на защиту Максимилиана Робеспьера.

Он обрушил всю мощь своего голоса на головы недавних союзников. Он выявил их «низкую зависть и все вреднейшие страсти». Он предсказывал, что уже не за горами время, «...когда придется метать громы и молнии в тех, кто три месяца нападает на освященного всею революцией добродетельного человека».

Так волею обстоятельств вопрос «Бриссо или Робеспьер?» разрешился для Жоржа в пользу Робеспьера.

На ближайшее время Дантон прочно связал свою судьбу с революционными демократами. А жирондисты на пороге своего могущества сделали первый крупный просчет, который им в будущем очень дорого обошелся.

Перед штурмом

Эта весна была временем великих обманов и великих разочарований. Всем казалось, что они надувают друг друга, но каждый обманщик, в свою очередь, неизменно попадал впросак.

Жирондисты водили за нос Дантона и были уверены, что околпачивают короля.

Король и фельяны втайне смеялись над жирондистами и думали, что используют их доверчивость.

Одураченный Дантон сначала морочил Робеспьера, а затем изрыгал проклятия на головы поймавших его провокаторов.

И все вместе считали, что обманывают и используют народ.

Однако народ, который действительно слыш-

ком долгое время служил разменной монетой в грязных политических комбинациях, отнюдь не был столь наивен и долготерпелив, как рассчитывали все его «благодетели». Терпение народа истощалось, и он вопреки всем и всему готовился к великому штурму.

Вместе с народом были те, кто никого не желал обманывать, кто, невзирая на опасности и лишения, не уставал разъяснять истину и указывать прямую дорогу революции, подлинные вожди масс,—Марат и Робеспьер.

Их триумф был впереди.

И этого триумфа теперь всеми силами жаждал Жорж Дантон, человек с сомнительным прошлым и не менее сомнительным будущим, трибун, смотревший на трибуну как на средство к успеху, но готовый также на какой-то срок отдать весь свой ум и пыл революции.

Война не оправдала связанных с нею надежд.

Как и предвидел Неподкупный, она отнюдь не стала воскресной прогулкой под звуки труб и литавр.

Жирондисты, разжигая всеобщий патриотизм, кричали о победном марше по Европе; согласно их прогнозам, революционеров, несущих свободу, должны были встретить признательность и поддержка угнетенных народов.

В действительности их встретили штыки и пули.

После первых коротких успехов по всей линии фронта началось беспорядочное отступление, причем французские войска зачастую отходили, даже не придя в соприкосновение с противником.

Робеспьер и Марат были правы. Франция показала полную неподготовленность к войне.

Генералы во главе с Лафайетом творили измену. Стратегические планы французского штаба были выданы австрийцам еще накануне войны. Кадровая армия оставалась в руках бывших дворян-офицеров. Подлинно революционные и патриотически настроенные формирования добровольцев нарочно не обучались и не вводились в строй.

Если Франция на первых порах избежала

вторжения и разгрома, то лишь потому, что в стане союзников долго царили раздоры и генеральные штабы Австрии и Пруссии никак не могли скоординировать своих действий.

Поражения на фронтах гулко отдались по всей стране.

Народ понял обман.

Люди были готовы идти на тяжелые жертвы во имя победы, которую предсказывали бриссотинцы. Но победы, как стало очевидно, ждать не приходилось. И угар слепого патриотизма начал быстро рассеиваться. Санкюлоты увидели, кто их подлинные друзья. Отныне массы начинают отходить от жирондистов и все теснее сплачиваются вокруг Марата и Робеспьера. Отныне им ясно, что Неподкупный прав: без разгрома внутренней контрреволюции нечего надеяться на удачу во внешней войне.

С другой стороны, король и фельяны, воодушевленные успехами интервентов, готовились преподнести Бриссо и его друзьям неприятный сюрприз.

Монархия согласилась на союз с жирондистами и допустила их к власти только для того, чтобы лучше скрыть свои истинные цели. Министры-«патриоты» устраивали двор как временная мера, могущая успокоить общественное мнение и показать, что король готов на уступки революции. Но коль скоро планы реакционеров сбывались,—а им казалось, что это именно так,—больше не было никакой надобности играть в жмурки.

И двор ждет удобного случая, чтобы дать отставку своим кратковременным попутчикам.

Случай не замедлил представиться.

Боясь окончательно потерять свой пошатнувшийся авторитет, жирондисты были вынуждены прислушиваться к политическим требованиям демократов. 8 июня военный министр Серван внес предложение о созыве армии федератов. Вооруженные делегаты провинций должны были собраться в количестве двадцати тысяч и стать лагерем под Парижем. Подобный лагерь федератов, который жирондисты думали сделать своей опорой, в действительности мог стать аван-

гардным войском революции. Ассамблея приняла соответствующий декрет. Но король отказался его санкционировать, как и ранее принятый закон против неприсяжных священников. Министр внутренних дел Ролан направил Людовику XVI укоряющее письмо. Хотя письмо было составлено в весьма почтительных выражениях, монарх считал себя оскорбленным. Предлог был найден.

Тринадцатого июня министрам-«патриотам» указали на дверь. Король снова заменил их фельянами.

Дантон мог торжествовать.

Уже с весны этого года он развивает бурную деятельность. Период выжидания остался позади. Строгий «блюститель конституции» быстро забыл клятвы, данные в январе умеренным. Теперь он ориентируется только на народ и идет нога в ногу с Маратом и Робеспьером.

В апреле он громит Ратушу.

В мае—бьется за Неподкупного.

В июне—угрожает двору и всем тем, кто прямо или косвенно пытается защитить монархию Людовика XVI.

Когда прокурор Коммуны Манюэль 19 апреля предложил низвергнуть бюсты Лафайета и Байи, украшавшие зал заседаний Генерального совета Ратуши, он встретил поддержку лишь со стороны своего заместителя, Жоржа Дантона.

Дантон не только поддержал, но и убедительно обосновал предложение Манюэля, проявив весь блеск своего красноречия.

Его старания были напрасны.

Члены Генерального совета, ярые сторонники скомпрометированного генерала и бывшего мэра, устроили Жоржу обструкцию. Они так свистели и вопили, что мощный голос оратора был едва слышен.

От слов перешли к делу. Началась потасовка. Гвардейцы, охранявшие зал, схватились за сабли. . .

Дантон, видя, что ему со всеми не совладать, багровый от ярости, покинул трибуну. Оттолкнув стоявших на пути, он быстрым шагом вышел из зала, так хлопнув дверь, что посыпалась штукатурка.

Больше в Ратуше он не появлялся.

В мае—июне главной ареной его деятельности стали Якобинский клуб и секции.

Падение жирондистских министров не могло не порадовать Жоржа. Но он был слишком умен, чтобы выразить свои чувства открыто. Он притворился глубоко возмущенным.

Дантон, как и другие вожди демократии, прекрасно понял, какие выгоды можно извлечь из сложившейся ситуации. Отнюдь не помышляя о защите повергнутых лидеров, демократы стремились открыть народу глаза на вероломство двора.

Действительно, отставка министров-«патриотов» в совокупности с королевским вето на только что принятые прогрессивные законопроекты дискредитировала Людовика XVI и обнажала до конца все лицемерие его сладких речей.

Голод, неудачи на фронтах, измена генералов, предательство верховной власти—этого было более чем достаточно, чтобы создать условия для нового революционного взрыва.

Робеспьер и Дантон стремились его прибли-

зить.

Вечером 13 июня у якобинцев Робеспьер заявил, что свободе угрожает опасность.

Дантон горячо поддержал Неподкупного.

— Я предлагаю,—сказал он,—устрашить развращенный двор. Исполнительная власть столь дерзка лишь потому, что до сих пор не встречала решительного отпора. . .

На следующий день трибун выразился еще яснее. Он наметил целую серию немедленных революционных мер.

Прежде всего—никакой пощады аристократам. Каждый гражданин, как некогда в древнем Риме, может убить того, кто подрывает основы свободы и благосостояния народа. . .

Двор нужно очистить от заговорщиков. Всем известно, что король—пешка в руках своей супруги. Но ведь Мария Антуанетта—австриячка, родственница монарха, находящегося в войне с Францией! Не здесь ли следует искать корень измены?.. Необходимо заставить Людовика развестись с этой фурией и отослать ее в Вену. . .

Но главное—народ.

Революцию делают массы. А между тем в «свободной» Франции массы угнетены и принижены, они страдают от голода и налогов. Необходимо, чтобы союз с имущими как-то отражался на народном благосостоянии. Необходимо переложить на богатых большую часть налогов, которые платят сейчас бедняки...

Не удивительно ли?.. Преуспевающий буржуа вдруг заговорил о бедняках!..

Теперь народ постоянно в центре внимания Жоржа.

Восемнадцатого июня в связи с наглым письмом Лафайета Законодательному собранию трибун, громя «нового Кромвеля» и его приспешников, указывает якобинцам на секции как на главный ключ к победе.

— Если мы не отправимся в секции, мы ничего не добьемся, ибо враги наши не перестанут утверждать, что мы только жалкое сборище бунтовщиков. Вот почему мы должны *массами* явиться в Национальное собрание. Мы—политическая сила, если не по закону, то *по праву революции!*..

Итак, недавний «конституционалист» и за-

конник вновь заговорил языком крамолы.

Два дня спустя народ, точно услышав призывы Дантона, вторгся в Ассамблею и во дворец, наглядно показав, что сильные мира сего имеют дело не с бунтом, но с революцией.

Строго говоря, выступление 20 июня ни в коей мере не было делом рук Дантона. В его подготовке не принимали участие также ни Робеспьер, ни Марат. Якобинцы-демократы считали, что время для революционного штурма еще не пришло, а любое частичное восстание может лишь ослабить силы народа.

День 20 июня был спровоцирован жирондистами. Мечтая вернуть утраченные портфели, они хотели пригрозить двору. Но действительность опрокинула их ожидания. Народная демонстрация, ими вызванная, быстро переросла те узкие рамки, в которые ее попытались втиснуть.

Тридцать тысяч санкюлотов, вооруженных топорами и пиками, устроили сначала Законодательное собрание, затем короля, а в заключение и тех, кто думал пожать все плоды.

Люди пели:

На фонари аристократов!
Их перевешать всех пора!..

На знамени, которое они несли, сверкал лозунг:

«Трепещи, тиран! Твой час настал!»

Не на шутку перепуганные жирондисты с великим трудом успокоили народ и уговорили демонстрантов разойтись по домам.

Выступление это не принесло пользы ни тем, кто его вызвал, ни тем, кто осуществил.

Но оно еще раз показало, что санкюлоты готовы подняться по первому зову. Нужно лишь верно направить их движение.

По мере успешного продвижения интервентов исполнительная власть все откровеннее нагнала. Правительственный курс принимал открыто реакционный характер. Король опротестовывал любое решение Ассамблеи. Манюэль и Петийон за «нерадивость», проявленную в день 20 июня, были уволены в отставку. Лафайет покинул армию и явился в столицу, рассчитывая поднять

контрреволюционный мятеж. К Тюильрийскому дворцу спешно стягивались офицерские части и отряды иностранных наемников. Во многих провинциях роялисты и их подголоски готовились к встрече союзных войск и к войне с демократами.

Но революционный Париж был спокоен и сосредоточен. Он был намерен предупредить двор.

С начала июля все отчетливее вырисовываются два очага будущего восстания: совет комиссаров секций, явочным порядком утвердившийся в Ратуше, и центральный комитет федератов, продолжавших вопреки королевскому вето массами вступать в столицу. 11 июля под влиянием хронических неудач на фронтах Ассамблея вынуждена объявить отечество в опасности. Всеобщая мобилизация дает оружие в руки десяткам тысяч патриотов. Новые формирования регулярной армии присоединяются к батальонам революционеров-федератов. И вот по дорогам страны уже несется прежняя «Песнь Рейнской армии» — «Марсельеза», которую доставят в Париж вооруженные посланцы юга, несется, воодушевляя борцов и суля им успехи в грядущих

битвах.

Много позднее, вспоминая об этих днях, Лафайет утверждал, что вождем «дезорганизаторов» был Робеспьер, а Дантон—Дантон представлял «их душу».

«Их руки!»—уточняли другие.

Все они в какой-то мере правы. Несомненно, Робеспьер и Дантон сыграли важнейшую роль в подготовке восстания 10 августа.

Теперь их всегда видят вместе. Робеспьер обдумывает, формулирует, пишет, внушает, Дантон действует.

Робеспьер доказывает необходимость пребывания федератов в столице, Дантон готовит им квартиры.

Робеспьер составляет адрес Законодательному собранию, в котором требует низложения Людовика XVI, ареста Лафайета и смены всех административных властей; Дантон агитирует в секциях, в казармах, на улице, призывая к тому же.

Робеспьер обращает внимание демократов на опасность, которую таят в себе штаб и реакцион-

ное руководство национальной гвардии; Дантон предпринимает практические шаги, чтобы разбить и ослабить это руководство.

Робеспьер выдвигает идею замены изжившего себя Законодательного собрания подлинным органом народовластия, Национальным конвентом. В новую Ассамблею избирать будут все граждане, без деления на «активных» и «пассивных», ибо, пока существует ценз, не может быть равенства, а следовательно, и свободы. Дантон подхватывает мысль Неподкупного и немедленно претворяет ее в жизнь: у себя, в секции Французского театра, он добивается отмены декрета об избирательном цензе, привлекает к общественной деятельности всех «пассивных» и этим дает почин несоблюдения устаревшей конституции остальным округам Парижа.

Да, сейчас оба вождя демократов поистине дополняют друг друга, и, казалось бы, Марат смело может возлагать на Жоржа Дантона надежды, которым не суждено было осуществиться год назад. И лишь в одном вопросе Робеспьер и Дантон не приходят к единому мнению, хотя,

впрочем, здесь Жорж не упорствует, предпочитая, как обычно, выждать.

Робеспьер, понимая настроения масс, полагает, что восстание приведет к республике.

Дантон не столь радикален. Он, как и прежде, предпочитает «революционную монархию», рассчитывая возвести на трон Филиппа Орлеанского, «добрého» принца буржуазии. Он нигде не говорит об этом прямо, ибо не хочет слишком быстро раскрывать свои карты. Но его друзья—Демулен, Фабр д'Эглантин и другие—менее осторожны и не скрывают своих политических симпатий. Об этом также хорошо знают агенты полиции, доносящие монарху о деятельности и планах «сьера Дантона»...

Позднее Жоржа станут обвинять в предательстве и переговорах с двором накануне восстания. По-видимому, это вымысел. Такие переговоры действительно имели место, но вели их лидеры Жиронды, не желавшие падения Людовика XVI. Жорж Дантон смотрел на дело иначе. Он лучше, чем соратники Бриссо, понимал, что многократно оскандалившийся монарх—фигура битая и до

каких-либо сделок с ним унижаться не следует.

Но, с другой стороны, при дворе отлично знали об орлеанистских симпатиях трибуна и о его надежде сохранить монархию как таковую. А с демократом, который согласен на существование монархии,—рассуждали придворные политики,—можно в случае крайней необходимости договориться и об оставлении существующего монарха.

— Не здесь ли следует искать причину слухов о переговорах Дантона с двором? И не поэтому ли двор был—об этом имеются многочисленные свидетельства—так спокоен и даже полон надежд именно в отношении Дантона в бурные дни, предшествовавшие штурму?..

Третьего августа монархия бросила на стол свой главный козырь. В этот день был оглашен манифест командующего союзными войсками герцога Брауншвейгского. Написанный по тайной подсказке советников Людовика XVI, манифест ставил целью запугать «мятежных» французов. Считая себя уже победителем и оккупантом революционной страны, немецкий солдафон от имени своих хозяев объявлял, что соединенные армии

намерены «положить конец анархии» во Франции, восстановить в ней «законную власть» и строго расправиться с «бунтовщиками». В случае, если король или кто-либо из членов его семьи, вещал манифест, подвергнется малейшему утеснению, на «бунтовщиков» обрушатся свирепейшие кары вплоть до полного разрушения Парижа. . .

Двор, как обычно, просчитался, недооценив своего врага. Манифест, вместо того чтобы утешить демократов, вызвал бурный взрыв народного гнева и лишь ускорил развязку.

В тот же день Петион, восстановленный в должности мэра, прочел в Ассамблее адрес от имени 47 парижских секций. Секции единодушно требовали низложения Людовика XVI. Таков был ответ народа на политику предательства и угроз.

Стало ясно, что буря грянет в ближайшие же дни.

Революционеры-демократы приступили к последнему смотрю своих сил.

Но Дантона к этому времени в Париже не оказалось. Утром 3 августа Жорж Дантон не ожи-

данно уехал в Арси.

Собственность

Разные бывают люди, о разных борцах остается память в истории.

Жан Поль Марат большую часть революционных лет провел в подполье. Бесконечные лишения, вечная перенапряженность нервов и сил наделили его жестокой, неизлечимой болезнью. Но когда настанет час его торжества, ничто не изменится в его привычках и образе жизни: Друг народа по-прежнему не сможет принадлежать себе, по-прежнему будет беден, прост и доступен. Слишком доступен, быть может; чрезмерная доступность облегчит путь ножу его убийцы.

Максимилиан Робеспьер на пятом году революции из неизвестного провинциального адвоката превратится в главу государства. Имя его за-

ставит трепетать государей и министров реакционной Европы, но сам он останется более скромным, нежели самый скромный из подданных его страны. Он по-прежнему будет жить и работать в той крохотной каморке, где поселился на заре революции, он твердо откажется от личного счастья, от материального довольства, от отдыха.

Все имущество Неподкупного, оцененное после его смерти, не превысит стоимости, равной нашим ста рублям.

А Марат? Марат оставит своей вдове лишь мелкую ассигнацию в несколько франков.

Такие вожди не знали кулис общественной деятельности. На людях они были теми же, что и дома, ибо жизнь каждого из них так же проста и чиста, как их помыслы и души,—она заранее отдана другим, тем, во имя кого они будут бороться, страдать и умирать.

Совершенно иным представляется Жорж Дантон.

У Дантона две жизни, и обе они проходят параллельно, постоянно взаимопроникая, и влияют одна на другую. Историк, желающий ограничить-

ся изучением одной из них и ищущий только политического деятеля, теряет Дантона. Живой человек исчезает, становится непонятным, превращается, по выражению исследователя¹⁰, в «загадку революции». Но измени угол наблюдения, подойди с другой стороны, проникни глубже в человека. И нет больше загадки. Все стало на свои места, все прояснилось. . .

Соратники справедливо упрекали Жоржа за то, что он покинул столицу в дни, предшествующие восстанию 10 августа. Однако вряд ли справедливо считать, как считали обвинители трибуна, что это была грязная политическая игра, порожденная чувством страха. Нет, Дантону нечего было бояться. Восстание хорошо подготовили, и он не сомневался, что демократы одержат победу. Сам он объяснял свой поступок желанием доброго сына повидаться с матерью, повидаться и получить родительское благословение на правое дело. . . Возможно, подобный мотив действительно имел какое-то место, ибо Жорж горячо

¹⁰[10] Л. Барту.

любил свою мать и, как доказано документом, во время этой поездки оформил на ее имя пожизненную ренту. Но не одни сыновние чувства властно звали его на родину. Там, в Арси и близлежащих районах, располагались его владения, его земли, его *собственность*. Туда он рвался при каждой возможности, и теперь, накануне решающих событий, он не в силах был отказаться от соблазна провести несколько дней среди своих лесов и парков, под голубым сводом своего благословенного неба.

О состоянии, которое создал себе Дантон, историки спорят до сих пор и вряд ли придут когда-нибудь к единому мнению: трибун был мастером заметать следы и прятать концы в воду. Бесспорно, впрочем, что состояние его исчислялось в сотнях тысяч ливров.

Собственность опьяняла Жоржа, он мечтал о ней, наслаждался ею и стремился ее приумножить. Собственность—вот ключ к его душе, его жизни, его общественной деятельности.

Чувство собственника, желавшего жить на

широкую ногу, определяло во многом, если не во всем, его политическое поведение. Человек незаурядного ума и великой энергии, порывистый, способный увлечься и увлечь других, он не раз совершал замечательные дела, не раз помогал своей партии и стране в тяжелые дни испытаний. Но почти всегда большое дело было отравлено малым расчетом, смелое решение—склонностью к компромиссу, политический шаг—житейской осторожностью приобретателя.

И вот что особенно интересно: в политической сфере он может падать, искать, срывать, действовать в разных направлениях—подчас противоположных; в области домашних, имущественных дел он прямолинеен и никогда не сбьется с ритма. Он будет производить легкомысленнейшие траты, но останется рачительным хозяином, он будет упиваться дикими оргиями—и не станет плохим семьянином. Ибо этот «превосходнейший господин Дантон»—образцовый буржуа: потомок хитрых и изворотливых шампанских землепашцев, он вместе с тем очевидный предок «респектабельных» собственников XIX

века. . .

Те одиннадцать месяцев, между сентябрем 1791 года и августом 1792 года, которые поставили Францию перед новым революционным кризисом, для Жоржа Дантона были временем преуспевания и довольства. И если в Ратуше, клубе, на улице он агитатор и вожак, то дома—на Торговом дворе или в Арси—он добродушный и хлебосольный хозяин, удовлетворенный нынешним днем и спокойный за свое завтра: ведь теперь он более чем обеспечен—он материально независим, и от службы и от власть имущих.

Его уже не устраивает прежняя квартира, казавшаяся недавно такой просторной и уютной. Он давно высмотрел жилище, более подходящее его положению. Это была квартира на первом этаже того же дома, где он жил; что—квартира! Квартирища! Ибо она занимала весь этаж и состояла, помимо двух прихожих, туалетных, кладовых, гардеробной и помещения для прислуги, из шести превосходных комнат. В ней имелись два салона, две спальни с нишами, громадная

восьмигранная столовая с камином, кабинет и превосходнейшие антресоли с лестницей, которые можно было пустить под библиотеку.

Жорж посоветовался с Габриэлью. Та ужаснулась: к чему им троим такие хоромы! Сколько они будут стоять! И сколько новой мебели туда нужно! Но Дантон только смеялся. Не троим, а четверым!

Габриэль-то ведь снова была беременна! Он все уже прикинул и взвесил, а посему можно было вступать в переговоры с домовладельцем. Квартира давно пустовала: из-за размеров и цены на нее не находилось покупателей. Жорж, не торгуясь, подписал договор и 12 сентября начал перебираться.

Второго февраля Габриэль родила ему сына, крещенного Франсуа Жоржем. Однако кормить младенца мать не смогла. За последнее время ее цветущее здоровье как-то пошатнулось. Появились боли в груди, легкая утомляемость, плаксивость. Для слез, правда, были основания... Габриэль старалась держаться, свои слезы она скрывала—к чему было докучать Жоржу: он все

равно не пожелал бы ее понять, а забот у него и без того было по горло. Ребенка пристроили за город, в Иль-Адам, к рекомендованной кормилице. Эта же женщина полгода спустя приняла на попечение сына Люсили Демулен, новорожденного Ораса.

Дружба двух семей укреплялась. Жоржа и Камилла всюду видели вместе—в клубах, редакциях газет, театрах и кафе. Но вот что удивительно: прежние интимные вечеринки и поездки за город прекратились, и возобновить их оказалось невозможным. Несмотря на то, что новая квартира Дантонов была несравненно больше и шикарнее, чем прежняя, смех слышался в ней гораздо реже.

Жоржу, впрочем, было не до домашних вечеринок. Вечно занятый, он редко обедал и ужинал дома, хотя теперь и имел собственного повара. Ему приходилось встречаться и поддерживать отношения с очень многими и все новыми людьми. Деловые свидания обычно происходили в ресторанах, за дорогими и роскошными обедами, обходившимися по триста ливров и доро-

же на персону. С людьми попроще трибун имел обыкновение видаться на улице Ансьен-Комеди, в кафе «Прокоп»—шумном пристанище политиков и журналистов.

Подобный образ жизни не мог не отразиться и на здоровье и на внешности: за два последних года Жорж здорово растолстел и обрюзг. Это было преждевременно—ему ведь минул всего тридцать третий. Но теперь он, пожалуй, слишком много пил и слишком мало занимался любимыми физическими упражнениями; даже пешком ходить стал гораздо меньше—в конюшне на улице Паон его всегда ждал собственный кабриолет с превосходной ездовой лошастью.

Большую часть свободных вечеров Дантон проводил в театре, куда Габриэль сопровождала его крайне редко. В качестве важного должностного лица Жорж имел свою ложу в нескольких театрах столицы. Его появление во Французском театре обычно сопровождалось аплодисментами. Особенно бурно его и Манюэля публика встретила на премьере «Кая Гракха» Мари Жозефа Шенье.

Но строгому Французскому театру Жорж предпочитал зрелищные заведения попроще и пофривольнее. Он обожал театр Монтасье в Пале-Рояле, где можно было проводить столько же времени перед сценой, сколько в уборных хорошеньких и нестрогих артисток. Очень часто после заседания в клубе он заходил в салон некой знаменитой актрисы легкого жанра, обитавшей на втором этаже над аркадой кафе «Шартр». Он любил этот просторный салон с его приглушенным освещением, голубой шелковой мебелью и особенным ароматом духов, употребляемых хозяйкой. Здесь Дантон встречался с избранным обществом: здесь коротал ночи герцог Лозен, блестящий парижский повеса, прославленный галантными манерами, долгами и невероятными любовными похождениями, здесь часто бывал сам герцог Орлеанский, политический кумир Жоржа, сибарит и богач, понимавший толк в изысканнейших удовольствиях и не жалевавший на них денег. Ночь в Пале-Рояле проходила удивительно быстро, и зачастую следующий день становился ее продолжением. Тогда все

дела—пусть самые важные—летели к черту. . .

Да, Габриэль, бесспорно, имела основания для тайных слез. Зато какова была радость, когда ее муж вдруг бросал все и приказывал паковать чемоданы!..

Арси! После шумного и бьющего по нервам Парижа он представлялся настоящим раем. Дантон обожал Арси и устремлялся туда всякий раз, как позволяли обстоятельства. За прошедший год он побывал там трижды. После бойни на Марсовом поле, преследуемый и усталый, Жорж скрывался в Арси в течение неполного месяца. Вдвое больше, с головой, уйдя в хозяйственные и строительные работы, пробыл он там в октябре—ноябре 1791 года. Наконец теперь, накануне ожидаемого восстания, он выкроил всего несколько дней, которые желал провести в состоянии полного и безмятежного отдыха.

Дом возникал перед глазами сразу, как только экипаж, выехав из рощи, сворачивал к мосту Гран-Пон. Дом отличался от всех соседних построек: он напоминал дворец. На нем, правда,

не было никаких лепных украшений, его не окружали декоративные башенки, он был предельно прост, но эта массивная простота, эта приземистость, которую придавали дому удлиненный фасад и сниженная кровля, как-то удивительно гармонировали с его хозяином: чувствовались те же прочность и сила, та же способность выстоять многие годы, не поддаваясь ветрам и бурям.

Дом был обширен. Его два этажа разделялись добротными лестницами и длинными коридорами. По обе стороны коридоров шли двери. Дверей было много: внизу располагались кухня и семь комнат, наверху—еще десять. Комнаты выходили окнами частью на север, в город, к мосту через Об, частью на юг, во двор. Меблировка отличалась такую же прочностью и простотой, которые здесь были характерны для всего.

С обоих концов к дому примыкали хозяйственные постройки, очерчивая собою абрис большого прямоугольного двора. Здесь были: теплый хлев—пристанище четырех дойных коров, трех кобылиц с жеребятами и множества мелкой скотины, птичник, длинный амбар с погре-

бом, полным припасов, мастерская с верстаками и всевозможным инструментом, склад различных сельскохозяйственных и садовых орудий. В глубине двора располагались два павильона с мансардами; металлическая решетка между ними разделялась такими же ажурными воротами, ведущими в парк.

Этот парк был, пожалуй, главным объектом забот Жоржа и самой большой его гордостью.

Когда в апреле прошлого года он покупал у господина Пио де Курсея семнадцать гектаров земли к югу от дома на Гран-Пон—что это была за земля! Чахлый садик, деревья которого высохли и задичали, да заброшенный пустырь, покрытый грудями мусора и пересеченный вонючим ручейком с топкими, глинистыми берегами.

А сейчас? Сейчас гость, которому впервые показывали парк, не мог скрыть изумления, чем доставлял немалое удовольствие гордому своим детищем хозяину. Сейчас, пройдя сквозь ажурные ворота, гость вступал в настоящий Трианон. Чего только не было здесь! И широкие аллеи, оттененные копиями античных статуй, и зарос-

шие уголки, скрывающие грациозные беседки, и китайские мостики через расчищенный ручей, и искусно вкрапленные участки сада с плодовыми деревьями, и огромные клумбы с нарядными цветами.

Никто не знал, сколько энергии и труда вложил Дантон в этот парк, сколько он заплатил архитектору, садоводам, рабочим, сколько деревьев с любовью посадил собственными руками. В каждый приезд он делал новые покупки, стремясь округлить свои владения со стороны парка и расширить самый парк. Лишь в октябре 1791 года он приобрел у соседей земли на 3 160 ливров, а в будущем мечтал увеличить территорию парка до 30—40 гектаров.

Бродя по аллеям или отдыхая в одной из беседок, Жорж совершенно выключался из забот внешнего мира. Он думал о том, как, покончив со всеми делами, вернется сюда и будет коротать здесь дни своей старости.

Но до старости было еще очень и очень далеко. И втайне он знал, что жить здесь ему никогда не придется.

В хорошую погоду он любил, заложив двуколку, в одиночестве или с Габриэлью прокатить по окрестностям Арси. Прогулка была не бесцельной. И если в пути зеленые луга, бесчисленные речки и маленькие деревушки с готическими церквями неизменно радовали взор, то главная радость заключалась в осмотре собственных владений. Вокруг Арси их было несколько. Чаще всего ездили на ферму Ньюизман, расположенную в десяти лье от города. Ферма была образцовой и славилась среди соседей. Семьдесят пять гектаров земли делились на луг, пашню и виноградники. Ферма имела полное налаженное хозяйство и превосходный скотный двор. Дантон сдавал ее богатому и исправному арендатору, платившему ренту в 1200 ливров. Сдавая ферму, Жорж убивал сразу двух зайцев: во-первых, он регулярно получал изрядную сумму денег, которые никогда не были лишними; во-вторых, что было еще важнее, его арендатор разрабатывал и культивировал землю; почва в Ньюизман, как и в большей части Шампани, была неважной, и нужно было затратить очень много сил, чтобы добиться

обильных восходов.

После прогулки дом на Гран-Пон казался еще более уютным. В доме было всегда людно. В огромной столовой к обеду собиралось до тридцати человек.

Дантон любил своих родственников и постоянно приглашал их к себе. Многие гостили здесь месяцами, а иные жили постоянно. К числу последних принадлежали мать и отчим Жоржа, его тетка, обе сестры, муж одной из сестер, господин Манюэль, и их пятеро детей, к которым Дантон относился с отеческой нежностью. Сюда же он поселил и свою старую кормилицу, обеспечив ее, как и мать, пожизненной рентой. Завсегдатаями были несколько ближайших соседей, в первую очередь член Законодательного собрания, а позднее и Конвента Эдм Куртуа, дом которого стоял рядом с домом Дантона. Этот Куртуа, человек пустоватый и бесталаный, преклонялся перед Дантоном и часто играл роль его доверенного лица.

Жители Арси уважали и любили Дантона.

Простые люди видели в нем благодетеля и отца. Он был и работодателем, и добрым хозяином, и защитником их интересов в столице. Передавали много рассказов о его щедрости и доброте, о его человечности и терпимости. Так, однажды рабочий, трудившийся в его саду, неосторожно обращаясь с инструментом, нанес себе рану. Прежде чем успели привести врача, Дантон порвал на жгуты свою голландского полотна рубашку, перевязал раненого и на руках отнес его в дом. . .

Жорж Дантон, сам вышедший из простонародья, умел ладить с простыми людьми. Он понимал, что в них—его сила. А его жизненный девиз был: живи сам и давай жить другим! Создавая свои богатства и укрепляя благополучие, он всегда готов был бросить крохи со своего обильного стола тем, кто оказывал ему помощь.

Как быстро летит время! Четвертого он сюда приехал, а уже восьмого нужно собираться обратно. . . Через Куртуа, срочно прискакавшего из Парижа, Дантон узнал, что решающий час близок.

В тот день, когда Жорж покинул столицу, одна из секций Сент-Антуанского предместья вынесла ультиматум: если Законодательное собрание до одиннадцати часов 9 августа не выскажется за низложение короля, в полночь ударит набат восстания. К этому акту быстро присоединялись другие районы столицы. 5 августа две трети секций заявили, что не признают больше Людовика XVI. Шестого все клубы и демократические организации Парижа начали открыто призывать к восстанию. Федераты чистили ружья и запасались порохом, предместья выбирали вожаков, двор, со своей стороны, готовил орудия и надежные части.

Дантон понял остроту момента. Все могло вспыхнуть мгновенно. Ему—он увидел это давно—не по пути с колеблющимся, ненадежным строем. Ему нужна новая Франция, которая даст простор инициативе предприимчивых, которая обеспечит новых собственников.

Так вперед, не мешкая и не сомневаясь!

Восьмого вечером Дантон сложил дорожные вещи, а девятого утром вместе с Габриэлью и

маленьким Антуаном завтракал уже на Торговом дворе.

Этот день стал последним днем тысячелетней французской монархии.

В ночь на 10 августа...

«Четверг, 9 августа. Что будет с нами? Я не пере-несу этого. Камилл, о мой бедный Камилл! Что станется с тобой? У меня нет сил дышать. Эта ночь, эта роковая ночь! Боже! Если правда, что ты существуешь, спаси людей, которые достойны тебя! Мы хотим быть свободными. О боже, любую ценой!.. В довершение несчастья меня поки-дает мужество...

12 августа

Какой пробел с 9 августа! Чего только не про-изошло за это время! Какой том составила бы я, если бы продолжала предыдущую запись!.. Но как запомнить такую массу вещей?.. Все равно,

пусть я восстановлю хоть некоторые из них, я буду писать!...»

Так начинает Люсиль Демулен свои заметки, относящиеся к событиям 10—12 августа 1792 года. Страницы ее дневника, написанные для себя по свежим впечатлениям от пережитого, звучат бесхитростно и наивно. Им веришь. И невольно соглашаешься с исследователями, утверждающими, что это лучший и наиболее достоверный документ о деятельности Дантона в ночь на 10 августа.

Правда, об этой деятельности здесь как будто прямо ничего не сказано. Но Люсиль мимоходом удостоверяет некоторые обстоятельства, очень важные для политической биографии трибуна кордельеров.

Какие именно? Не станем забегать вперед. Пусть говорит Люсиль—историку останется лишь прокомментировать и дополнить ее рассказ.

«... Восьмого августа я вернулась из деревни. Во всех умах уже царило сильное брожение.

Хотели убить Робеспьера¹¹.

Девятого у меня обедали марсельцы¹²; мы были очень веселы. После обеда все пошли к Дантонам.

Габриэль Дантон плакала, она была печальна сверх всякой меры. Ребенок ее имел тупой вид, зато муж казался исполненным решимости. Я хохотала, как безумная. Многие боялись, что из этого дела¹³ ничего не выйдет; хотя я ни в чем не была уверена, я говорила так, как будто знала наверное, что все удастся. “Но как можно столько смеяться?”—сказала мне Габриэль. “Ах,—ответила я,—это может быть предзнамено-

¹¹[11] В первые дни августа Робеспьер продолжал работать над подготовкой восстания. В доме, где жил Робеспьер, проводил заседания повстанческий комитет.

¹²[12] Федераты Марсея, бывшие одной из главных ударных сил в восстании 10 августа. Их песнь—«Марсельеза»—стала гимном революции.

¹³[13] То есть восстания.

ванием того, что я сегодня буду много плакать”.

Вечером мы провожали обратно госпожу Шарпантье¹⁴. Погода была прекрасная, и мы побродили по улицам. Было много народу. Мы расположились перед кафе. Мимо нас прошли несколько санкюлотов с криками: “Да здравствует нация!” Затем конные войска, наконец огромная масса народу. Меня объял страх. Я сказала Габриэли: “Вернемся домой!” Она посмеялась над моими опасениями, но мои слова зародили в ней беспокойство, и мы пошли. Прощаясь с ее матерью, я сказала: “Прощайте, скоро вы услышите звуки набата...”»

Если бы Люсиль в своей прогулке не ограничилась пределами нескольких улиц, а заглянула на окраины и в центр столицы, ее страх перешел бы в ужас.

Вечером 9 августа весь Париж гудел, как потревоженный улей. Демократы завершали подготовку к восстанию. Не зря этим днем Жорж Дан-

¹⁴[14] Тещу Дантона.

тон вместе с Демуленом и Фрероном побывал в Сент-Антуанском предместье, не зря договаривался с Сантером—одним из самых популярных вожakov революционного Парижа. Теперь секции снаряжали батальоны, свозили артиллерию, назначали командиров.

Готовился и двор. На Карусельной площади растянулись длинные ленты войск. Здесь были национальные гвардейцы, пешие и конные жандармы, отборные швейцарские части. У моста и вдоль стен Тюильри расставили одиннадцать орудий. Возле дворцовых ворот толпились «бывшие».

Час решительной схватки приближался.

Между восемью и девятью часами начали собираться секции. В одиннадцать часов секция Кенз-Вен постановила «приступить к немедленному спасению общего дела...».

«... Когда мы вернулись к Дантонам, я увидела там Роберов и многих других. Дантон был возбужден. Я подбежала к Роберу и спросила: “Будет набат?”—“Да,—ответил он,—еще вече-

ром”. Я не проронила больше ни слова.

Вскоре все стали вооружаться. Камилл, мой дорогой Камилл, пришел с ружьем! О боже, я спряталась в спальне, закрыла лицо руками и заплакала; но я не хотела высказать свою слабость и не решилась сказать Камиллу, что мне нежелательно его участие в этих делах. Все же, уловив минутку, когда можно было поговорить с ним без боязни быть подслушанной, я высказала ему все, чего опасалась. Он успокоил меня, но сказал, что не оставит Дантона. Я поняла, какой он подвергался опасности.

Фрерон имел такой вид, будто решился на смерть. “Я устал жить,—говорил он,—я желаю только смерти”. При появлении каждого патруля я думала, что вижу их в последний раз. Чтобы не видеть всех этих приготовлений, я перешла в пустую гостиную, где был потушен свет. На улице было пусто, люди разошлись по домам. Наши патриоты собирались уходить. Я уселась рядом с кроватью, подавленная, уничтоженная; несколько раз я засыпала, а когда пробовала говорить, получалась одна чушь.

Дантон прилег. Он не имел вида занятого человека, он почти совершенно не выходил из дому. Приближалась полночь. К нему несколько раз приходили. Наконец он отправился в Коммуну. . . »

Прервем на секунду Люсиль, чтобы исправить ее ошибку. В первый раз Дантон вышел из дому действительно около полуночи. Но отправился он не в Ратушу, а в свою секцию, то есть в Клуб кордельеров. Он выступал там с речью, содержание которой нам неизвестно. По-видимому, это был призыв к восстанию.

Ровно в двенадцать часов кордельеры ударили в набатный колокол. Тотчас же набат зазвучал по всему Сент-Антуанскому предместью.

Восстание началось.

«... Кордельерский колокол звонил, звонил долго. Совсем одна, в слезах, с уткнутым в платок лицом, стояла я у окна на коленях, прислушиваясь к этому страшному звону. Напрасно приходили меня утешать, мне казалось, что день, предшествующий этой роковой ночи, был

последним. . .

Дантон вернулся. Госпожа Робер, очень беспокоившаяся за мужа, который отправился в Люксембург, где он был депутатом своей секции, подбежала к Дантону; тот дал ей весьма неопределенный ответ. Затем он бросился на постель.

Несколько раз приходили с хорошими и дурными вестями. Мне казалось, что я догадываюсь об их плане отправиться в Тюильри¹⁵. Рыдая, я сказала им об этом. Я чувствовала, что упаду в обморок. Напрасно госпожа Робер спрашивала о своем муже; никто не давал ей ответа. Она думала, что он пошел с предместьями. “Если он умрет,—сказала она,—я не переживу его. Но Дантон—центр всего. Если мой муж погибнет, я буду в состоянии его заколоть”.—Глаза ее сверкали. С этой минуты я больше не покидала ее. Было не до сна. Кто мог знать, на что она способна?..»

¹⁵[15] Люсиль, по-видимому, знала, что штурм Тюильрийского дворца должен стать главным актом восстания.

Здесь мы снова прервем Люсиль. Она забывает сообщить о вторичном выходе Дантона из дому; между тем, судя по всему последующему тексту, этот выход имел место, причем теперь Жорж покинул свою квартиру очень надолго. Жена Камилла ничего не рассказывает о том, где был трибун в эти долгие часы и чем он занимался. Вот как, в свете других источников, можно представить общий ход событий.

Второй раз Дантон вышел из дому около часу ночи. Он направился в Ратушу. Там в это время происходили очень важные дела.

Комиссары 28 секций, собравшиеся в полночь на Гревской площади, провозгласили себя «Революционной Парижской коммуной десятого августа». Эта Коммуна вначале заседала одновременно со *старым муниципалитетом*, а затем заставила его уступить себе место. Под утро новая Коммуна пополнила свой состав за счет ряда видных демократов: были дополнительно избраны Робеспьер, Люлье, Колло д'Эрбуа, Эбер, Паш и многие другие.

Дантон, так же как и его шеф Манюэль, при-

соединился к повстанческой Коммуне и принял участие в ее работе.

— В муниципалитете я громогласно требовал смертной казни для Манда,—заявлял Жорж впоследствии.

Манд—офицер-роялист, незадолго перед этим утвержденный двором в качестве главнокомандующего национальной гвардией. Он должен был руководить обороной Тюильрийского дворца. Ночью прежняя, «законная» Коммуна вызвала его для объяснений; офицер, зная, из кого состоит Генеральный совет Коммуны, не сомневался, что легко даст эти «объяснения». Однако ему пришлось иметь дело с *новой Коммуной*, которая, естественно, отнеслась к нему как к врагу и злодею. Он был допрошен и убит выстрелом из пистолета на крыльце Ратуши. Революционная Коммуна назначила начальником национальной гвардии своего человека—вожака Сент-Антуанского предместья Сантера, того самого Сантера, с которым Дантон вел предварительные переговоры днем 9 августа.

Устранение Манда и смена руководства наци-

ональной гвардии были фактами большого значения. Двор сразу потерял контроль над национальной гвардией. Это помогло народным агитаторам перетянуть на свою сторону и те отряды гвардейцев, которые сначала собирались защищать Тюильри.

Так был подготовлен последний, решающий тур восстания.

«... Ночь мы провели в жестоком волнении. Камилл вернулся в час; он заснул на моем плече. Габриэль Дантон была рядом со мной, она как будто готовилась встретить известие о смерти своего мужа. “Нет,—сказала я ей,—больше невозможно терпеть!”

Когда рассвело, я предложила отправиться к нам, чтобы отдохнуть¹⁶. Камилл лег. Я велела приготовить в гостиной походную кровать с матрацем и одеялом. Габриэль бросилась на постель

¹⁶[16] Видимо, отдохнуть у Дантонов было невозможно, так как там в эту ночь был настоящий проходной двор. Это одно из косвенных свидетельств важности роли Дантона в событиях ночи 10 августа.

и немного подремала. Я тоже легла и заснула под звон набата, который теперь раздавался со всех сторон.

Мы встали. Камилл ушел, обнадежив меня, что не будет подвергаться опасности. Мы с Габриэлью сели завтракать.

Часы пробили десять, одиннадцать, а мы все еще ничего не знали. Взяв несколько вчерашних газет, мы уселись на диване в гостиной и начали читать. В то время как Габриэль читала вслух одну из статей, мне показалось, что раздался пушечный выстрел. Вскоре я услышала еще несколько выстрелов, но ничего не говорила. Они участились. Тогда я сказала: “Стреляют из пушек”. Габриэль прислушивается, слышит, бледнеет, падает и теряет сознание. Я раздела ее. Я сама была близка к обмороку, но необходимость оказать ей помощь придала мне силы. Она, наконец, пришла в себя. . . »

Выстрелы, которые так напугали обеих женщин и которые Люсиль впервые услышала после одиннадцати часов утра, в действительности на-

чались много ранее.

Вооруженный народ, в течение ночи собиравшийся в секциях, двинулся к Тюильри незадолго до восьми часов. С пением «Марсельезы» повстанцы заполнили Карусельную площадь. Народ был настроен мирно и не желал кровопролития. Казалось, начнутся переговоры. Но король вместе со всей своею семьей к этому времени уже трусливо покинул Тюильри и бежал под защиту Законодательного собрания, тогда как его верные швейцарцы и дворяне имели инструкцию любыми средствами защищать опустевший дворец.

Около десяти часов раздался первый провокационный залп. Площадь окрасилась кровью санкюлотов. Снова и снова гремели выстрелы. . .

Но дело монархии было давно уже безнадежно проиграно. Вслед за национальными гвардейцами дворец оставили конные жандармы и артиллеристы.

Теперь жерла орудий, еще недавно защищавших Тюильри, были обращены против его стен. Артиллерийские залпы гремели один за другим.

Новая атака закончилась полной победой повстанцев. Последние защитники дворца бежали. Лишь немногим из них удалось спасти свою жизнь.

«... Мы слышали крики и плач на улице, мы думали, что весь Париж утопает в крови. Все же мы набрались мужества и отправились к Дантонам.

Кричали: “К оружию!”, все спешили. Мы нашли ворота Торгового двора закрытыми. Никто не открывал, не отвечая на стук и просьбы. Хотели было прошмыгнуть через пекарню, но булочник захлопнул дверь прямо перед нами. Я была вне себя. Наконец нам открыли.

Как долго мы оставались в неведении! Но вот пришли люди и сказали, что победа одержана. В час дня пришли все и рассказали, что произошло. Сведения были жестоки. Несколько марсельцев оказались в числе убитых...

Робер вернулся после обеда и дал нам страшное описание того, что видел. Весь день мы слушали о событиях ночи и утра...»

Люсиль не передает услышанного рассказа. В общих чертах мы можем его восполнить.

Сведения действительно были жестоки. Победа над монархией далась трудящимся ценою большой крови. Только в первой атаке коварно обманутые швейцарцами осаждающие потеряли несколько сотен человек. Всего штурм Тюильри стоил им более пятисот убитых и тяжелораненых.

Велико и справедливо было негодование народа. По приговору Коммуны 96 швейцарских наемников, взятых с оружием в руках, были тут же расстреляны. Остальных, спасенных от ярости победителей Дантоном, заключили в тюрьму.

Похороны борцов, павших за свободу, превратились в могучую народную демонстрацию. Люсиль участвовала в ней. Она пишет, как сжималось ее сердце в эти часы скорби и гнева. . .

Этим описанием заканчиваются интересующие нас страницы дневника. Помимо живой и непосредственной передачи ряда бытовых деталей и общего настроения, царившего в столь

важный, переломный момент среди ее близких, заметки Люсили удостоверяют по крайней мере три обстоятельства, которых биограф Дантона не может и не должен обойти: во-первых, что Дантон все время был спокоен и даже беспечен, по-видимому, он не сомневался в успехе восстания; во-вторых, что он большую часть ночи, утро и день был вне дома, это подтверждает заявление трибуна, уверявшего, будто он провел на ногах двенадцать часов подряд; наконец, в-третьих, что окружавшие считали его *центральной* фигурой всех событий, связанных с восстанием. Это объясняет, почему в дальнейшем Дантона часто будут называть «человеком десятого августа».

Чем же занят победитель в ближайшие часы после победы? Как проявляет себя? Какими мерами и действиями закрепляет достигнутые результаты? Люсиль об этом молчит. Молчат и другие источники. Остается исходить из предположений и косвенных фактов.

Днем 10 августа революционная Коммуна продолжает руководить событиями. Законода-

тельное собрание, возглавляемое жирондистами, прилагало все силы к тому, чтобы спасти королевскую власть. Когда стало ясно, что сделать это невозможно, депутаты скрепя сердце провозгласили «временное отрешение» короля и назначили ему под квартиру. . . Люксембургский дворец! Только вмешательство Коммуны сорвало этот демарш жирондистов: король был арестован и вместе с семьей препровожден в Тампльскую башню под строгий тюремный надзор.

В течение всего этого времени Дантон оставался в Ратуше. В тот же день он стал участником акта, который не мог не наполнить его сердце удовлетворением: повстанцы сбросили и разбили в куски бюсты Лафайета и Байи, украшавшие зал Генерального совета Коммуны, то есть было сделано то, чего Дантон требовал еще в минувшем апреле и из-за чего ему пришлось тогда даже покинуть свое место. На этот раз к изображениям двух его старых врагов были добавлены бюсты Людовика XVI и Неккера. . .

Удовлетворенный, хотя и безумно усталый,

вернулся Жорж вечером к себе на Торговый двор и рухнул на постель, рассчитывая проспать по крайней мере сутки подряд.

Но сделать этого ему не удалось. На заре его отчаянно тузили двое ближайших друзей.

— Вставай,—кричали они,—ты министр!

— Ты меня должен обязательно сделать секретарем министерства!—вопил в ухо спящему Фабр.

— А меня одним из своих личных секретарей!—вторил ему Камилл.

Дантон с трудом оторвал голову от подушки.

— Послушайте, вы уверены, что я избран министром?

— Да, безусловно да,—радостно ответили друзья.

Только после этого трибун окончательно проснулся. Спать было некогда. Надлежало немедленно идти в Ассамблею, а затем приступить к своим новым обязанностям. . .

Несколько времени спустя Камилл Демулен

писал:

«Мой друг Дантон, милостью пушек, стал министром юстиции; этот кровавый день должен был привести нас обоих либо к власти, либо к виселице. . . »

Камиллу не пришлось выбирать: власть их ждала сегодня, а гильотина (вместо виселицы)—полтора года спустя. И то и другое—по воле революционного народа.

6.
МИНИСТР РЕВОЛЮЦИИ
(АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ
1792)

Символ веры

В политическом поведении Жоржа Дантона была характерная особенность. Дойдя до нового рубежа своей карьеры, он каждый раз испытывал потребность высказать свое кредо, свой символ веры на сегодняшний день. Он обязательно должен был произнести программную речь, объяснявшую его поведение и виды на ближайшее время. Это всегда была программа *данного момента*; и то, что подчас она оказывалась в вопиющем противоречии с прошедшим и будущим, его абсолютно не беспокоило: великий мастер революционной тактики неизменно оставался очень слабым стратегом.

Политическая ладья Дантона скользит по течению революции. Потянуло штормовым ветром,

поднялись волны—и он грохочет, изрыгает проклятия на головы умеренных, призывает бурю; ветер стих, все улеглось, запахло штилем—и он воркует, успокаивает горячие головы, призывает к соблюдению закона.

Но и в минуты шторма и в часы штиля Жорж никогда не упустит из виду «золотого» правила: при наступлении—не переходить «разумного» предела, при отходе—не порывать с боевыми силами. Ибо, боясь слишком бурного развития революции, он ни в коей мере не желает ее провала. Он прочно связывает себя с ней до тех пор, пока она отвечает его социальным запросам, пока он уверен, что ему с ней по пути.

Восстание 10 августа открыло Дантону путь к высшей власти. Мог ли он не использовать подобный случай? И мог ли на этом важнейшем этапе отказаться от соблазна дать новую декларацию, сызнова изложить свой символ веры на благо современникам и в назидание потомству? Он сделал это. И, быть может, то был наиболее яркий, наиболее характерный акт всей его министерской деятельности.

Ситуация дня не представляла для Дантона загадок.

Две силы соперничали в ходе событий 10 августа, две власти начали ожесточенную борьбу с первых же минут после победы.

Одна из них опиралась на «закон», другая—на восстание.

Одна пыталась отыскать компромисс, другая—смело разрубала гордиев узел контрреволюции.

Для одной свержение королевской власти было неприятным сюрпризом, для другой—победным результатом кровопролитной борьбы.

Первая из этих сил, представляемая жирондистами, воплощала буржуазию. Она свила себе гнездо в Законодательном собрании. Вторая, возглавленная революционными демократами, вышла из недр народа. Ее оплотом стала повстанческая Коммуна.

Законодательное собрание, трепетавшее перед насильственными мерами, всячески пыталось предотвратить «дикий бунт черни». Когда же вопреки всему восстание произошло, Ассам-

блея постаралась приуменьшить его результаты. Но Коммуна, вождями которой стали Робеспьер и Марат, зорко следила за Ассамблеей и срывала все ее планы.

Собрание и Коммуна стремились уничтожить друг друга.

Демократы, провозгласившие верховную власть народа, требовали, чтобы Собрание, избранное по антидемократической, цензовой системе, уступило место Национальному Конвенту.

Собрание, в свою очередь, постановило, что повстанческая Коммуна, как учреждение временное, подлежит принудительному роспуску.

Борьба разгоралась.

Дантон быстро сообразил, где его место. Он должен был стать *между* Коммуной и Собранием. Превратившись в *третью силу*, он овладеет властью в Исполнительном совете и станет господином положения.

Не мешкая, он пустил в ход свое главное оружие—слово.

Одиннадцатого августа новый министр юсти-

ции поднялся на трибуну Ассамблеи. Он оглядел места для публики, переполненные людьми, руки которых были еще черны от пороха. К этим людям он и обратился в первую очередь:

– Граждане, французский народ, истомленный деспотизмом, произвел революцию. Слишком великодушная, нация пыталась договориться с тираном. Опыт доказал невозможность подобной сделки. И нация вернулась к своим правам.

Дантон выразительно помолчал. Он был доволен собой. Он прекрасно сформулировал и причины восстания и его результаты. Особенно хороша была фраза: «И нация вернулась к своим правам. . . »

Дантон опустил глаза к депутатским скамьям.

– Во все времена там, где начинается правосудие, должна прекратиться народная месть. Перед лицом Национального собрания я беру на себя обязанность защищать его членов. Я пойду во главе их, я отвечаю за них!

Оратора наградили щедрыми аплодисментами. Ибо каждая сторона восприняла из его речи то, что министр адресовал именно к ней.

Народу он заявлял: «Вы молодцы. Вы сделали то, что нужно. Но теперь остановитесь. Восстание кончилось, начался закон, и я—ваш защитник—являюсь его олицетворением».

Депутатов же буржуазии он успокаивал: «Не волнуйтесь. Вас никто не тронет. Я, министр юстиции, отвечаю за это. Я буду вместе с вами. Но вам придется подчиниться мне».

Так говорил Дантон с революционным и буржуазным Парижем.

Восемь дней спустя он развил те же мысли более подробно и составил целое послание, с которым познакомил всю страну.

По форме это был министерский циркуляр уголовным и гражданским трибуналам. Но, обращаясь к судьям, Дантон обращался к провинции, к департаментам, ко всем санкюлотам и обеспеченным людям Франции. Он знал, что во многих областях еще не решили, как расценивать восстание 10 августа. И он взял на себя инициативу все объяснить. Разумеется, этим он не только принесет пользу революции: он познакомит с

собою страну, покажет гражданам различных категорий, что он-то и есть главный вожак, руководитель всех патриотов, вне зависимости от их частных взглядов и убеждений.

Первая фраза циркуляра была шедевром эпистолярного искусства:

«Обширнейший заговор готовился в Тюильрийском дворце и рухнул в момент своего начала, сорванный смелостью федератов восьмидесяти трех департаментов и сорока восьми секций столицы. . . »

Всего двумя десятками слов Дантон ясно показал два капитальных обстоятельства: что восстание было *ответом* на заговор роялистов и что оно проводилось силами *всей* Франции, при полном единодушии парижан и провинциалов. Значит, нечего думать и гадать. Восстание—необходимая мера, ответ на измену, акт спасения для всех честных французов. И одно из последствий этого акта—избрание его, Дантона, «. . . двадцатью пятью миллионами людей, самых свободных и могущественных в мире. . . » на должность «. . . министра революции. . . ».

Крупными и смелыми мазками рисует Жорж свой политический портрет:

«... Пост, на который я был призван славным голосованием нации, куда я проник сквозь брешь, пробитую в Тюильрийском дворце в тот момент, когда грохот пушек стал последним доводом народа, не изменил меня: в должности министра я остаюсь прежним председателем кордельеров, сделавших так много в революционные дни—от 14 июля 1789 года до 10 августа сего года. Судьи Франции (читай: все граждане Франции) найдут меня тем же человеком, все мысли которого направлены к политической и личной свободе, охране законов и общественному спокойствию, единству восьмидесяти трех департаментов, процветанию государства и благополучию французского народа, и не к химерическому равенству имуществ, но к равенству прав и счастья...»

Так, подчеркивая, что он неотделим от народа, совершившего революцию, Дантон одновременно заверяет собственников, что он отнюдь не опасный человек, не смутьян, не «уравнитель»—

он добрый и добродетельный буржуа, превыше всего ставящий «общественное спокойствие» и «процветание государства».

И в конце послания, увещевая судей, он повторяет Франции почти буквально то, что восемь дней назад говорил Парижу:

«... Обратите против изменников, против врагов родины и общественного благополучия острие меча закона, которое хотели направить вашими руками против апостолов свободы. Там, где начинается законное правосудие, прекращается суд народа».

Дантон—«министр революции»—громогласно заявляет, что революция хорошо сделала свое дело. Она убрала с дороги заговорщиков и расчистила путь патриотам. А теперь—теперь пора уступить место «законному правосудию», то есть ему, Дантону, это правосудие олицетворяющему.

В этом письме—одном из очень немногих писем, написанных его рукой,—Жорж Дантон как бы парит над полем боя. Он не становится ни на

одну из сторон. Коммуна? Он ее приветствует и одобряет все ее действия. Собрание? Он считает его законной властью и даже готов возглавить его депутатов. Он и за народ и за буржуазию одновременно. Он достиг вершины и теперь смело может руководить сражающимися, не допустив полного разгрома ни одной из армий.

Дантон—

«министр революции»—остается прежним Дантоном из старого дистрикта Кордельеров. Он не изменил ни характера, ни поведения. Горячий и страстный человек действия, он понимал лучше, чем многие, что сейчас необходимы быстрота, решительность, смелость. Только подобные меры могли спасти Францию от внутренней и внешней угрозы, только они были пригодны для Дантона, связавшего себя прочными узами с революцией. «Непревзойденный мастер революционной тактики» должен был показать всю свою мощь и весь свой талант именно в эти дни.

Но Дантон перестал бы быть Дантоном, сыном своего класса, своей социальной группы, если бы он действовал без оглядки, если бы не со-

хранил ловкости и осторожности прирожденного дельца. В самые горячие минуты он не потеряет острого нюха буржуа, не сделает больше, чем нужно для партии «золотой середины». Он останется вождем этой партии, он будет «третьей силой» и в те дни, когда утвердится на вершине власти, и в те, когда начнет эту власть терять. От Исполнительного совета до «болота» Конвента ляжет хотя и извилистая, но твердо очерченная дорога.

В Исполнительном совете

Во вторник, 14 августа, Дантон покинул квартиру на Торговом дворе, чтобы вместе со всей своей семьей утвердиться в новом жилище: в роскошном особняке министерства юстиции.

Дом этот, называемый также Французской канцелярией, был построен во времена короля-солнца. Богато украшенный скульптурами и лепным орнаментом в стиле позднего барокко, он занимал всю ширину Вандомской площади и некогда служил местопребыванием знаменитых канцлеров Старого порядка—Агессо и Ламуаньона, Миромениля и Мопу.

Что мог чувствовать буржуа из Арси, в недалеком прошлом—адвокат без практики, переступая порог этого овеянного традициями здания,

обитателем которого по воле революции он вдруг оказался?

Робкая Габриэль, проходя по бесчисленным салонам, ковры которых заглушали шаги, вздрагивала, пугаясь своего изображения в венецианских зеркалах, сверху донизу покрывавших огромные стены. Она совсем потерялась и была до смерти рада, обнаружив вдали от парадных покоев скромную комнатку с низкими потолками и окнами, выходившими в парк; только теперь почувствовала она себя дома, твердо решив основать здесь супружескую спальню—свое постоянное убежище.

Муж ее, напротив, ни на момент не проявил растерянности. Все шло как должно! Хозяйским шагом мерил он огромные апартаменты, весело разглядывал их необычное убранство, многое ощупывал руками. Здесь слишком много ненужного хлама. Вот, например, эти огромные часы в кабинете—подлинный осколок прошлого. Их вычурные стрелки оканчиваются цветками лилий—символом рухнувшей монархии. Жорж подошел к часам, грубо, чуть не оторвав, открыл стекло

и вырвал золотые, покрытые эмалью стрелки. . .
Так-то!

В первые же дни своего пребывания в Канцелярии он приказал, чтобы вынесли все лишние предметы, в первую очередь церковную утварь; золото, серебро и медь были отправлены в переплавку, остальное—на выброс. Он сделал немедленное представление в Ассамблею о государственной печати. На печати был изображен Людовик XVI, и теперь ею пользоваться было совершенно невозможно! Точно так же он потребовал декрета об изменении старых роялистских формул в текстах законов. Требования министра юстиции были удовлетворены.

Наряду с этими делами, касавшимися чисто внешних форм и атрибутов своей новой власти, Дантон не упускал из внимания того, что казалось ему самым главным. Он с обычной для него энергией и решимостью провел чистку аппарата министерства юстиции и всюду расставил сторонников нового режима—в первую очередь своих единомышленников и друзей.

Он пригласил в свое ведомство многих видных демократов: Робеспьера, Демулена, Колло д'Эрбуа, Барера. Отказался лишь один Робеспьер, избранный еще раньше в революционную Коммуну. Демулен стал личным секретарем министра. Главную должность—секретаря Канцелярии—получил Фабр д'Эглантин. Не забыл Жорж и своих старых знакомых—Робера и Паре. Вскоре вся «кордельерская банда» водворилась в апартаментах Ламуаньона и Мопу.

К сожалению для министра, помощники его оказались не на высоте. Легкомысленный Демулен забавлялся своею должностью, как ребенок игрушкой. Тщеславный и шумливый, он не был способен ни выполнить важное поручение, ни дать серьезный совет. Напротив, сам он следовал советам далеко не серьезным, во всем подчиняясь своему более «опытному» коллеге Фабру. Фабр д'Эглантин, посредственный драматург и ловкий интриган, любитель денег, игры и наслаждений, хорошо знал слабости Дантона и умел ими пользоваться. Через две недели он завладел не только государственной печатью, но и пра-

вом ставить подпись за своего патрона, располагая ею по своему усмотрению. Лентяй в делах служебных, Фабр был довольно «трудолюбив» в сфере личного обогащения: на министерскую казну он смотрел как на свою вотчину и сделал ее прочной базой для махинаций довольно темного свойства. От него не отставал и толстый Робер, в первые же дни вырвавший из казны почти две с половиной тысячи франков на меблировку своей квартиры. Многие знали, что Фабр спекулирует на обуви, Робер—на роме... Недаром Робеспьеру, и не одному только Робеспьеру, весь этот «хвост Дантона» казался весьма подозрительным.

Беспечный министр не затруднял себя изучением деятельности своих советников и секретарей. И вообще он меньше всего занимался делами своего министерства, целиком передоверив их другим. Опасаясь упреков в безделье, он строчил реляции в Ассамблею, утверждая, что трудится, как Геркулес. Еще бы! Он вычистил авгиевы конюшни старой Канцелярии, усовершенствовал служебный аппарат, обсудил тысячи вопросов и

составил сотни декретов!

Что правда, то правда: в кабинете министра проходили почти непрерывные совещания, и за первые восемь дней своей деятельности Канцелярия выпустила 123 декрета! Но компетентные лица прекрасно знали, что на совещаниях сам господин министр почти не появлялся и ни к одному из 123 декретов не приложил своей руки. Единственное исключение составлял знаменитый циркуляр от 17 августа, написанный им лично и излагавший его «символ веры». И как раз в этом циркуляре его автор точно определил свою позицию и объяснил причину видимой нерадивости к ведомственным делам: он считал себя не министром юстиции, но министром революции, призванным к тому, чтобы возглавить не только весь Исполнительный совет, но и всю страну!

В эти дни Дантона видел и описал Бомарше.

Знаменитый комедиограф, между прочим, занимался военными подрядами. Некогда, в дни Войны за независимость, он затратил много энергии и труда, добывая оружие для американ-

ских повстанцев. Теперь он был готов отдать все благоприобретенные способности в сфере коммерции своей революционной родине. Ему удалось через некоего библиотекаря из Брюсселя заключить частный контракт на поставку ружей во французскую армию. Сделку надлежало утвердить в министерстве. Военный министр Серван привел Бомарше на заседание Исполнительного совета.

Когда автор «Женитьбы Фигаро» вошел в зал заседаний, он увидел следующую картину.

За большим столом сидели четыре человека. Трое из них сгруппировались на одном конце и настороженно смотрели в рот четвертому — рябому верзиле в ярко-красном рединготе, занимавшему остальную часть стола. Этот красный вел себя крайне экспансивно: он кричал, размахивал руками и даже бил кулаком по столу.

Бомарше, решив, что этот здесь главный, прямо подошел к нему. Будучи глуховатым, писатель пользовался обычно слуховым рожком. Однако он сразу понял, что в данном случае ему сей аппарат не понадобится: голос красного мог бы

расслышать даже мертвец!..

Бомарше знал в лицо троих членов Совета: это были Ролан, Лебрен и Клавьер. Четвертого он никогда раньше не видел, но без труда догадался, что перед ним не кто иной, как сам легендарный Дантон—глава нового правительства. . .

Бомарше не ошибся. Жорж Дантон действительно возглавил правительство. Он превосходно учел и использовал все особенности момента. Став между Собранием и Коммуной и опираясь на вторую, чтобы утешить первое, он оказался подлинным хозяином Исполнительного совета. Его коллеги сочли за правило собираться в министерстве юстиции, а министр юстиции сделался их бессменным председателем.

Заявляя весьма громогласно о своем приоритете, Дантон имел для этого и некоторые чисто формальные основания, причем почву для них создала сама жирондистская Ассамблея.

Сразу же после победы 10 августа Собрание, приступив к выбору новых министров, решило, что главную роль в Исполнительном совете будет

играть кандидат, получивший максимальное число голосов. При подсчете выяснилось, что Дантон собрал 222 голоса из 285 возможных; его коллеги Монж и Лебрен получили соответственно 154 и 91; что касается трех остальных—Ролана, Сервана и Клавьера, то они были введены в Совет без голосования, как участники мартовского министерства «патриотов».

Таким образом, Жорж Дантон, единственный демократ в жирондистском правительстве, был избран большинством голосовавших в жирондистской Ассамблее!

Как могло это произойти? Почему Бриссо и его друзья согласились на избрание Дантона?

Они были бессильны ему помешать. Уступая мощи народного восстания, они были вынуждены хоть одно место в Совете оставить за победителями. Кандидатура Дантона, разумеется, казалась им более приемлемой, нежели кандидатуры Марата или Робеспьера. Памятуя о прошлом, жирондисты полагали, что с Дантоном они договорятся легче, чем с кем-либо другим из числа демократов.

«... Необходимо было иметь в министерстве,—писал философ Кондорсе, один из соратников Бриссо,—человека, пользующегося доверием того самого народа, чье восстание опрокинуло трон; человека, который своим влиянием мог бы сдерживать презренные креатуры благодетельной славной и необходимой революции. И нужно было, чтобы этот человек своим даром слова, умом, характером не унижил бы ни министерства, ни членов Законодательного собрания, которым приходилось иметь с ним дело. Только Дантон обладал этими качествами; я голосовал за него и не раскаиваюсь в этом...»

И все же жирондистам вскоре пришлось раскаяться в своем выборе. Они ошиблись. Они допустили промах два раза подряд: первый—в марте, когда отказали Дантону в портфеле, и второй—в августе, когда вручили ему этот портфель. Дантон, прежде коварно обманутый Жирондой, Дантон, ныне боготворимый народом и связавший свою судьбу с революционерами-демократами, вовсе не собирался подыгрывать вчерашним врагам, тем более что и сегодня они

не были ему друзьями.

Подчинить своей воле остальных министров для Жоржа оказалось делом нетрудным. Он видел их насквозь. Все они, политики, отнюдь не хватавшие звезд с неба, относились к нему если не с почтением, то, во всяком случае, с известной долей робости.

Морской министр Монж прославился как великий математик, но в делах своего министерства он смыслил гораздо меньше, чем в теоремах или уравнениях. Человек честный и добросовестный, он понял, что административный груз ему не по плечу, и с самого начала решил слепо повиноваться Дантону. «Так хочет Дантон,—отвечал ученый на любые возражения и добавлял с добродушной усмешкой:—Если я с ним не соглашусь, он велит меня повесить!»

Лебрен, министр иностранных дел, был прежде всего редактором и журналистом. Он имел обширнейшие связи в литературном мире, но не очень хорошо знал мир зарубежных интриг. Впрочем, если ему не доставало политического

кругозора, то он все же был достаточно умен, чтобы следовать за более опытным и смелым, а посему вслед за морским министерством Дантон овладел и министерством иностранных дел.

К его помощи вскоре стал прибегать и военный министр Серван, быстро сообразивший, что патриотизм, ораторское искусство и энергия Жоржа в военном министерстве в дни тяжелой оборонительной войны важны более, чем где бы то ни было.

Женевец Клавьер, ведавший финансами, мечтал о революции на своей первой родине, и одного сочувствия этой идее, выраженного Дантоном, было достаточно, чтобы пленить душу министра финансов. Оставался Ролан, министр внутренних дел.

Тут все оказалось сложнее.

И не потому, чтобы Жозеф Ролан де ла Платьер, провинциальный буржуа, главный лидер мартовского министерства жирондистов, был талантливее или принципиальнее своих коллег. Нет, это был скорее комический персонаж из водевиля—чопорный педант и тугодум, простец

с лицом квакера и манерами лавочника, выставивший повсюду напоказ свои скромность и честность, которые никак не могли заменить ему отсутствующие ум и волю.

Но у Ролана была жена, дама совсем особенная, о которой счастливый супруг доверительно шептал кое-кому из своих ближайших друзей:

– Моя Манон не чужда делам моего министерства. . .

Старик Ролан скромничал. Точнее было бы сказать, что все дела его министерства целиком и полностью взяла на себя его Манон.

Вот с этой-то хитроумно-очаровательной Манон и пришлось столкнуться не на живот, а на смерть всесильному министру революции.

В тот самый день и почти в тот же час, когда Жорж водворился в особняке на Вандомской площади, чета Роланов снова заняла покинутый ими три с лишним месяца назад отель министерства внутренних дел—роскошный и вычурный дворец на улице Неф-ле-Пти-Шам, построенный некогда по проекту Лево для знаменитого

графа де Лионна.

Госпожа Ролан уверенно поднялась по парадной лестнице, ведущей из вестибюля на первый этаж, прошла несколько залов, двери которых услужливо распахивали знавшие ее лакеи, и очутилась в нарядном будуаре. Бегло оглядев комнату и убедившись, что здесь почти ничто не изменилось, молодая женщина положила кокетливую шляпку на туалетный столик и подошла к большому овальному зеркалу.

Она долго рассматривала свое изображение.

И фразы, которым вскоре предстояло лечь на страницы ее записок, сами собой складывались в беспокойном и тщеславном уме. . .

«Моя фигура совершенна: высокий рост, стройные, хорошо поставленные ноги, округлые бедра, широкая и превосходно очерченная грудь, покатые плечи, строгая, но грациозная осанка, быстрая и легкая поступь—вот что может заметить всякий с первого взгляда. . . »

Манон стянула перчатки и бросила их рядом со шляпкой.

«Мои руки округлы, и если кисти их не ка-

жуются чрезмерно малыми, то только лишь потому, что артистичны пальцы: тонкие и удлинённые, они говорят о тонкости души избранной натуры. . . »

Манон поправила пышные черные волосы и принялась изучать свое лицо. Она знала, что не все считают его безукоризненно правильным. Камилл Демулен, этот взбалмошный мальчишка, как передавали, даже не находит его красивым. . .

Манон нахмурилась, но тут же улыбнулась. Легким движением пальцев она помассировала собравшуюся было в морщинки кожу на лбу и у глаз.

«Для того чтобы нравиться, мне необходимо немножко этого захотеть, ибо красота моего лица не в классических его чертах, но в обаятельности выражения. . . Мой рот—не могу отрицать этого—несколько великоват; можно найти тысячу более красивых по форме, но ни одного более нежного и соблазнительного в улыбке!.. Мой взгляд—открытый, искренний и живой—иногда удерживает, гораздо чаще привлекает и почти

всегда очаровывает!...»

Манон весело рассмеялась. Она была счастлива. Она чувствовала себя не то ребенком, получившим долгожданное лакомство, не то завоевателем, покорившим, наконец, вражескую страну. Покорившим после долгих трудов, хитрых уловок и жестоких провалов. И, придавая в одержанной победе столь важную роль своей внешности—она была слишком женщиной,—Манон отнюдь не собиралась умалять роли своего ума и своего умения руководить людьми.

Ее отец, Грасьен Флипон, резчик по дереву и камню, некогда думал приучить дочь к своему ремеслу. Плохо же знал он ее! Девяти лет от роду девочка брала в церковь вместо молитвенника «Жизнеописания» Плутарха, в одиннадцать—увлекалась сочинениями Гольбаха, Вольтера и Дидро, в тринадцать—возмущалась социальным неравенством. Ее, правда, мало интересовали бедняки—ремесленники, крестьяне, слуги. В душе юной Манон зрело необъятное честолюбие. Она ненавидела привилегированных—попов

и аристократов—в первую очередь потому, что те, не имея никаких достоинств, занимали избранное место в жизни, место, которое должна бы иметь она, Манон Флипон!

С ранних лет она верила в свой особенный жребий. Но что могла сделать даже самая честолюбивая и деятельная женщина в старом мире? В лучшем случае—составить хорошую партию. И опять-таки: благородные были не для нее. Юная, красивая, чувственная, она долго искала, прежде чем нашла среди мужчин своего круга того, кому решилась вручить свою судьбу. Выйдя в двадцать шесть лет за пятидесятилетнего Ролана, она смотрела на своего почтенного супруга как на вероятный мостик к успеху. Успех принесла революция. Сделав ставку на единомышленников Бриссо, Манон сблизилась со многими видными жирондистами, пленила их, превратила свой дом в политический салон и, наконец, добилась желаемого: Жозеф Ролан стал главой мартовского министерства «патриотов»...

Ее муж—глава правительства, самые умные люди страны—ее почитатели, а красивейший из

них, молодой Бюзо, страстно добивается ее любви! Чего же еще желать? Увы, ничто не прочно в этом мире, особенно в дни революции. Не просуществовав и трех месяцев, министерство пало. . . И снова борьба. Снова бесконечные интриги, тайные совещания, надежды. . . Клевреты Бриссо и госпожи Ролан не останавливаются ни перед чем. Они не хотят падения трона, но именно падение трона снова приводит их к власти! Смотря с тайным злорадством на то, как королеву аристократов, блистательную Марию Антуанетту, влекут в Тампльскую темницу, королева буржуазии, прекрасная Манон, склонна считать народное восстание 10 августа своей победой. Разве все нити не сходятся опять в ее руках? Разве не ей подвластны партия, Ассамблея, министры?.. Министры. . . Но тут госпоже Ролан приходится все чаще обращать свой взор, сначала удивленный, затем гневный, на шумного и нескладного гиганта с рябой физиономией, который определенно становится на ее пути и вовсе не склонен уступать дорогу. И волна ненависти медленно поднимается в груди жирондистской Цирцеи. Ненави-

сти страшной, беспощадной, в огне которой либо будет испепелен тот, кто осмелился ей препятствовать, либо сгорит она сама. . .

В первые дни Дантон попытался наладить добрососедские отношения. Жорж запросто навещал Роланов, оставался—иногда вместе с Фабром или Демуленом—у них обедать, часто беседовал с Манон. Однако спустя пару недель он понял, что контакта нет и быть не может. Позднее госпожа Ролан уверяла, что ее оттолкнули грубость Дантона, его ужасное лицо, его мужицкие манеры. Утонченная и купавшаяся в лести «аристократка духа» привыкла видеть всех лежащими перед нею ниц. Добродушный Монж получил прозвище «медведя» только за то, что не умел, как должно, расшаркиваться. А Жорж Дантон если и умел, то не желал, и это было гораздо больше. Трибун хотел стать с Роланами на равную ногу. Это возмутило Манон, претендовавшую на единовластие. Жорж, видя открытое недоброжелательство, пожал плечами и прекратил свои визиты. Что ему, в самом деле,

до этой самовлюбленной бабенки, этой «королевы Коко»! Пускай себе вместе со своим лукавым старцем и со всей жирондистской сворой плетет какие угодно интриги! Дантон их не боялся. Он чувствовал свое могущество и понимал, что клика Бриссо—Роланов трепещет перед народом, который отнюдь не сложил оружия и который ему, Дантону, служит верной опорой. Жорж знал, что *сейчас* жирондисты не начнут с ним войны. Где им, этим трусливым философам! Они будут дрожать и прятаться за его широкую спину. И покуда эта спина будет служить им защитой, ярость честолюбивой Манон ему не страшна. . .

Необходима смелость

Как-то раз, в конце августа, Дантон задумчиво брел по улице. Он видел бегущих людей и не замечал их; он слышал крики, но не вникал в их смысл. Когда, наконец, он очнулся, то понял, что попал в засаду. Тесным кольцом охватила его огромная толпа женщин—голодных, измученных, злых. Это были жены рабочих и ремесленников, матери и сестры юных солдат революции, несчастные, простаивавшие ночи у закрытых лавок в ожидании четвертушки хлеба или горсти фасоли.

Женщины были настроены решительно. Они узнали Дантона, и они знали, что это главный хозяин, а значит, с него и главный спрос. Они намеревались призвать министра к ответу: пусть

объяснит, почему короля нет, а голод все увеличивается, почему кормильцев забирают в армию, а враг подходит все ближе к столице, почему предатели аристократы, проливавшие народную кровь в день восстания, хотя и арестованы, но не отвечают перед судом. . . И много еще всевозможных «почему» полетели с разных сторон.

В первый миг Жорж чуть не растерялся. Это были не парламентские дебаты, не споры в Исполнительном совете. Трибун видел разъяренные лица и сжатые кулаки, на его голову сыпались ругательства и проклятия. Нет, здесь не отделаешься обтекаемыми фразами.

Оттолкнув протянутые руки, готовые вцепиться в его редингот, Дантон вскочил на тумбу.

И первые его слова прозвучали с яростью, не меньшей, чем ярость нападавших. На ругательства он ответил еще более сочными, непристойными ругательствами. Его искаженное лицо превратилось в страшную маску. . .

Женщины оторопели и отхлынули.

Тогда, воспользовавшись передышкой, Жорж сбавил тон. Он заговорил тихо и проникновенно.

Он объяснял.

И столько внутренней силы было в его спокойных словах об истерзанной Франции, о необходимости временных жертв, о роли и месте женщин в общей борьбе, столько мягкости и заботы выражало его вдруг одухотворившееся лицо, по которому текли слезы, что пораженные слушательницы забыли о своих проклятиях. Они тоже плакали, плакали громко, навзрыд, вытирая глаза подолами юбок и заскорузлыми от работы обветренными руками.

Дантон мог гордиться: он на практике—и какой практике—проверил силу своего ораторского убеждения!..

Но случай этот заставлял все же сильно призадуматься.

Уж если он, общепризнанный кумир народа, подвергся подобному наскоку, значит положение было угрожающим.

Положение было более чем угрожающим: оно приближалось к катастрофе.

Международная изоляция Франции, которая

маячила призраком со времени Вареннского кризиса, в августе стала реальностью. Соседние государства одно за другим отзывали своих послов. Россия демонстративно порвала всякие отношения с «мятежниками», Англия присоединила к этому ряд недвусмысленных угроз, Испания открыто примкнула к австро-прусской коалиции.

Двадцать третьего августа министр иностранных дел Лебрен вынужден был констатировать, что удовлетворительные отношения сохранены лишь с Данией, Швецией и Голландией; впрочем, голландский посланник вскоре также потребовал свои верительные грамоты.

Одновременно с этим стотысячная армия герцога Брауншвейгского с разных сторон оцепила французские границы и 19 августа пересекла их. Оставив один из вспомогательных корпусов против Седана, другой—против Меца и Тионвиля, немецкий генерал повел основные силы к Маасу, намереваясь через Лонгви и Верден двинуть прямо на Париж.

В Седане, склонившись над картой и рассматривая узкую полосу Аргонского леса—небольшой

горной цепи к юго-западу от Вердена, командующий северной армией генерал Дюмурье шептал:

– Это французские Фермопилы.

Действительно, Аргонский лес был последним препятствием на пути интервентов к столице, последним рубежом, где французы могли удержать врага.

Но удержать врага могла лишь боеспособная и достаточно численная армия.

Франция ею не располагала.

Войско Дюмурье состояло из кадровых войск, сильно разбавленных плохо обученными новобранцами. Среди французских генералов и офицеров по-прежнему было много монархистов, втайне помышлявших об измене.

Союзники, кроме действующей армии, обладали нетронутым сорокатысячным резервом.

На какой резерв могло рассчитывать французское командование?

На измученную страну, бедствующий народ, жестокую междоусобную схватку, разгар которой совпал с вторжением иноземных армий.

Санкюлоты, щедро омывшие своей кровью Карусельную площадь в день 10 августа, считали победу, одержанную над деспотизмом, не концом, но лишь началом борьбы.

Прежде всего было необходимо добить контрреволюцию, покончить с аристократами, закрепить достигнутые успехи.

Повстанческая Коммуна с жаром отдалась этому делу. В первые же дни после восстания она провела многочисленные аресты среди явных и тайных роялистов, а также вырвала у Собрания декрет о Чрезвычайном трибунале, который должен был судить врагов народа.

Жирондисты попытались свести эти меры на нет.

Всячески противясь новым арестам, они превратили трибунал в мертворожденный орган, который, вместо того чтобы карать изменников, оправдывал их.

Марат пламенно разоблачал происки партии Бриссо.

«... Низкие плуты,—писал он,—хотели еще накануне восстания декретировать контрреволю-

цию, предать народ кинжалам наемной солдатчины и погрести Париж под развалинами. Они превратились вдруг в честных людей, добродетельных граждан, неподкупных патриотов. Не сомневайтесь в том, что враги свободы будут вечно приспешниками деспотизма. Изменники будут постоянно замышлять гибель родины...»

Что же думал по поводу всего этого новый министр юстиции Жорж Дантон? Был ли он согласен с Бриссо и его друзьями, желавшими, как некогда их предшественники фельяны, остановить революцию? Или же он искренне сочувствовал санкюлотам и разделял их надежды?

Поначалу Жорж Дантон оставался верен своему кредо. Он не прочь был и дальше разыгрывать роль «третьей силы».

Но он лучше, чем окружавшие его, понял размер внешней угрозы.

Тем более что он знал нечто, чего не знали они...

Однажды ночью, когда Дантон вместе с Фабром и Демуленом занимался разбором бумаг, к

нему в Канцелярию пришел старый знакомый по округу Кордельеров, элегантный доктор Шеветель.

Доктор, заметно взволнованный, поведал друзьям о тайне, которая отягощала его душу.

Среди его пациентов был некто Ла-Руери, аристократ и маркиз. Шеветель, вылечивший Ла-Руери, стал пользоваться его доверием настолько, что оказался косвенно втянутым в антиправительственный заговор. . .

Путаясь и запинаясь, доктор кое-как изложил существо заговора. Маркиз и его сообщники сделали ставку на провинции запада—Вандею и Бретань. Бретонские крестьяне, забитые и невежественные, испокон веков жившие в патриархальных традициях, находились под сильным влиянием помещиков и контрреволюционного духовенства. Эти «благодетели» упорно внушали мужикам, что во всех их бедствиях повинны «смутьяны из Парижа».

Заговор пустил глубокие корни. Из Бретани в столицу посыпались миллионы фальшивых ассигнаций для размена на золото. Ла-Руери

рассчитывал на поддержку англичан и прусско-австрийской армии. Он хотел приурочить начало восстания в Бретани к тому часу, когда интервенты одержат решающие победы в Шампани; планировалось даже, что бретонские роялисты вступят в Париж через Елисейские поля, в то время как союзники будут проходить через ворота Сен-Мартен и Сен-Дени. . .

Дантон хорошо понимал, что революционный Париж зажат в тиски. Внутри—армия социального врага, аристократы и фельяны, которые не желают признавать факта падения монархии и не теряют надежды на реванш. Они готовят заговоры в столице и провинции. И хотя часть их уже брошена в тюрьмы, они не стали менее опасны.

Этой армии противостоят парижские санкюлоты, возглавляемые Коммуной.

Извне—армии иноземного врага, которые одерживают успех за успехом и быстро движутся к своей цели.

Этим армиям нечего противопоставить.

Конечно, из санкюлотов Парижа и соседних

департаментов можно было бы составить народное ополчение, бросить его на фронт и удержать противника, пока вступят в строй новые, регулярные части.

Но тогда армия внутреннего врага возобладает в Париже. Тогда не избежать контрреволюционного мятежа в сердце страны. А это при наличии интервентов, идущих с востока, и роялистов, поднимающих голову на западе, будет означать неотвратимую гибель.

Значит, выход один: нанести *почти одновременно* удары и по внутреннему и по внешнему врагу. Пусть санкюлоты совершат правосудие у себя дома, а затем, не переводя дыхания, двинутся против иноземцев и прикроют собой столицу!..

Этот смелый план, зародившийся в голове Дантона, вполне совпадал с действиями Коммуны. Из ее вождей особенно хорошо понял Жоржа Марат. В конце августа между Другом народа и министром революции установилось полное единодушие.

В день, когда трибун плакал вместе с женами

санкюлотов на одной из парижских улиц, слезы его не были лицемерны.

Спасению Франции, Франции революционной, расчистившей путь новым силам, он был готов отдать всю свою энергию, весь жар своей души.

И в этом было его величие.

Двадцатого августа прусская армия осадила Лонгви.

Три дня спустя крепость пала.

Об этом событии парижане узнали только к вечеру двадцать пятого. Но уже накануне испуганные депутаты Ассамблеи и министры-жирондисты стали подумывать о бегстве из столицы.

В Исполнительном совете произошла схватка.

Ролан доказывал, что Конвент следует созывать где-нибудь подальше от центра, например в Туре или в Блуа. Он считал, что нужно немедленно покинуть Париж, захватив с собою казну и короля. Другие министры его поддержали. Им было хорошо известно, что эту мысль подал

сам Бриссо, боявшийся столичной бедноты много больше, чем интервентов.

Тогда резко вскочил Дантон.

— Не забывайте, что сейчас Франция здесь, в Париже. Если вы оставите этот город врагу, вы погубите и себя и родину. Париж надо удержать *любыми средствами!*..—Он тихо добавил:—Я заставил приехать сюда мою семидесятилетнюю мать и моих детей. Они прибыли вчера. Прежде чем пруссаки войдут в Париж, пусть погибнет моя семья. . . —И, повернувшись к министру внутренних дел, опять повысил голос.—Ролан, берегись говорить о бегстве! Страшись, чтобы народ тебя не услышал!..

Жорж хорошо знал, чем припугнуть своих трусливых коллег. Вопрос об эвакуации Парижа был снят с обсуждения.

На следующий день парижане читали афишу министерства юстиции, расклеенную по всему городу: «... Граждане!

Ни один народ на земле не может добиться свободы без борьбы. В нашей среде немало пре-

дателей. Если бы не они, борьба была бы давно окончена... Будьте едины и спокойны, обсуждайте мудро вопрос *о средствах самозащиты*. Решайте смело, и ваша победа обеспечена!..»

А через два дня автор этой прокламации произнес в Собрании зажигательную речь, обращенную через головы депутатов к парижскому народу:

– Наши враги заняли Лонгви. Но Лонгви—это еще не вся Франция. Наши армии еще целы...

Прежде всего оратор предостерегает от безнадежности, отчаяния, упадка. Нечего расклеиваться! Если парижане и федераты мощным усилием сумели сбросить деспотизм в столице, то движение всей нации наверняка вышвырнет интервентов!..

Дантон подчеркнул, что уже призваны тридцать тысяч новобранцев в центральных департаментах. Набор будет продолжен, охватывая и столицу и провинцию. Нынешняя война должна стать общенародной. Но для этого нужно мобилизовать все силы.

– Когда корабль терпит бедствие, экипаж бро-

сает в море все, что может увеличить опасность. Точно так же *все, что может вредить нации, должно быть выброшено из ее недр, а все, что может послужить ей на пользу, должно быть передано в распоряжение муниципалитетов* под условием вознаграждения собственников.

Дантон предлагает конкретные меры: назначить комиссаров, которые бы воздействовали на общественное мнение в департаментах, повсюду собирать ополченцев, в целях реквизиции оружия—провести домашние обыски, задерживать и подвергать аресту всех подозрительных, наладить постоянную связь между Парижем и остальной страной.

И главное—не медлить, действовать отважно, единым порывом!

— Разве мы имеем право ждать врага, укрывшись за стенами города, если наш авангард будет разбит? Мы все должны пойти навстречу ему! Без этих мер, без обращения к народу мы ничего не достигнем. Но французы захотели быть свободными, и они будут свободными!..

Горячие аплодисменты, почти непрерывно звучавшие на галереях для публики, показали, что голос трибуна был услышан.

Основная мысль этой речи, как и предшествующей ей прокламации, проста и ясна: *спасение народа только в руках самого народа*. И никакие *крайности* не должны останавливать патриотов, ибо родина превыше всего и во имя ее защиты с корабля революции нужно безжалостно выбросить все то, что мешает четкости его хода.

Не странно ли? Это говорит человек, который всего две недели назад предостерегал народ от «самосуда» и «неразумной мести», который становился в позу миротворца и хотел играть роль «третьей силы»!

Но все дело в том, что Жорж Дантон не был заурядным обывателем. При всех слабостях и пороках, свойственных ему и его классу, он оставался большим революционером, великим, мастером революционной тактики. И когда наступил самый трудный час в жизни его страны, когда стали под угрозу все завоевания буржуазной

революции, он сделал все, чтобы предотвратить катастрофу, предотвратить хотя бы ценою столь нелюбимых им «крайних мер».

Умеренные никогда не простили Дантону этих дней. В их глазах он навсегда остался «кроваво-жадным чудовищем». Его не спасло даже то, что в своей речи он дважды попытался оградить права собственников.

Зато Коммуна приветствовала Жоржа, как своего, и последовала всем тем советам, которые прямо или в завуалированной форме он ей преподнес.

– Измена!.. Париж оцепенел.

Закрылись кафе и зрелищные предприятия. Повсюду дефилировали патрули. Выезд из города был запрещен. Удвоенные караулы несли круглосуточное дежурство у всех застав.

– Измена!..

Это слово змеей ползло по улицам и площадям, заползало во дворы, в дома, в квартиры. . .

Забитые ставни, погашенные огни, вымерший город. . .

В ночь с 29 на 30 августа по приказу Коммуны были проведены повальные обыски. Искали оружие. Новые сотни арестованных размещались по тюрьмам. . .

Непрерывно трубили военные горны. Сборы, сборы, сборы. Срочно сформированные отряды ополченцев шли на фронт. Под Парижем возводили укрепленную линию обороны—рыли окопы, поднимали насыпи.

В провинции, набирая добровольцев, яростно орудовали комиссары Дантона, в большинстве—старые кордельеры. К министру шли бесконечные жалобы. Жаловались на грубость комиссаров.

Дантон смеялся.

— Они, вероятно, думали, что мы пошлем им барышень!..

На пороге был сентябрь 1792 года. . .

Утром 2 сентября, в воскресенье, по столице разнеслась весть:

— Верден пал.

Известие было преждевременным. Город еще

держался. И все же обостренное чутье не обмануло парижан. Судьба крепости была уже решена. В результате измены, после убийства мужественного коменданта Борепера, Верден капитулировал именно в этот день.

Оцепенение сменилось паникой. Слухи нарастали. Уже утверждали, что занят Шалон, что прусская кавалерия мчится к Парижу, что через два-три дня все будет кончено.

Коммуна обратилась к парижанам с воззванием:

«К оружию, граждане, враг у ворот! Немедленно собирайтесь на Марсовом поле!»

Члены Коммуны разошлись по своим секциям.

Ровно в девять утра приступила к работе Ассамблея.

Обстановка заседания была нервной. Взволнованные, растерянные жирондисты не могли не одобрить мер, принятых санкюлотами.

Прибыла делегация из Ратуши. Коммуна предлагала в этот грозный час объединить все

усилия.

И тут на ораторской трибуне появился Дантон.

Он был спокоен и грозен.

Это был его час.

Никогда еще голос его не звучал так уверенно и так громко.

Он произнес речь, обессмертившую его имя.

Первые фразы оратора заставили Ассамблею встрепенуться и устыдиться:

– С чувством глубокого удовлетворения я, как министр свободного народа, спешу сообщить вам радостную весть: спасение отечества не за горами. Вся Франция пришла в движение, все горят желанием сражаться...

Часть народа уже готова лететь к границам; часть—останется рыть траншеи; остальные, вооруженные пиками, будут охранять внутреннюю безопасность...

Это были прекрасные, мужественные слова. Кто мог бы выбрать более верный тон речи? Рас-терянности оратор противопоставил твердость,

сомнениям—веру в победу.

– Париж готов всецело поддержать великие усилия народа. Сейчас, когда я говорю с вами, комиссары Коммуны торжественно призывают граждан вооружаться и идти на защиту родины.

В этот решительный момент, господа, вы можете открыто признать, как велика заслуга Парижа перед всей Францией.

Национальное собрание, со своей стороны, должно стать подлинным Военным комитетом.

Мы просим вашего содействия в работе; помогите нам направить по должному пути этот великий народный подъем, назначайте дельных комиссаров, которые будут нам помогать в этих великих мероприятиях.

Мы требуем смертной казни для тех, кто откажется идти на врага или выдать имеющееся у него оружие. Необходимы меры беспощадные. Когда отечество в опасности, никто не имеет права отказаться служить ему, не рискуя покрыть себя бесчестьем и заслужить имя предателя отчизны.

Мы требуем, чтобы были изданы инструкции,

указывающие гражданам их обязанности.

Мы требуем, чтобы были посланы курьеры во все департаменты—оповестить граждан обо всех декретах, издаваемых вами. . .

Последние слова речи, которых не могли заглушить восторженные крики и рукоплескания, воспринимались как пламенный призыв, как подлинный гимн мужеству:

– Набат, уже готовый раздаться, прозвучит не тревожным сигналом, но сигналом к атаке на наших врагов. Чтобы победить их, *нам нужна смелость, смелость, еще раз смелость—и Франция будет спасена!*..

Дантон чувствовал, какое впечатление произвела его речь. Спускаясь с трибуны, он заметил:

– Я хорошо их воодушевил; теперь мы сможем рвануться вперед!

Законодательное собрание не рискнуло отвергнуть ни одного из предложений министра юстиции. Все они были приняты под взрывы аплодисментов.

Более ста семидесяти лет прошло с тех

пор. Давно погребены историей мелкие делишки Жоржа Дантона, его житейские интересы, его неровное, противоречивое поведение в политике.

Но слова, сказанные оратором-демократом в день 2 сентября 1792 года, живут и поныне, и всегда будут живы.

И недаром вождь мирового пролетариата В. И. Ленин повторил эти слова в канун Великой Октябрьской революции¹⁷.

Все те, кто борется за свободу, за счастье людей, кто бесстрашно стремится в светлое завтра, не могут сегодня не вспомнить о славном призыве Дантона.

Ибо смелость в борьбе есть высшая мудрость революционной тактики.

Первый раз набат ударил в полдень, в тот самый час, когда капитулировал гарнизон Вердена. После этого он уже не смолкал. Выстрелила сигнальная пушка. Забили барабаны.

Над Ратушей взвился черный флаг.

¹⁷[17] В. И. Ленин, Соч., т. 34, стр. 383.

По призыву Коммуны народ собирался на Марсовом поле. Там раздавали оружие и строили батальоны волонтеров.

Рядом с комиссарами Коммуны находился и Жорж Дантон. Сразу после произнесения речи он покинул Собрание и, забежав ненадолго в министерство, прибыл на Марсово поле.

Здесь его голос снова зазвучал в полную силу.

Он благословлял юных добровольцев на правое дело. Он объяснял, что судьба родины и революции отныне в их руках.

Дантон был спокоен, хотя хорошо знал, что в это время должно было произойти во многих районах столицы. . .

Незадолго перед тем, еще находясь в министерстве, Жорж беседовал со своим старым знакомым, журналистом Прюдомом.

Прюдом, страшно перепуганный звоном набата, прибежал к министру, чтобы узнать причину тревоги.

Дантон положил руку на плечо журналиста.

— Успокойся, этот набат возвещает победу.

— Но говорят об убийствах!—Дантон задумал-

ся.

– Да, нас всех должны были перерезать ми-
нувшей ночью. Этим негодьям аристократам, си-
дящим в тюрьмах, доставили ружья и кинжалы.

– Но каким же образом думают предотвра-
тить выполнение заговора?

– Каким образом? Озлобленный народ, узнав
об этом вовремя, сам расправится с заговорщи-
ками. . .

И на все возражения Прюдома Жорж отвечал
лишь одной фразой:

– В настоящее время только крутые меры мо-
гут привести к результату, все же остальное бес-
полезно.

Министр революции не мог не знать, что про-
исходило в парижских тюрьмах, ибо все это было
одной из частей им же самим составленного пла-
на. . .

Впрочем, не следует думать, что так назы-
ваемые «сентябрьские убийства» произошли ис-
ключительно вследствие воли Дантона.

Правильнее будет сказать, что Дантон их

предвидел и—предвидя, использовал.

Простые люди Парижа, которые шли на фронт, чтобы защитить родину, были готовы отдать свои жизни, но не желали действовать вслепую. Они понимали, что революция еще не закончена. Они оставляли в столице своих жен и детей, и на кого же? На подручных Бриссо и госпожи Ролан, которым они не имели никаких оснований верить, в которых уже разглядели своих тайных врагов!

Но это была лишь часть, и притом меньшая часть, беды. Главное горе заключалось в том, что тюрьмы Парижа были до отказа набиты *явными* врагами—роялистами и фельянами, врагами лютыми, беспощадными, которые с нетерпением ждали интервентов и которые не остановились бы ни перед чем, лишь бы снова надеть на народ оковы.

Между тем законное правосудие бездействовало.

Значит, оставалось правосудие незаконное, стихийное, правосудие, которое, будучи далеким от мести, стремилось лишь к тому, чтобы огра-

дить завоеванное народом.

— Если нам суждено погибнуть,—рассуждали санкюлоты,—пусть прежде погибнут злодеи, хотевшие задушить революцию. Пусть не восторжествуют они над нами, пусть не прольют крови наших близких в наше отсутствие.

Дантон очень хорошо понимал эти настроения и отнюдь не собирался им препятствовать. Наоборот, он считал их за благо. Ведь в отличие от своих коллег—жирондистов он также считал, что революция *еще не закончена*, хотя и не собирался доводить эту революцию до пределов, которые были желанны санкюлотам.

И именно поэтому он предпочитал, чтобы санкюлоты остановили свое внимание на тюрьмах: это было лучше, чем направлять их внимание на социальные проблемы. . .

«Сентябрь» бушевал над Парижем в течение всего трех дней: второго—все началось, четвертого—в основном было закончено. Впрочем, «бушевал»—не то слово. Народное правосудие проходило в полном порядке, спокойно и

уверенно, при строгом соблюдении форм, установленных выборными судьями.

Даже монархисты-очевидцы в своих мемуарах не осмеливались отрицать, что санкюлоты не карали за убеждения или малозначительные проступки. Часто после короткого допроса они не только давали свободу заключенному, но торжественно провожали его до самых дверей его жилища.

Но они были беспощадны к неприсяжным священникам, повинным в контрреволюционной пропаганде, к царедворцам и защитникам Тюильри, к фальшивомонетчикам и агентам низвергнутой монархии.

Наказание было одно—смерть.

В ближайшие дни подобное движение имело место в Версале, Реймсе, Мо и Лионе. Активность народа стимулировали специальные призывы, посланные из Парижа в пакетах министерства юстиции.

Точное количество казненных не установлено. По-видимому, оно не превышало полутора тысяч человек.

Позднее вожаки Жиронды обливали Коммуну и якобинцев-демократов ушатами грязи и клеветы, обвиняя их в подготовке «сентябрьских убийств».

Спрашивается, как же сами они вели себя в эти страшные дни?

Они прежде всего дрожали за свои собственные жизни. Будучи облечены высокими должностями и полномочиями, они ничего не сделали для того, чтобы прекратить импровизированный суд народа.

Лицемерный Ролан, напротив, писал 3 сентября:

«... На события вчерашнего дня история должна, быть может, *набросить покрывало*. . . Я знаю, что народ, хотя и ужасен в своей мести, но вносит в нее своего рода *справедливость*. . . »

Что же касается Дантона, то он никогда не стремился «обелить» себя от обвинений. Он не только не отрицал своего сочувствия «сентябристам», но даже заявлял с полной откровенностью:

– Я желал этого. Это было необходимо.

И тем не менее Дантон не был бы Дантоном, если бы, одной рукой проводя «крайние меры», другой не стремился придерживать эти меры там, где они прямо или косвенно задевали его личные интересы.

В прошлом Жорж был довольно тесно связан с некоторыми из видных представителей старого мира. Они оказали ему когда-то те или иные услуги. И он не желал им зла. В эти дни он выручил многих из них.

В ночь на 3 сентября, в самый разгар чистки тюрем, Дантона посетил его бывший коллега по Королевским советам адвокат Лаво, тот самый Лаво, который оставил потомству картинное описание первого выхода Жоржа на арену революции. Лаво был роялистом. Дантон, часто встречая его на улице, ворчал себе под нос:

– Ты угодишь на гильотину, аристократ! На что тот неизменно отвечал:

– Ты угодишь туда прежде меня!

Теперь Лаво был бледен и удручен. Он понимал, что смерть стоит у него за плечами. И он просил, чтобы министр дал ему возможность

выбраться из Парижа и из Франции...

Дантон долго молча писал. Потом протянул посетителю заполненный документ.

– Вот твой паспорт, иди...

Точно так же помог он эмигрировать бывшему члену Учредительного собрания Талейрану и тайному распорядителю секретных королевских сумм, из которых и сам прежде черпал, Омеру Талону; он спас из тюрьмы друга Ламетов Дюпора; ему, равно как и самому Шарлю Ламету, он лично оформил зарубежные паспорта...

Наконец, Жоржу Дантону оказался обязан свободой и жизнью не кто иной, как его соперник и враг, сам... господин Ролан!

Второго сентября вооруженные санкюлоты ворвались в министерство внутренних дел. Они искали «подлого Ролана». На руках у них оказался мандат, выданный Коммуной: старику не забыли его планов бегства из Парижа...

К счастью для министра внутренних дел, у него в это время находился Дантон. Жорж потребовал мандат, порвал его на куски и принял-ся отчаянно ругаться. Он заявил, что не допустит

ущемления престижа правительства. Санкюлоты из уважения к министру революции уступили. . .

Ролан и не подумал оценить благородство соперника, а его жена, прекрасная Манон, заметила в частном письме:

«. . . Все мы сейчас находимся под ножами Марата и Робеспьера; эти люди возбуждают народ против Ассамблеи и Совета. . . Мой друг, свирепый Дантон царствует, Марат—несет впереди него факел и кинжал, а мы, его жертвы, ожидаем своей участи».

Мужество, твердость, сплоченность, проявленные французским народом в первые дни сентября, принесли свои плоды. В течение ближайшей недели из столицы на фронт ежедневно направлялось до двух тысяч вооруженных и обмундированных добровольцев.

Перед Аргонским лесом был создан железный заслон.

Французские Фермопилы оказались непреодолимыми.

Когда встревоженный герцог Брауншвейгский

прислал своих представителей в лагерь Дюмурье, французский генерал Дюваль заметил прусскому уполномоченному:

– Вы воображали, что скоро вступите в Париж. . . Но ваш поход кончится тем же, чем кончился поход Карла XII на Москву: вы найдете свою Полтаву. . .

Дюваль не ошибся.

Двадцатого сентября союзники нашли «свою Полтаву». Ею оказалась притаившаяся у Аргонского леса маленькая деревушка Вальми.

При Вальми Франция одержала первую победу над контрреволюционной коалицией.

Через несколько дней войска Дюмурье, перейдя в наступление, вторглись на территорию Бельгии.

Угроза удушения временно отступила. Революционная Франция была спасена.

И в это благородное дело спасения своей отчизны внес немалую лепту Жорж Дантон.

Дни выборов

Выборы в Конвент проходили в очень сложной обстановке.

К их началу еще не был решен вопрос о государственном устройстве новой Франции.

Если Коммуна рассматривала свержение монархии как переход к республике, то жирондисты придерживались совсем иного взгляда. Их пресса выдвигала и восхваляла новых кандидатов на престол, в числе которых оказался даже... герцог Брауншвейгский! Законодательное собрание, не высказываясь прямо, втайне надеялось, что королевскую власть удастся сохранить.

События, однако, развивались совсем не по плану партии Бриссо. Республиканское движение быстро распространялось по стране. Ассам-

блея получала из разных городов и областей многочисленные адреса, ясно и недвусмысленно требовавшие покончить с монархическим строем.

– Самодержавная нация, и никаких королей!— так кричали и на Центральном плато, и в Вогезах, и в далеком Лангедоке.

Жирондисты вынуждены были уступить напору. Их газетная кампания прекратилась. Они боялись масс и не хотели их раздражать. Ведь, кроме всего прочего, они помнили, что время «активных граждан» кончилось и приходится слишком дорожить голосами простых избирателей!..

Именно в этих видах лидеры Собрания, до сих пор ничего не сделавшие для крестьянства, теперь лихорадочно спешили провозгласить кое-какие аграрные реформы.

Был принят закон о наделении крестьян участками за счет общинных и эмигрантских земель; особым декретом отменялись все невыкупленные феодальные права; прекращались судебные дела, связанные с претензиями помещиков к крестьянам.

Все это звучало достаточно громко. И хотя большая часть новых реформ осталась лишь на бумаге, сейчас они принесли свой эффект: деревня в основном проголосовала за жирондистов.

Их поддержали также многие крупные города юга и запада Франции.

Совершенно иная картина наблюдалась в Париже.

Париж давно уже разгадал закулисную игру жирондистов. Рабочие и ремесленники, мелкие торговцы и подмастерья, не задумываясь, несли свои голоса вождям демократии, в первую очередь Робеспьеру, Марату, Дантону.

«Триумвират»... «Триумфезат»...¹⁸—так окрестили своих главных врагов сеиды госпожи Ролан.

И правда, они постоянно действовали втроем, направляя всю избирательную кампанию в столице: Робеспьер—говорил, Марат—писал,

¹⁸[18] От слова «гезы»—нищие; так называли нидерландских революционеров XVI века.

Дантон—продвигал.

В Коммуне, в Якобинском клубе на предвыборных собраниях Робеспьер призывал народ следовать по пути демократии и указывал главное направление.

Марат поклялся, что от Парижа в Конвент не пройдет ни один бриссотинец. На страницах своей газеты он опубликовал рекомендательный список кандидатов и старался предостеречь избирателей от возможных ошибок.

«Министр революции» группировал свой штаб и оказывал давление там, где в этом была нужда. Он был кровно заинтересован, чтобы на скамьях новой Ассамблеи рядом с ним восседала вся его свита.

В первый день выборов, 5 сентября, баллотировались Робеспьер и Петийон. Ни для кого не оставалось секретом, что бывший соратник Неподкупного ныне смотрел из рук Жиронды... Петийон провалился и был вынужден перебаллотироваться от одного из департаментов. Робеспьер прошел первым депутатом столицы.

Дантон, шедший в списке сразу вслед за Робеспьером, получил рекордное число голосов: 638 из 700 возможных. Это был триумф! Но, не опьяняясь личным успехом, трибун тотчас же занялся делами друзей.

7 сентября, видя, что кандидатура Демулена находится под угрозой, Жорж красноречиво выступил в защиту журналиста и добился его избрания. Столь же энергично поддержал он Робера. Что касается Фабра, то, по выражению современников, Дантон буквально «пропихнул» его сквозь препятствия, воздвигнутые врагами драматурга. При том или ином содействии министра были избраны его многие старые соратники и почти весь новый состав Канцелярии: Фрерон и Сержан, Лежандр и Билло-Варенн, Манюэль, Панис и другие—всего не менее десяти из двадцати четырех депутатов столицы.

Нечего и говорить, что Другу народа не понадобилась протекция Жоржа: парижские санкюлоты были счастливы видеть в Конвенте своего старого глашатая и вождя.

Но вот 19 сентября, в последний день вы-

боров, когда оставалось дополнить списки всего лишь одним депутатом, неожиданно всплыла кандидатура... бывшего принца крови, аристократа, богача и интригана, герцога Филиппа Орлеанского...

Правда, он не был более Филиппом Орлеанским. Незадолго перед этим герцог обратился в Коммуну с просьбой изменить ему имя, мало подходившее к нынешней обстановке; теперь он прозывался просто «гражданином Эгалите»¹⁹.

Кто выдвинул этого человека? Почему его избрали, хотя и со скрипом, хотя и при возражениях Робеспьера, хотя и самым незначительным числом голосов?

Позднее жирондисты станут обвинять во всем Жоржа Дантона. А еще позднее в этом же самом его уличат и якобинцы. И в данном случае вряд ли обвинение будет ложным.

Когда-то, еще совсем не так давно, Дантон был убежденным монархистом и мечтал о том, чтобы возвести герцога Орлеанского на престол.

¹⁹[19] «Равенство» (франц.).

К этой мысли он возвращался при каждом революционном кризисе, вплоть до августа 1792 года.

Оставил ли он ее сейчас? На ближайшее время—да. Трибун понимал, что народ не пожелает и слышать о восстановлении монархии, будь она даже представлена «революционным королем» Филиппом Орлеанским.

Но где-то в глубине души Жорж по-прежнему оставался орлеанистом. Он верил, что все еще может быть. Недаром сохранились сведения, что именно теперь он говорил сыну принца:

– У вас много шансов стать королем²⁰.

А пока—пока было не худо иметь «гражданина Эгалите» у себя под рукой, в Конвенте, среди демократов-якобинцев. . .

Дни выборов были для него днями раздумий.

Жорж знал, что, став депутатом Конвента, он потеряет министерский портфель: совместительство исключалось по закону. Конечно, он мог

²⁰[20] Сын герцога Орлеанского действительно позднее стал французским королем под именем Луи-Филиппа (1830—1848).

остаться в Исполнительном совете, но в этом случае должен был отказаться от депутатского звания.

Что предпочесть?..

Вопрос казался серьезным. Оставаясь министром, он оставался во главе правительства, а став депутатом. . .

Став депутатом, пожалуй, он получал нечто большее. Он вмешивался в самую гущу борьбы, мог следить за нею, влиять на нее непосредственно на поле боя. Терял ли он при этом свой приоритет, свое положение в правительстве? Формально—да. Но по существу, при его умении и при общей растерянности граждан министров можно было бы оставаться фактическим руководителем Совета. . .

А главное—демонстративный отказ от портфеля, добровольный уход в дни, когда он всемогущ, —это блестящий политический ход! Дантон показывает всему миру, что звание народного уполномоченного он предпочитает всякому другому, пусть даже самому высокому! Не выиграет ли он этим еще больше в глазах наро-

да?..

Жорж принял решение.

И, приняв, с еще большей лихорадочностью отдался текущим делам, спеша использовать оставшееся время, чтобы сделать как можно больше для своего будущего и будущего своей Франции, той Франции, которая казалась ему наиболее желанной...

Покидая пост министра

А дел была великая пропасть.

И внутри и извне завязывались все новые узлы, которые надлежало либо разрубать, либо распутывать. Дантон, как правило, предпочитал последнее.

Его по-прежнему беспокоил бретонский заговор. Ночная беседа с доктором Шеветелем доставила большую пищу для размышлений. Жорж принял иезуитский план. Он сделал из доверчивого доктора своего тайного агента, снабдил его золотом и инструкциями и отослал обратно в Бретань. Там Шеветель должен был вести двойную игру: с одной стороны, ему надлежало уверить Ла-Руери, что Дантон сочувствует заговорщикам (!) и даже намерен помочь им в

восстановлении королевской власти (!!); с другой стороны, он должен был собирать новые сведения, осведомлять министра обо всех деталях заговора и чинить всевозможные помехи его развитию. Хорош ли был этот план и не марал ли он достоинства честного политического деятеля? Во всяком случае, именно благодаря его реализации Дантон и в дни своего министерства и позднее держал в руках нити одной из важнейших политических интриг. Ла-Руери удостоил Шеветеля великим доверием и отправил его с тайными поручениями в Англию и Бельгию; там агент Дантона вращался в избранном эмигрантском обществе, что давало ему возможность регулярно сообщать своему патрону бесценные материалы о замыслах врагов. . .

В конце концов главные заговорщики были схвачены и отправлены на гильотину.

Нити бретонского заговора уводили за рубеж. Международная изоляция Франции усиливалась с каждым днем. Министерство иностранных дел поглощало много внимания Дантона, и министр

Лебрен с готовностью уступал ему свое место.

Главная цель Жоржа в области международной политики состояла в том, чтобы рассорить державы и восстановить их друг против друга. Англию он хотел противопоставить Испании, Пруссию—Австрии. Если бы это удалось, можно было бы попытаться привлечь Англию и Пруссию на свою сторону.

Конечно, все это могло осуществиться полностью лишь в весьма отдаленном будущем. А пока неутомимый министр вел широкую подготовительную работу: он наводнял вражеские страны своими агентами, прощупывал дипломатическую почву, устанавливал возможность неофициальных переговоров.

В центре его внимания была Англия. Когда лорд Гоуэр, английский посол, покинул Францию, французское правительство вопреки этикету не отозвало своего посла из Лондона. Напротив, в помощь ему Дантон отправил преданного агента, бывшего аббата, а затем журналиста Ноэля, к которому присоединил двух своих родственников. Дантон дал Ноэлю инструкции: любыми пу-

тями, даже в случае необходимости путем территориальных уступок, добиваться от английского премьера Питта сохранения нейтралитета Великобритании.

Переговоры с Пруссией осложняла война. Здесь Дантон действовал прежде всего через военное министерство. В армии у него был свой агент—Вестерман. Впрочем, он быстро установил непосредственный контакт с главнокомандующим.

Дюмурье был весьма симпатичен Дантону. Этот невысокий смуглый человек, обладатель мягкого взора, вкрадчивой, но решительной речи и галантных манер, знал Жоржа еще по мартовскому министерству «патриотов», где сам выступал в роли министра иностранных дел. Как ловко он тогда одурачил лидеров Жиронды! Вкравшись к ним в доверие, он им же подставил ногу и был косвенной причиной отставки Ролана. После этого Дюмурье пытался словчить, вел переговоры с Дантоном—отсюда и начиналось их знакомство—и, наконец, не сумев добиться жела-

емого, сам подал в отставку и уехал в Северную армию.

Жорж чувствовал, что у него с генералом где-то есть много общего: оба—пройдохи и хитрецы, оба—мастера маневрировать и дурачить добрых людей. Но Дантон не знал одного: до какого предела может дойти Дюмурье в своих честолюбивых комбинациях.

Дюмурье в письмах с фронта умолял:

«... Не заставляйте меня поверить, что вы бросаете министерство... Я так нуждаюсь в вашем уме...»

После Вальми прусский главнокомандующий начал отступление. Дюмурье усердно провожал его вплоть до самой границы. Вместо того, однако, чтобы нанести врагу новые удары, он с рыцарской галантностью посылал в лагерь прусского короля подарки в виде сахара и кофе...

Немецкие войска отныне мало интересовали честолюбивого генерала: он уже видел Бельгию, которая на ближайшее время была его главной целью.

Внезапное отступление пруссаков многим по-

казалось чудом. Жирондисты, основываясь на болтовне эмигрантов, пустили слух, что герцог Брауншвейгский был подкуплен... Дантоном! Называли даже сумму подкупа: тридцать миллионов. Откуда министр юстиции мог взять такие деньги? И этому находили объяснение. Ничего не подозревавшего Жоржа обвинили в ограблении королевской кладовой!²¹

Грязная клевета, состряпанная в салоне госпожи Ролан, стала не только предметом слухов: министр внутренних дел осмелился в завуалированной форме высказать ее с трибуны Законодательного собрания!..

Жирондисты, притихшие было в грозные сентябрьские дни, вновь начинали наглеть. Им казалось, что революция отступает. Ведь недаром провинция проголосовала за них! В новом Конвенте они получили вдвое больше мест, чем яко-

²¹[21] Это ограбление, совершенное ворами-профессионалами, имело место в ночь на 15 сентября. Преступники, похитившие бриллианты, драгоценные камни и много других вещей, позднее были задержаны.

бинцы. Значит, можно было приступать к сведению счетов. Можно было наносить удары Дантону, Коммуне, демократическому Парижу.

17 сентября Ролан поднялся на трибуну с сумрачным и напыщенным видом. Голос его звучал трагично. Он начал с того, что объявил кражу в королевской кладовой результатом «огромной махинации». Он обвинял «подстрекателей» и «коноводов», «авторов мятежных афиш» и «тех, кто их субсидирует». Оратор прямо указывал на Дантона. Затем с величайшей яростью он обрушился на Коммуну, на собрание парижских избирателей, на всех, кто предлагает «аграрный закон»—общий передел земель. Он кончил призывом образовать «многочисленную гвардию» для охраны депутатов-жирондистов, которые в столице якобы подвергались опасности.

Ролана горячо поддержали другие лидеры Жиронды, Собрание декретировало роспуск повстанческой Коммуны.

Так после жестокой шестинедельной борьбы «Коммуна 10 августа», уничтожившая монархию и спасшая от врага страну, должна была прекра-

тить существование.

Но ее дело на этом не кончилось. Все свои идеи и борьбу она завещала якобинской Горе²² Конвента.

Низринувшая ее Ассамблея пережила свою соперницу только на два дня: 21 сентября она была вынуждена уступить место Национальному Конвенту.

Как реагировал на все это Жорж Дантон? Поднялся ли он на защиту Коммуны, с которой еще недавно столь горячо сотрудничал? Бросился ли в контрнаступление на клеветников? Обнаружил ли свой львиный оскал, всегда повергавший в трепет врагов?..

Нет, ничего этого он не сделал. Дантон, казалось, вовсе не заметил того, что произошло. Он не желал ни за кого вступаться. Еще недавно столь энергичный, трибун решил, что революция затухает, что время решающих битв позади.

²²[22] Гора (*франц.* «монтань») — верхняя часть амфитеатра зала заседаний, которую занимали обычно демократы-якобинцы.

И он жаждал умиротворения. Он думал, что путем обычного для него лавирования сможет всех успокоить и «образумить».

Плохо же знал он своих врагов!..

Коль скоро Дантон сделал выбор, он должен был 21 сентября оставить Совет и заседать в Конвенте.

Он заседал в Конвенте. Однако Исполнительный совет, казалось, не мог без него обойтись. Новая Ассамблея не спешила искать ему преемника.

Только 8 октября был избран новый министр юстиции. Им стал Доменик Гара, второстепенный литератор, политик посредственных способностей, близкий и с Дантоном и с лидерами Жиронды.

А на следующий день Жорж Дантон отослал в Конвент государственную печать и в последний раз прошелся по своим роскошным апартаментам.

Лицо трибуна было хмуро, как мрачный осенний день. Он увозил из дворца Ламуаньона боль-

ную жену. Он уезжал, проведя сорок три заседания Совета, изведав бремя власти, радость борьбы, сожаления о прошлом и весьма туманные надежды на будущее.

Ибо в глубине души он чувствовал, что его великий взлет позади.

Ибо к этому времени он уже смутно понял, что из «умиротворения» ничего не выйдет.

Гора и Жиронда, как два утеса, нависли над Конвентом.

И в своем падении любой из этих утесов должен был раздавить всякого, кто пожелал бы стать между ними.

7.
МЕЖДУ ГОРОЙ И
ЖИРОНДОЙ
(СЕНТЯБРЬ
1792—ЯНВАРЬ 1793)

Вечная и неприкосновенная

Сколько раз Жорж бывал в этом зале!

Тем не менее сначала ему показалось, что он здесь впервые. Все выглядело необычным, чужим, незнакомым.

И даже чувствовал он себя как-то неловко. Вскоре он понял почему.

Ведь в прежние времена, в период Учредительного и Законодательного собраний, он видел большой зал Манежа в совершенно иной перспективе. Он находился либо у решетки для делегаций, либо в министерской ложе, либо на ораторской трибуне. И каждый раз на него смотрел, охватывая со всех сторон, точно подковой, огромный многоликий амфитеатр. Смотрели нижние ряды, смотрела уходящая ввысь Го-

ра, смотрели расположенные над ней галереи для публики. Он привык к этому. Это была его стихия.

А теперь Жорж сам чуть ли не зритель. Он смотрит и видит почти одни затылки, ибо сидит в верхнем ряду Горы. И ораторская трибуна вместе с министерской ложей и столом для секретарей кажутся отсюда такими далекими...

Дантон огляделся.

Депутаты занимали места. Все были в особом, приподнятом настроении: ведь сегодня, 21 сентября, открывалось первое заседание Конвента, великого собрания, которое, наконец, призвано разрешить все проблемы революции.

Вот

они, его нынешние соратники-монтаньяры²³: чопорный Робеспьер в пудренном парике, с непроницаемым бледным лицом; бурно жестикулирующий Марат, чья характерная голова, повязанная косынкой, вызывает ужас нижних рядов; бе-

²³[23] То есть депутаты, сидящие на Горе, демократы-якобинцы.

шенный Колло д'Эрбуа, щеголяющий своим нарочито небрежным костюмом; хитрый Барер, расточающий улыбки направо и налево; мрачный Билло-Варенн, который не улыбается никогда. Или вот этот красавец со сложенными на груди руками, с презрительно-холодным лицом, так не соответствующим его совсем еще юному возрасту. . . Дантон силится вспомнить его имя. Да, конечно, это Сен-Жюст, депутат от какой-то провинции. От него многого ждут. Говорят, что он столь же справедлив, сколь и беспощаден. . .

Места рядом с ним, конечно, не заняты. Его милые дружки—Демулен, Фрерон, Фабр,—как всегда, опаздывают.

Взгляд Дантона скользит по нижним скамьям. Там сидит вся Жиронда, все эти «государственные люди», как их иронически величает Марат. Какие они чинные и надутые сегодня, все эти Бриссо, Верньо, Гюаде и компания! Они особенно довольны тем, что в председатели Конвента им удалось протащить ренегата Петиона. А плешивого Ролана, разумеется, здесь нет и не будет. Старик не пожелал расстаться с министер-

ским портфелем.

Еще ниже, в партере, расположились депутаты, которых остроумный народ уже успел окрестить «болотными жабами». Их—решительное большинство. Кажется, они занимают почти весь Манеж. О, это настоящие политики! Но сейчас они, конечно, будут держать языки за зубами и поглядывать на него, Дантона. Что ж, это только облегчит его сложную задачу.

Большинство из них—«бывшие». Вот бывший аристократ Баррас, рядом—бывший аббат Сиейс, рядом—бывший юрист Камбасерес. Но эти «бывшие» вполне уверены, что будущее в их руках. . .

Неожиданно раздался звон колокола. Председатель извещал, что заседание началось. . .

На ораторской трибуне Дантон сразу почувствовал себя в своей тарелке. И речь, хорошо отработанная дома, плавно полилась со взлетами и вариациями, создаваемыми тут же, на ходу, в зависимости от выражений лиц, от гула возгласов одобрений или ропота.

Прежде всего Дантон показал мотивы, по которым оставил свой высокий пост. Полномочия министра он получил от прежнего Собрания «под грохот орудий, которыми жители столицы громили деспотизм». Теперь, когда родина спасена, он складывает эти полномочия перед новым Собранием, в среде которого он «только доверенный народа...».

Подождав, пока стихнут аплодисменты, оратор приступает к главному. Он убеждает жирондистов, что их разговоры о «триумvirате» и «диктатуре»—не более как повторение вздорных, нелепых слухов, «придуманных для запугивания масс». Новая всеобщая система голосования—твердая гарантия невозможности этого. Теперь народ не допустит никаких отклонений от норм демократии, «так как конституционным законом будет признано лишь то, что будет принято народом».

Далее Дантон дает твердо понять: если внять гласу рассудка, «сентябрь» не повторится.

— До сих пор народ всячески возбуждали, так как надо было его поднять на борьбу с тирана-

ми, надо было дезорганизовать деспотизм. Теперь необходимо, чтобы законы были так же беспощадны к тем, кто посмеет посягнуть на завоевания народа, как был беспощаден сам народ, уничтожая тиранию.

Необходимо, чтобы закон наказывал всех виновных, и тогда народ будет вполне удовлетворен. . .

И снова взрыв аплодисментов. Причем рукоплещут все: жирондисты и «болото»—потому, что не желают нового «сентября»; демократы-якобинцы—потому, что Дантон обещает им торжество *революционного* закона; народ—потому, что в речи отчетливо выражена забота об интересах народа. . .

Тогда оратор громким голосом бросает самое главное, ради чего произносится вся эта речь:

— Многие, даже самые честные граждане, выражали опасение, что пылкие друзья свободы способны нанести непоправимый вред общественному порядку, сделав преувеличенные выводы из своих принципов. Итак, решительно *откажемся здесь от всяких крайностей*, провозгла-

сим, что всякого рода собственность—земельная, личная, промышленная—должна *на вечные времена оставаться неприкосновенной!*..

Эффект невероятный. Аплодисменты сменяются овацией. Буря восторгов грохочет со всех рядов, ибо собственность—это то, чему поклоняются девяносто девять процентов членов Конвента, включая и демократов. И вот теперь сам министр революции определенно выступает в ее защиту.

Одни лишь галереи, занятые беднотой, растерянно безмолвствуют. Санкюлоты не вполне понимают своего недавнего вождя. Неужели он этим кончит?.. Но Дантон добавляет:

– Вспомним затем, что нам необходимо все пересмотреть, все переиздать, что и Декларация прав *не совсем безупречна* и что она *должна подвергнуться пересмотру истинно свободного народа!*..

Что ж, теперь и санкюлоты могут кричать «ура!» от чистого сердца. Ведь их кумир прямо указал, что все старое не безупречно и будет пересмотрено, разумеется, во благо простым лю-

дям.

Один из лидеров Жиронды, прослушав эту речь, подбежал к Дантону и взволнованно воскликнул:

– Я раскаиваюсь, что назвал вас сегодня утром крамольником!..

Другой, умеренный, немедленно написал своим землякам:

«...Я был поражен доблестями Дантона. Этот человек обладает блестящим и совершеннейшим красноречием, и он пожертвовал своей должностью министра, чтобы стать депутатом Конвента. Этот шаг доставит ему немало чести. До сих пор это единственный оратор, который меня потряс...»

Таково было общее мнение. Но замечательная речь Дантона оказалась подобной «поцелую Ламуретта»²⁴: она лишь на миг успокоила стра-

²⁴[24] Конституционный епископ Ламуретт на заседании Законодательного собрания 7 июля 1792 года добился своим примиренческим призывом того, что многие депутаты правой стороны расцеловались с левыми. Вскоре после этого борьба вспыхнула с новой силой, а через месяц произошло восстание, низвергнувшее мо-

сти.

Противоречия были слишком остры, слишком непримиримы для того, чтобы их могло примирить даже самое изощренное красноречие.

«Я не люблю Марата»

Первое заседание Национального Конвента проходило в обстановке всеобщего восторга. Выступивший вслед за Дантоном Колло д'Эрбуа под новый град аплодисментов призвал к отмене королевской власти. По решению Конвента день 21 сентября стал первым днем первого года республики.

Но уже 23 сентября Бриссо в своем «Французском патриоте» обвинял монтаньяров в том, что они «стремились дезорганизовать общество и льстили народу». А еще через сутки один из соратников Бриссо угрожающе крикнул с трибуны Конвента:

– Пора воздвигнуть эшафот, на котором будут казнены убийцы и их подстрекатели!..

Разумеется, под убийцами оратор понимал «сентябристов», а подстрекателями считал партию монтаньяров в целом.

Так Жиронда начинала войну против Горы.

Впрочем, начинала ли? Скорее можно говорить о продолжении. Ибо борьба в Конвенте действительно лишь продолжила и довела до апогея то, что зародилось задолго до 10 августа.

Это была старая борьба патрициев с плебеями, буржуа—с народом, крупных собственников—с революционными санкюлотами. И она могла кончиться лишь полным низвержением одной из борющихся сил.

Столь быстрое крушение его замыслов привело Дантона к весьма тяжким раздумьям. Он был и собственником и «вельможей санкюлотов»²⁵, он сидел на Горе, но не хотел драться с Жирондой. Нутром он понимал: ни разгром партии Бриссо, ни ее победа не дадут ничего хорошего.

Его взор все чаще обращался к «болоту»: не

²⁵[25] Выражение Д. Гара.

там ли обитали самые мудрые и осторожные, все те, кто был готов и поддержать революцию и придержать ее?.. Он бы не прочь, конечно, подсесть туда к ним. Однако он вождь. Он человек действия. Трусливое ожидание ему понятно, но исключено для него.

Он будет снова и снова искать примирения. Но чтобы иметь надежду на успех, надо сдвинуть дело с мертвой точки. Надо и уступить и показать зубы; пряник и кнут—вот в чем высшая мудрость.

Кнут у него готов. Он ударит Жиронду по ее самому больному месту, по федерализму²⁶.

А пряник?..

Они твердят о «диктатуре», о «триумvirате». Нужно показать им самым наглядным образом, что «триумvirат»—это миф, что он, Жорж Дантон, абсолютно внепартиен и не склонен входить в какие-либо группировки. Да ведь, собственно, если строго подходить к делу, никакого

²⁶[26] Жирондисты были сторонниками широкой автономии для провинций.

«триумвирата» в действительности и нет.

Правда, с Робеспьером Жорж никогда не ссорился и ссориться не станет. Неподкупный—это сила, это человек, который далеко пойдет, так предсказывал еще покойный Мирабо. И хотя сей самолюбивый педант не слишком симпатичен Дантону, но... но судьбе было суждено поставить их в одну упряжку...

Совсем другое дело—Марат.

Жорж вспоминает все свои прошлые отношения с Другом народа.

Когда-то у кордельеров он защищал журналиста, но защищал лишь принципа ради и не очень охотно; потом они встречались и расходились. В девяносто первом Марат прочил Дантона в диктаторы, и Жорж едва унес ноги после Марсова поля... А потом они шли вместе. И в августе и в сентябре... В сентябре... Нет, в сентябре не все было гладко. Марат не мог простить Жоржу, что тот вызволил из тюрьмы Дюпора. Началась распря. Марат угрожал. Бурная сцена произошла в мэрии, в присутствии Петиона. Тогда Дантон пошел на примирение. Тогда это было

нужно. А сейчас он не станет церемониться. Он выдаст этого неврастеника жирондистам, швырнет его им как искупительную жертву.

Пусть видят, что у него нет ничего общего с ненавистным им бешеным газетчиком.

И пусть попробуют после этого толковать о «триумвирате»!..

Речь, произнесенная Дантоном 25 сентября, поразила слушателей.

Он занял трибуну среди истошных воплей жирондистов, после того, как один из них напал на Париж и парижских депутатов, а другой предал анафеме «поджигателей» и «диктаторов».

И первая фраза его речи прозвучала в хоре проклятий и криков с явным привкусом иронии:

– Счастливый день для народа, счастливый день для французской республики тот, который приносит с собой *братские объяснения* в недрах этой Ассамблеи, среди лиц, которые ее представляют. . .

Эти слова заставили всех участников «братских объяснений» смолкнуть и прислушаться.

Тогда оратор спокойно напомнил им, что, твердя о «диктатуре» и «триумвирате», они никак не могут обосновать своих заявлений. Если есть виновные, их нужно наказать, но прежде всего нужно доказать их вину. . .

И потом не следует сваливать в общую кучу всех парижских депутатов. Среди них есть разные люди. Взять хотя бы, к примеру, его, Дантона.

– С полной готовностью я нарисую вам картину моей общественной жизни. В течение трех лет я делаю все, что считаю своим долгом делать для свободы, я стоял всегда в рядах ее самых смелых защитников. Будучи министром, я отдавал Совету все усердие, всю энергию гражданина, горящего любовью к своей стране; со всей горячностью моего темперамента я в нем поддерживал принципы равенства и свободы. Я заявляю, что личное честолюбие никогда не было двигателем моих поступков. Если кто-либо может бросить мне по этому поводу обвинение, пусть встанет и скажет. . .

Вот теперь, воздав достойную дань самому

себе, Дантон счел уместным показать, что между ним и Маратом, якобы его коллегой по «триумvirату», нет ровно ничего общего.

– Слишком долго меня обвиняли в том, что я был автором или вдохновителем писаний этого человека. Свидетелем, могущим удостоверить лживость этих обвинений, является ваш председатель²⁷. Он читал угрожающее письмо, посланное мне этим гражданином; он же был свидетелем ссоры, происшедшей между ним и мною в мэрии. Но я приписываю эти странные выходы преследованиям и невзгодам, которым подвергался Марат. Думаю, что жизнь в подполье, где ему приходилось скрываться, ожесточила ему душу. . .

После этой полупрезрительной ламентации— маленькое обобщение:

– Совершенно верно, что самые лучшие граждане могут быть не в меру пылкими республиканцами, надо в этом признаться. Но не станем из-за двух-трех неуравновешенных людей обвинять

²⁷ [27] То есть Петион.

весь состав парижской делегации. . .

И, наконец, главный удар:

– Переменим же тему наших прений, помня об общественных интересах. Бесспорно, нужен строгий закон против тех, кто стремится посягнуть на общественную свободу. Прекрасно, проведем этот закон! Проведем закон, грозящий смертной казнью всякому, кто выскажется в пользу диктатуры или триумvirата. Но, установив основы, обеспечивающие торжество равенства, уничтожим дух партийности, который нас погубит. Утверждают, что среди нас есть люди, имеющие намерение расчленить Францию. Рассеем эти нелепые идеи, установив смертную казнь их авторам. Франция должна быть неделимым целым; она должна иметь единое представительство. . . Итак, я требую смертной казни для всякого, кто пожелал бы нарушить единство Франции, и я предлагаю постановить, что Национальный Конвент в основу управления, которое он установит, кладет единство представительства и исполнительной власти. . .

Речь Дантона попадала прямо в цель. Жирондисты почуяли, что дразнить этого человека опасно. Блестящий политик, в совершенстве владеющий искусством вести собрание, попеременно взывая то к рассудку, то к чувствам слушателей, он показал, что каждой угрозе можно противопоставить другую, не менее страшную; что Париж санкюлотов не потерпит надругательств над революционными традициями, что он, Жорж, со своей стороны, готов отказаться от всяких «крайностей», если встретит подобное же благоразумие со стороны противника.

На ближайшие дни Дантон одержал победу. Жирондисты, усиливая нападки на других вождей монтаньяров, как будто оставили его в покое. Козлом отпущения стал Марат. Вокруг журналиста началась бешеная борьба. Жорж не был склонен в нее вмешиваться. Но вдруг неприятные осложнения подкрались совсем с иной стороны.

Верный своей политике «умиротворения», Дантон хотел, чтобы Конвент обновил состав Исполнительного совета, введя в него свежих лю-

дей, не заинтересованных в прежних раздорах. Подал в отставку, он ждал того же и от других министров. За ним последовали Серван и Ролан. Но вскоре стало очевидным, что со стороны последнего это был лишь тонко рассчитанный тактический ход. Друзья министра внутренних дел, как по команде, стали требовать его возвращения в Совет. Они кричали об «общественном бедствии», к которому может привести отставка Ролана. Они добились того, что Конвент особым голосованием пригласил министра остаться при исполнении своих обязанностей.

Двадцать девятого сентября по этому поводу развернулась оживленная дискуссия. Мог ли Дантон оказаться в стороне от нее?..

В своем выступлении он придерживался весьма умеренных формулировок. Он даже снизошел до того, что похвалил Ролана. Но тут взгляд Жоржа упал вдруг на самодовольную физиономию старика. И его прорвало. Прорвало вопреки всякому благоразумию.

— Если вы все же хотите сохранить Ролана,— саркастически изрек он,— то не забудьте пригласить

сать также и госпожу Ролан, ибо всему свету известно, что ваш протеже не был одинок в своем министерстве. Я работал один, а нация нуждается в министрах, способных действовать не по указке своих жен. . .

Конвент дрогнул от возмущенных возгласов.

– Негодяй!.. Подлец!.. Он осмелился оскорбить женщину! И какую женщину!..

Жирондисты вне себя от злобы топали ногами. Возмущались не только они. В просвещенном XVIII веке нападать на женщину считалось приемом, недостойным члена порядочного общества.

Но Дантон и не выдавал себя за человека из общества. Подумаешь, господа!.. Дурачье!.. Про себя он смеялся над тем, что «государственные люди» даже не пожелали его понять: уж если он оскорблял кого-нибудь своей репликой, то это была, во всяком случае, не Манон Ролан!..

Общий ропот лишь усилил резкость возражений трибуна. Он нанес Ролану новый тяжелый удар, заявив, что сей добродетельный старик после взятия Лонгви хотел бежать из Парижа.

На этот раз возмущенные крики полетели с

Горы.

В целом, разбушевавшийся Дантон единым махом сбросил со счетов все результаты своих многодневных комбинаций: простить выступление 29 сентября Жиронда ему не могла.

Справедливость требует заметить, что не вся Жиронда одинаково ненавидела Дантона. Так, близкий к жирондистам философ Кондорсе в своей газете не раз поддерживал «вельможу санкюлотов» и относился к нему с несомненной симпатией. Верньо, сам Пьер Верньо, крупнейший оратор партии, не был склонен к излишним резкостям, и, по-видимому, примиренческая линия Жоржа не была ему неприятна. Злые языки утверждали, что это происходит оттого, что Верньо, влюбленный в госпожу Кандель, актрису из Комеди Франсэз, сумел избежать обаяния все-сильной Манон. В действительности такие лидеры, как Кондорсе или Верньо, были просто более дальновидны; слепая ярость их не опьяняла, они исходили не только из настоящего, но и из возможного будущего своей группировки.

Иное дело интимный кружок госпожи Ролан. Сам Ролан—ее муж, беспринципный Бюзо—ее возлюбленный, интриган Бриссо—ее напарник и верные сеиды—Барбару, Гюаде, Инар, Жансонне—все они задыхались от злобы и горели нетерпением свести счеты с «презренным демагогом». Теперь к ним примкнул и Петийон, после своей неудачной баллотировки в Париже окончательно порвавший с демократами.

Поведение Дантона 29 сентября послужило сигналом к контратаке.

На следующий день Ролан отправил в Конвент нравоучительное послание, в котором сообщал, по каким мотивам он решился на сохранение за собой министерского портфеля.

«Я остаюсь,—писал Ролан,—так как существуют опасности; я не боюсь ни одной из них, поскольку дело идет о спасении отечества».

Вновь ополчаясь против «триумвирата», министр, между прочим, обронил следующую многозначительную фразу:

«Я глубоко убежден, что истинный патрио-

тизм не может существовать там, где нет моральных устоев. . . »

Если Жорж сколь либо сомневался относительно адресата, к которому был обращен сей намек, то друзья Ролана постарались их быстро рассеять.

Покидая свой министерский пост, Дантон должен был отчитаться перед комитетом финансов Конвента. Его отчет был несложен. Получив при вступлении в должность министра юстиции 100 тысяч ливров, он истратил из них 68 684 ливра, якобы на нужды своего министерства, и сохранил 31 316 ливров, которые возвращал в комитет.

Контролеры, занявшиеся проверкой счетов экс-министра, были поражены некоторыми крупными тратами, не имевшими никакого отношения к ведомству Дантона: сюда относились, например, 2400 ливров, истраченные на меблировку квартиры Робера, или 30 тысяч, отпущенные Сантеру на изготовление пик.

Впрочем, все это были мелочи по сравне-

нию с главным. В своем отчете Дантон и словом не обмолвился об экстраординарных и секретных расходах, на которые он получил некогда от Законодательного собрания и своих коллег по Исполнительному совету около полумиллиона ливров.

Жирондисты возликовали. Они, наконец, нашли ахиллесову пяту своего врага.

На заседании 10 октября финансист Конвента Камбон в крайне резкой форме обрушился на бывшего министра юстиции. Он заявил, что тот пограл все обычные порядки и, сосредоточивая в своих руках крупные суммы, не ставил никого в известность, на что эти суммы расходовались. Камбон потребовал, чтобы все министры незамедлительно отчитались не только в обычных, но и в экстраординарных и даже секретных расходах.

В ответ на это Дантон напомнил чрезвычайные обстоятельства августа—сентября, которые требовали соответственно чрезвычайных расходов:

– Отечество было в опасности, и, как я часто

говорил в Исполнительном совете, мы подотчетны только в делах свободы. Что ж, мы вам целиком оплатили этот счет! Утверждаю, я представил счет всех моих граждан Совету, и я не думаю, что могло бы появиться какое-либо сомнение в моем политическом поведении. . .

Такое объяснение, по правде говоря, не очень внятное, напоминало словесный каламбур и, разумеется, удовлетворить жирондистов, да и других депутатов, не могло. К тому же никто из членов Совета не поддержал Дантона.

Камбону шумно аплодировали.

Дантон спустился с трибуны при общем молчании.

Конвент предложил ему снова отчитаться перед Советом во всех видах расходов. Но, вынося эту резолюцию, роландисты хорошо знали, что она не будет претворена в жизнь: отчитаться в своих расходах Дантон не мог. . .

Дезавуируя столь явно Дантона, Жиронда пыталась связать его дело с делом упраздненной Коммуны. Советников Коммуны тоже заставили дать отчет, и вокруг этого отчета также по-

шла кутерьма. Друзьям Бриссо и госпожи Ролан очень хотелось, оскандалив повстанческий муниципалитет, одновременно скомпрометировать Дантона и сделать подоплекой обоих неувязок пресловутую «сентябрьскую резню».

Таким образом, как ни отрецивался Жорж от Марата, как ни старался уйти в сторону от некогда ему близкой Коммуны, никакого проку из этого он все равно не извлек: в глазах группы Бриссо, да и всех умеренных, он навечно оставался «сентябристом». И, требуя его счетов, они в действительности домогались его падения и позора...

Восемнадцатого октября в весьма торжественной форме Ролан изобразил Конвенту деятельность своего ведомства. Смотря прямо на Дантона, он заявил:

– У меня нет никаких секретов; я хочу, чтобы все видели, что мое управление осуществлялось совершенно открыто.

Ролана забросали цветами. Жирондист Ребекки воскликнул:

– Я требую, чтобы все министры дали такой же отчет, как Ролан!

Жорж не мог уклониться от объяснения. Тяжело, как затравленный зверь, поднялся он на трибуну. Вначале он путался и сбивался, но, наконец, не выдержал и бросил Жиронде то, что давно накипело в его душе:

– Есть расходы, о которых здесь нельзя говорить. Есть оплаченные агенты, которых было бы неpolitично и несправедливо называть. Есть революционные поручения, требуемые свободой и неизбежно связанные с огромными денежными жертвами. Когда враг захватил Верден, когда отчаяние охватило лучших и наиболее смелых граждан, Законодательное собрание нам сказала: «Не экономьте! Расточайте деньги, если это необходимо, чтобы оживить доверие и дать импульс всей Франции». Мы сделали это. . .

Гора аплодировала Дантону.

Но Жиронда не собиралась делать ему каких-либо скидок.

Когда Камбон спросил Ролана, проверил ли тот счета бывшего министра юстиции, коварный

старик только пожал плечами: он-де искал эти счета в протоколах Совета, но так и не нашел их следов!..

Конвент загудел от негодования.

Один депутат предложил «обвинительный декрет против министров, расхищающих государственные средства», другой потребовал, чтобы Совет представил решение по делу Дантона не позднее чем в 24 часа.

Но какое решение мог представить Совет, даже если бы он захотел это сделать?..

Объяснения, данные Жоржем 18 октября, не были ложью. В трудные дни сентября, когда все приходилось ставить на карту, он не жалел средств. В его руках сходились многочисленные нити заговоров, от него зависели десятки тайных агентов. Будучи министром революции, смело вторгаясь в чужие ведомства, он руководил и закупкой оружия и переговорами с врагом. Все это, разумеется, требовало огромных денег, причем подобные расходы далеко не всегда можно было оправдать квитанцией.

Но жирондисты прекрасно знали то, что, впрочем, знали и многие другие. Дантон вел широкий образ жизни, скупал дома и национальные имущества, покровительствовал подозрительным поставщикам и имел давнишнюю репутацию продажности. Что же касается таких его подчиненных, как Фабр, Робер или Делакура, их издоимство и денежная нечистоплотность были предметом постоянных разговоров.

Жорж не отвечал на яростные атаки, направленные против него и его друзей. Из усталости, презрения, из тактических расчетов он предпочитал молчать или отделялся полуответами.

А это лишь ухудшало дело.

Двадцать пятого октября, когда Дантон попытался говорить, жирондисты заглушили его голос криками и снова потребовали отчета.

Тридцатого октября последовал новый декрет, обязывающий министров подчиниться решению Конвента.

Наконец 7 ноября Монж, Клавьер, Лебрен и Серван заявили, что им известно о секретных

расходах своего коллеги и что они не всегда находили необходимым писать соответствующие счета.

Если бы Ролан подтвердил это заявление, оно могло бы удовлетворить Конвент.

Но Ролан не подтвердил.

Конвент отказался признать оправдания бывшего министра юстиции.

И все же Жиронда не смогла сокрушить Дантона. Она даже не рискнула возбудить против него судебное дело.

«Государственные люди» понимали, что вся Гора, весь революционный Париж, который они так ненавидели и так боялись, встанут на защиту своего трибуна.

Терпя временные неудачи в Конвенте, монтаньяры не оставались в долгу. Они били жирондистов в клубе.

Десятого октября Бриссо был исключен из Якобинского клуба, а вслед за своим вождем вынуждены были уйти и другие лидеры Жиронды. В тот же день якобинцы избрали своим предсе-

дателем Жоржа Дантона.

Да, подобного человека одолеть было не так-то легко, это должен был уразуметь всякий. Но жирондисты добились одного: моральная репутация Жоржа в Конвенте была непоправимо испорчена.

И долго еще, вплоть до самого падения Жиронды, при каждой политической схватке из нижних рядов зала Манежа слышались злобные выкрики:

– Счета!.. Пусть Дантон представит свои счета!..

Все эти уроки не пошли впрок Жоржу Дантону. Жирондисты отвергали его так же, как некогда отвергли фельяны. Но подобно тому, как в прежние годы он не решился на полный разрыв с группой Барнава—Ламетов, так и сейчас он не хотел сжигать всех мостов на пути к примирению с Жирондой.

И, выступая в Конвенте 29 октября с обвинением против Ролана, он снова, причем в более решительной форме, отрекся от своего старого

соратника—Марата:

– Я заявляю Конвенту и всей нации, что я отнюдь не люблю Марата. Я откровенно скажу, что испытал на себе его темперамент; он не только вспыльчив и брюзглив, но и неуживчив. После подобного признания да будет мне позволено сказать, что я стою вне всяких партий и заговоров. . .

Реплика эта по меньшей мере выглядела бес тактно: зачем было докладывать высокому Собранию о темпераменте Друга народа, о его «неуживчивости»? Что и говорить, Дантон был много «уживчивее» Марата. Но помогло ли это ему? Все равно Жиронда не желала ни верить демагогу, ни сближаться с ним.

Столь же тщетными оказались все усилия, затраченные Дантоном на «смягчение» результатов ожесточенной борьбы, развернувшейся вскоре вокруг дела низложенного короля.

Судьба короля

Однажды рано утром молодой мужчина, закутанный в дорожный плащ, позвонил у дверей квартиры на Торговом дворе.

Милостивая хозяйка впустила его и провела в одну из комнат. Там на кожаном диване лежал истомленный бессонной ночью Жорж Дантон.

Вошедший быстрым взглядом охватил комнату. Ее убранство показалось ему скромным; он знал, что владелец этой квартиры всего месяц назад был всемогущим министром. . .

Дантон сразу узнал посетителя и вскочил с дивана. Он и Теодор Ламет несколько секунд изучали глазами друг друга. Затем Жорж спросил:

– Откуда вы и что делаете в Париже? Я слышал, что вы спаслись.

– Я прибыл из Лондона.

– Вы сошли с ума! Или вы не знаете декрета о смертной казни для эмигрантов?

– Нет, я помню о нем. Но ведь вы спасли жизнь моего брата. Единственное, чем я могу выразить свою признательность, это отдать и мою жизнь в ваши руки. Но я не считаю это своим особым достоинством, ибо, не зная всех преступлений, на которые вы способны, я отлично знаю, на какие преступления вы не способны.

– Вы никогда не щадили меня. Но я готов принять даже этот сомнительный комплимент. Однако к делу. Что привело вас ко мне?

– Вы сами догадываетесь, видя меня во Франции.

– Да, очевидно, речь пойдет о короле. . .

Беседа была долгой. Ламет страстно пытался убедить своего друга-врага в добродетелях Людовика XVI, в его невиновности, в коварстве его противников, использовавших слабость монарха. Он старался доказать Жоржу, что король неподсуден революции.

Дантон пожал плечами.

– Детские рассуждения!

Он напомнил собеседнику судьбу Карла I.²⁸

– Думаете ли вы,—усомнился Ламет,—что большинство Конвента осудит короля?

– Без сомнения. Если его станут судить, он погиб. Он будет мертв в тот момент, когда предстанет перед судьями.

Ламет напомнил, что в Конвенте командуют жирондисты, что они могут повлиять на большинство и спасти короля.

Дантон с хохотом прервал его:

– Прекрасное средство! Жирондисты—вот кто повинен в теперешнем положении короля. Они напуганы. Они произнесут блестящие речи и кончат тем, что все приговорят его к смерти.

Ламет уверял, что казнь Людовика вызовет жесточайшую ненависть Франции и всей Европы к революционерам.

Дантон иронически поднял брови.

²⁸[28] Карл I, король Англии, был казнен по приговору парламента (1649).

– Сообщите об этом Робеспьеру, Марату и их поклонникам.

Ламет терял выдержку.

– Но, наконец, вы, Дантон, чего вы желаете и что вы можете?

Наступило продолжительное молчание. Наконец, твердо произнося каждое слово, Жорж сказал:

– Вы спрашиваете меня, что я могу и чего хочу? Я отвечу вам вопросом на вопрос: что может сделать даже самый популярный человек в положении, в котором мы находимся? Кончим наш разговор. Я не хочу казаться ни лучше, ни чище, чем я есть на самом деле. Я доверяю вам. Так вот мои мысли и намерения: не будучи согласен с вами, что король безупречен, я считаю все же справедливым и целесообразным вырвать его из этого положения, в котором он находится. Я постараюсь осторожно и смело сделать то, что смогу. Я сделаю все возможное, если у меня будет хоть один шанс на успех. Но если я потеряю всякую надежду, объявляю вам: я не желаю, чтобы моя голова пала вместе с его головой. Я буду

среди тех, кто его осудит.

— Но зачем вы, Дантон,—воскликнул Ламет,—прибавили эти последние слова?

— А для того, чтобы быть искренним, как вы от меня требовали. Впрочем,—резко оборвал он,—довольно об этом. Подумайте лучше о себе. . .

Так описал Теодор Ламет много времени спустя тот разговор, который он якобы имел с Дантоном в конце октября 1792 года. Что здесь правда и что вымысел? Установить это невозможно. Однако, пожалуй, правды больше, чем вымысла. Совсем посторонние этому разговору факты и документы в общих чертах подтверждают главную нить рассказа Теодора Ламета.

Судьба короля занимала в те дни не только частных лиц.

Она волновала весь Париж, всю Францию, всю Европу.

И голодные санкюлоты, забывая личные печали и нужды, все свое внимание отдавали Конвенту—священному алтарю народных пред-

ставителей, где эта судьба должна была вскоре решиться.

Вскоре—так думал народ, так считали его избранные, демократы-якобинцы. Иначе быть не могло—ведь король главный преступник: на его совести лежат тысячи жизней—жертв Марсова поля, Нанси, Тюильрийского дворца. Без наказания вероломного тирана республика не может быть ни утверждена, ни упрочена. . .

Но жирондисты, верховодившие в Конвенте, рассуждали совершенно иначе. С горем пополам согласившись на ниспровержение монархии, они вовсе не хотели зла бывшему монарху. Он был нужен им как заложник, как инструмент, с помощью которого они могли бы постоянно давить на своих врагов. Кроме того, они совершенно не чувствовали уверенности в незыблемой прочности республики: восстановление королевской власти казалось им вполне вероятным. И прав был Робеспьер, утверждавший, что друзья Бриссо выглядели «республиканцами при монархии и монархистами при республике»—последнее они ежедневно и ежечасно доказывали своим по-

ведением.

В течение второй половины сентября и всего октября жирондисты вели бешеные атаки против Горы, «триумвиров», демократического Парижа—где уж тут было заниматься делом Людовика XVI!

Законодательный комитет, которому надлежало подготовить вопрос о короле, тратил бесконечные недели на изучение тонкостей судебной процедуры и выслушивание длинных докладов. Бриссотинцы стремились упрятать короля за конституцию 1791 года, доказывая, что он неприкосновенен, а вследствие этого не может быть и судим.

Первый удар по планам Жиронды нанесла знаменитая речь Сен-Жюста.

Четырнадцатого ноября этот холодный юноша своим строгим, логическим красноречием вдребезги разбил все хитросплетения и аргументы противников.

Сен-Жюст утверждал, что короля вовсе не следует судить с точки зрения обычного права.

Дело идет не о судебном процессе, а о политическом акте: Людовик XVI—враг целой нации, и к нему должно применить только один закон—закон военного времени. . .

После этой речи, тем более сильной, что произнес ее совсем еще молодой и никому не известный депутат, Конвент дрогнул. Казалось, он сейчас же провозгласит себя судебной палатой и вынесет решение о процессе.

Но тут на трибуне появился Бюзо, бездушный и едкий обожатель Манон Ролан.

Бюзо выступил с неожиданным заявлением. Он потребовал, чтобы в случае открытия процесса речь шла не об одном Людовике, а обо всех Бурбонах, включая Марию Антуанетту и Филиппа Эгалите. . .

Страшный, коварный маневр! Надевая на себя личину пылкого республиканизма, Бюзо хотел, сильно расширив и затянув на неопределенное время обвинение, спасти короля. Кроме того, он уязвлял депутатов Горы: ведь Филипп Эгалите сидел среди монтаньяров!

Но не это показалось всем особенно стран-

ным, почти невероятным. Поразительным было то, что Бюзо поддержал его самый завзятый враг, один из «триумвиров», признанных вожаков Горы, одним словом. . . Жорж Дантон!..

Монтаньяры ничего не могли понять. И не мудрено. Понять поведение Жоржа можно было, лишь зная то, о чем они не имели тогда ни малейшего представления.

Предложение Бюзо было поставлено на голосование. . .

Беда всегда приходит неожиданно. Именно в те дни, когда Жиронда считала себя выигравшей схватку, а Дантон полагал, что почти выполнил обещание, данное Теодору Ламету, всех их настиг новый удар, удар внезапный и неотвратимый.

20 ноября в Тюильрийском дворце был обнаружен вделанный в стену железный шкаф. В этом потайном сейфе, как выяснилось, король хранил самые секретные документы. И вот они выплыли из тьмы на свет, марая комьями липкой грязи еще вчера самых уважаемых людей.

Здесь оказалась переписка Людовика с Ми-

рабо и с начальником тайной полиции Омером Талоном, тем самым Талоном, который когда-то субсидировал Жоржа и которому Жорж затем помог выехать в Англию. Были найдены также весьма недвусмысленные письма Лафайета, Талейрана и... Дюмурье.

Сразу стало ясным до предела то, о чем раньше только догадывались. Картина подкупа и измены, свивших себе гнездо еще в Учредительном собрании и унаследованных новой Ассамблеей, раскрылась перед глазами изумленных депутатов.

Беда жирондистов усугублялась еще и тем, что министр внутренних дел Ролан, которому был сделан донос о сейфе, не поставив никого в известность, лично извлек из него документы и лишь после просмотра предъявил их Конвенту.

Скрыл ли что-либо Ролан? Вещь вполне вероятная. В бумагах могли оказаться материалы, компрометирующие жирондистов. Но так или иначе самонадеянный министр навлек на себя подозрения и гнев Горы.

Это был гнев всего Парижа, всех санкюлотов.

Якобинцы разбили бюст Мирабо, украшавший зал их заседаний, портрет Мирабо в Конвенте был завешен. Против Талона, находившегося в Лондоне, возбудили судебное дело и арестовали кое-кого из его родственников и агентов. Правда, с судом над ним не спешили: пришлось бы привлечь к делу многих влиятельных лиц, в том числе Дюмурье.

Что касается Дюмурье, то жирондисты приложили все старания для его реабилитации. Генерал был им нужен, и они ни за что не хотели им жертвовать.

В целом открытие железного шкафа разрушало все их планы. Теперь процесс короля становился неотвратимым. После властного требования со стороны новой Парижской коммуны, после блестящей речи Робеспьера, в которой он использовал и развил все аргументы Сен-Жюста, большинство добилось постановления:

«Конвент будет судить Людовика Капета».

Речи Робеспьера Дантон не слышал: 3 декабря его уже не было ни в Конвенте, ни в Париже.

Ему лично железный сейф не сулил никаких приятных находок. Его не воодушевляли ни имя Мирабо, ни имя Талона—то, что было в прошлом связано с этими именами, не слишком хотелось будоражить. И если жирондисты сумели выгородить Дюмурье, его, Дантона,—он знал это наверняка—они выгораживать не станут.

В отношении королевского дела у него тоже не оставалось надежд. Теперь он видел, что открытию процесса никто и ничто не помешает. А если процесс начнется, он кончится только казнью Людовика—это казалось почти несомненным.

Учитывая все это, Дантон предпочел убраться и впредь до полного прояснения обстановки предоставить поле боя своим заместителям и союзникам.

Тридцатого ноября он уехал в Бельгию, в действующую армию к Дюмурье. Это была служебная поездка, но она оказалась как нельзя более кстати.

Но если Жорж Дантон решил временно вы-

быть из игры, то его агенты на свой страх и риск продолжали начатую затею.

В то время как в Париже шел полным ходом процесс, пока составляли обвинительный акт, допрашивали подсудимого и спорили о его судьбе, в далеком Лондоне люди, далекие от процесса, пытались взять эту судьбу в свои руки.

Восемнадцатого декабря дипломатический представитель Уильяма Питта, премьер-министра Англии, Уильям Майлз принимал у себя на квартире агента Французской республики. Этим агентом был старый аббат Ноэль, приятель и ставленник Дантона.

Прежде чем перейти к цели своего визита, Ноэль долго распространялся на общие темы, подчеркивал свою гуманность и великодушие посланных его людей. Он сообщил, что, будучи республиканцем, он все же твердо убежден в том, что смерть Людовика XVI не принесла бы никакой пользы французскому правительству и что, строго говоря, правительство этой смерти вовсе не жаждет. Он указал далее, что знает единственный способ спасения жизни короля. Здесь, в Лон-

доне, некий человек большого ума и находчивости, в прошлом революционер, сохранивший хорошие отношения со всеми партиями и посвященный во все дела Людовика XVI, собирал средства на это предприятие. Он, Ноэль, может назвать Майлзу имя и адрес указанного человека. Согласится ли Майлз переговорить об этом деле с Питтом?..

Разговор этот не понравился Майлзу. Он заподозрил ловушку. Кроме того, зная решение Питта—придерживаться выжидательной политики и прямо не вмешиваться в дела революционной Франции,—он понимал, что и в лучшем случае из этой затеи ничего бы не вышло. Поэтому он отклонил предложение Ноэля.

Последний попросил сохранить их разговор в тайне и раскланялся с Майлзом.

Имя человека, которого он собирался рекомендовать Питту, было Омер Талон. . .

За два дня до того, как старый Ноэль тщетно пробовал свои дипломатические способности в Лондоне, жирондисты в Конвенте предприняли

новую попытку спасти короля.

Все тот же неугомонный Бюзо, исходя якобы из тех же крайне революционных убеждений, предложил изгнать всех Бурбонов, в том числе их орлеанскую ветвь, и тем самым раз и навсегда пресечь возможность возрождения королевской власти во Франции.

А друг Дантона, Робер, выступил в Якобинском клубе, требуя отложить шедший полным ходом процесс.

Обе эти диверсии провалились. Бюзо разоблачил Сен-Жюст, а Робера освистали якобинцы.

Тогда жирондисты решили пустить в ход последние козыри. Сильнейший оратор партии, Верньо в целях затягивания процесса выдвинул тезис об апелляции к народу.

В то же время министр иностранных дел Лебрен заявил, что ему удалось добиться нейтралитета Испании, лишь поскольку испанский король рассчитывает на «великодушие» Конвента в отношении своего кузена. И министр прочитал письмо испанского поверенного Окарица, в котором французов приглашали совершить «акт ми-

лосердия» ради сохранения мира. . .

Имя кавалера Окарица стало в эти дни одним из самых приметных в Париже. Оно мелькало в дипломатической переписке и в частных письмах; оно произносилось в Конvente и в клубах.

Если бы современник заглянул в счетные книги богатого банкира Лекультея де Кантлей, он узнал бы, что предприимчивый испанский дипломат получил из банка Лекультея два миллиона триста тысяч ливров, а из письма того же Окарица банкиру можно было бы легко установить, что эти деньги предназначались на подкуп депутатов Конвента. Окариц утверждал, что депутат Шабо, согласившийся стать посредником, получил пятьсот тысяч ливров.

Шабо знали как одного из главных агентов Дантона.

В своих мемуарах Теодор Ламет утверждает, что он был замешан в попытке Окарица подкупить некоторых членов Конвента. Дело сорвалось якобы из-за того, что у Окарица не

оказалось достаточных средств; ему не хватило двух миллионов. Окариц попытался получить эти деньги у Питта. Питт отказал.

Связующим звеном между Окарицем и Питтом был вездесущий Омер Талон.

Много лет спустя, когда давно уже сгнили останки Дантона, Шабо и ряда других действующих лиц этой трагикомедии, Омер Талон вернулся в Париж и был схвачен французской полицией. Его подвергли допросу. На вопрос об его отношениях с английским правительством Талон ответил:

– У меня никогда не было политических или дружественных отношений с английскими министрами; в то время шла речь о предложении по поводу переговоров относительно короля, находившегося в тюрьме. Дантон соглашался спасти всю королевскую семью посредством декрета об изгнании. . . .

Далее Талон сообщил, что он лично и через своего представителя пытался вести переговоры с прусским, австрийским и английским прави-

тельствами.

— Мне было указано,—заклучил Талон,—что иностранные державы не пойдут на денежные затраты, *которых требовал Дантон*, хотя он ставил условием, что сумма будет уплачена после того, как королевскую семью передадут в руки союзных комиссаров. . .

Один за другим проваливались демарши «спасителей» короля.

Тезис об апелляции к народу начисто уничтожил Робеспьер, обращение испанского правительства Конвент встретил презрительным молчанием, а подкуп депутатов. . .

Что мог бы сделать Окариц, если бы даже получил недостающие ему два миллиона? Что могли сделать Теодор Ламет, Талон или Дюмурье?..

Питт, который не стал рисковать английским золотом, был гораздо мудрее, чем его просители. Он понимал, что сейчас ни золото, ни угрозы, ни мольбы не остановят естественного хода событий. Подкупить кое-кого из депутатов было, конечно, не хитро, тем более что спасение коро-

ля отвечало их собственным планам. Но что это могло дать, если сами депутаты находились под постоянным воздействием Коммуны, секций, парижского народа, всей революционной Франции, единодушно требовавших смерти короля? Робеспьер и Сен-Жюст знали, что за ними стоят несокрушимые силы.

Те, кто хотел сберечь Людовика от казни, могли идти на любые выверты и ухищрения, но лишь до известного предела. Перейти предел—значило погибнуть.

Дюмурье вспоминал впоследствии, что во время своего январского пребывания в Париже он потратил много сил и стараний на то, чтобы заинтересовать видных членов Конвента в сохранении жизни Людовику XVI. При разговоре с Дантоном он с величайшим удивлением заметил, что его собеседник, еще вчера склонявшийся к соглашению, теперь вдруг стал непреклонным.

Дюмурье показалось, что он понял причину этого. Он узнал, что бывший министр Бертран де Моллевиль, эмигрировавший в Англию, желая

спасти короля, прислал в Конвент пакет с документами, доказывавшими, что в период Учредительного собрания многие обманывали Людовика и вели с ним переговоры с целью вымогательства денег. Дантон, утверждает Дюмурье, который был бы особенно скомпрометирован обнаружением этих бумаг, приложил все старания к тому, чтобы похоронить их вместе с королем.

О бумагах Бертрана сообщают и другие лица. По-видимому, этот факт имел место. Бумаги скрыл новый министр юстиции, расположенный к Дантону, Доменик Гара.

И все же Дюмурье ошибается. Боязнь материалов Бертрана—это лишь частный момент, который не мог определить поведения Дантона в январские дни. Основа была глубже и заключалась в том, что Дантон, так же как и английский премьер Питт, понял полную невозможность спасения Людовика.

В октябре он говорил Ламету:

– Я сделаю все, если у меня будет хоть один шанс на успех. Но если я потеряю всякую надежду, объявляю вам: я не желаю, чтобы моя голова

пала вместе с его головой. Я буду среди тех, кто его осудит. . .

Теперь шанса на успех не было. Это и определило дальнейшее поведение Жоржа.

Дантон вернулся в Париж 14 января, в день, когда началась подача голосов по вопросу о приговоре.

Характерно, что ни 14, ни 15 он не пошел в Конвент. Он все еще выжидал.

Зато 16 он явился, преисполненный бодрости, и голос его сразу же загредел на весь Манеж.

Он с жаром накинулся на жирондистов. Он решительно отбросил их попытку спрятаться за систему голосования: для осуждения короля не требовалось двух третей голосов, вполне достаточно было простого большинства, ибо простым большинством утверждалась республика! Столь же решительно отверг он последние надежды на акции зарубежных правительств: свободный французский народ не мог вступать ни в какие переговоры с тиранами!

Жорж был так активен и так бесцеремон-

но вмешивался в прения, перебивая других, что один из приятелей Бриссо не выдержал и со злобой воскликнул:

– Ты еще не король, Дантон!..

При поименном голосовании он заявил:

– Я не принадлежу к числу тех «государственных людей», которые не понимают, что с тираном не вступают в сделку, что королей нужно поражать только в голову, что Франции нечего ждать от Европы и надо полагаться только на силу нашего оружия. Я голосую за смерть тирана!..

Когда Дантон произнес эти слова, в рядах умеренных кто-то испустил возглас изумления; по-видимому, некоторые из жирондистов до конца надеялись на своего временного союзника. Впрочем, большинство их поступило так же, как он: боясь разгневанного народа, «государственные люди» проголосовали за смерть того человека, жизнь которого они так настойчиво и упорно отстаивали два с лишним месяца подряд.

Это было первое серьезное поражение Жиронды в борьбе против Горы.

Осужденный большинством голосов, Людовик XVI был казнен утром 21 января 1793 года на площади Революции при огромном стечении народа.

Момент казни предполагалось отметить пушечным выстрелом. Этого, однако, не сделали, ибо, по словам одного журналиста: «...голова короля не должна производить при падении больше шума, чем голова всякого другого преступника...»

Историки много спорили о причинах странного поведения Дантона в дни королевского процесса. Особенно непонятым казалось то обстоятельство, что он, монтаньяр, один из главарей Горы, долгое время хотел спасти монарха и в этом вопросе вольно или невольно оказался горячим союзником Жиронды.

Что побуждало его так действовать? Мягкосердечие? Или подкуп? А может, и то и другое?

Все это вполне допустимо. Дантон был доступен жалости и любил деньги. Но объяснять этим все—значило бы слишком примитивизи-

ровать великого якобинца. Дело было гораздо сложнее, и заключалось оно в общей политической линии Дантона—признанного вожака «болота».

Он никогда не был стопроцентным республиканцем, и новый строй Франции он принимал как неизбежное, но временное зло. Его идеалом оставалась «революционная монархия». Он, правда, давно уже разочаровался в Людовике XVI как короле. Но он не хотел его смерти, ибо не хотел полного разрыва с монархическими формами государства. Стать «цареубийцей» было для Дантона не легко, и он пошел на это только тогда, когда ясно понял, что его идеал в данное время абсолютно неосуществим, а сопротивление будет равносильно гибели.

Но когда он это понял, колебания его оставили. Он предвосхитил поведение Жиронды, отмежевался от нее, но потащил ее за собой. Бриссо-тинцы позже Дантона догадались о том, что их карта бита. Они слишком долго колебались и поэтому, капитулировав в вопросе о короле, все же не спасли себя от народной ненависти. И от это-

го их злоба к Жоржу Дантону, человеку, который их опередил и сумел выйти сухим из воды, стала еще большей.

От океана до Рейна

Через десять дней после казни Людовика XVI Жорж Дантон бросил с трибуны фразу, вызвавшую рукоплескания всего Конвента:

– Вам угрожали короли; вы швырнули им перчатку, и этой перчаткой оказалась голова тирана!

Речь Дантона от 31 января 1793 года снова была программной. На этот раз оратор наметил программу войны, войны против монархов Европы. Он четко изложил те желаемые результаты, к которым Франция должна была стремиться на поле брани.

– Я утверждаю, что напрасны страхи по поводу чрезмерного расширения республики. Ее рубежи точно определены самой природой. Мы ограничим ее со всех четырех сторон горизонта: со

стороны Рейна, океана, Альп и Пиренеев. Границы нашей республики должны закончиться у этих пределов, и никакая сила не помешает нам их достигнуть. . .

Так была сформулирована теория «естественных границ», благословлявшая дорогу внешних захватов. Оборонительная война кончалась. Впервые был намечен путь, по которому четыре года спустя двинулся Наполеон Бонапарт.

Этой осенью и зимой, казалось, все расточало улыбки молодой Французской республике. Кано-нада Вальми отбросила интервентов от Парижа, а полтора месяца спустя победа при Жемаппе дала Дюмурье ключи от Бельгии. Армия Кюстина, наступавшая вдоль Рейна, овладела Вормсом и Майнцем. На юге открывались горные кряжи Савойи и солнечное побережье Ниццы.

Повсюду, будь то в Бельгии или Рейнской Германии, в Шамбери, Льеже или Франкфуртена-Майне, французских солдат встречали с восторгом, как долгожданных освободителей. Революционная армия республики несла наро-

дам избавление от векового гнета абсолютизма и крепостного права. «Мир—хижинам, война—дворцам!»—этот лозунг санкюлотов был близок простому человеку любой европейской страны.

Жорж Дантон, вложивший столько огня души в дело национальной обороны, был упоен первыми победами республиканских армий. И по мере того как эти победы умножались, он намечал главные линии внешней политики французского государства.

Уже в конце сентября под гневный ропот нижних рядов Конвента он провозглашает и пропагандирует идею *революционной войны*:

— Я заявляю, что мы имеем право открыто сказать народам: у вас не будет более королей. Французы не потерпят, чтобы народы, жаждущие свободы, имели правителей, которые не являются выразителями их интересов, и чтобы эти народы, воздвигая у себя троны, непрерывно поставляли нам новых тиранов, на борьбу с которыми мы должны будем расточать свои силы. Посылая нас сюда, французский народ создал *великий ко-*

митет всеобщего восстания против всех тиранов мира. . . Я предлагаю, чтобы Конвент, призывая народы к завоеванию свободы, указал им все средства для уничтожения тирании во всех ее формах и проявлениях. . .

Умеренные были напуганы этой речью Дантона. Когда-то жирондисты выступали как инициаторы войны. Когда-то они кричали о «мировом пожаре» и рассчитывали на войну как на союзницу в своих честолюбивых планах. Но с тех пор «государственных людей» постигло слишком много разочарований, и их воинственный пыл не мог не охладеть. Теперь они видели в войне только один смысл: она отвлекала санкюлотов от внутренних трудностей и, главное, исторгала тех же санкюлотов из Парижа.

— Приходится,—говорил Ролан,—отправлять тысячи людей, которых мы держим под ружьем, так далеко, как только их могут занести ноги; в противном случае они вернулись бы и перерезали нам горло. . .

Разумеется, соратники Ролана должны были испугаться революционного пафоса речи свое-

го врага. Но Дантон, тот самый Дантон, которого жирондисты боялись и ни за что не желали брать себе в союзники, по существу, подсказал им другую, и притом гораздо более важную, сторону войны. Под его возвышенной фразеологией скрывались идеи *практического* подхода к войне со стороны французской буржуазии. В первый раз он ясно высказался 17 октября в связи с обсуждением испанской ноты.

– Нам незачем ожидать, чтобы враги захватили нашу территорию. Мы прекрасно понимаем, что означает *предупредить* их. Примем меры, чтобы войну вести у них на их территории и *за их счет*.

И затем, вновь и вновь возвращаясь к этой мысли, он развивает ее и в ноябре, когда требует присоединения Савойи ради установления «естественных границ», и в январе, когда столь же яро и под тем же предлогом советует аннексировать Бельгию.

Мало-помалу правительство Жиронды начинает понимать Дантона. Сущность его «революционной войны» как войны захватнической,

рассчитанной на ограбление соседних народов и получение важных экономических выгод, пленяет бриссотинское большинство Конвента, вследствие чего издаются знаменитые декреты от 19 ноября и 15 декабря 1792 года.

Первый из этих декретов предлагал «братскую помощь» со стороны Национального Конвента всем народам, которые пожелают возвратить себе свободу. Второй разъясняет, в чем эта «братская помощь» будет заключаться.

С одной стороны, Конвент объявлял «...отмену существующих налогов и податей, десятины, феодальных прав, постоянных и единовременных реальных и личных повинностей, исключительных прав охоты дворянства и всех вообще привилегий...».

Но одновременно с этим 7-й пункт декрета предлагает национальным комиссарам договориться с местными избранными властями «...относительно мер, необходимых для обороны и для обеспечения обмундированием и продовольствием войск республики, для покрытия расходов, которые вызваны или будут вызваны

проживанием на данной территории. . . ».

Так, неся в соседние страны «свободу», жирондисты, с благословения Дантона, рассчитывали покрыть средствами этих стран все расходы, связанные с завоевательной войной, и одновременно присоединить к Франции все те области, которые можно было подвести под теорию «естественных границ». Указы об аннексии Савойи, Ниццы, Льежской провинции были главными плодами этой политики.

Во время разъездов по Бельгии Дантон делает все возможное для проведения в жизнь своих планов. Он вдохновляет республиканские войска, собирает местных сторонников присоединения к Франции, организует их выступления. Он обхаживает Дюмурье, стремясь закрепить союз и дружбу с ловким авантюристом. Он, правда, знает, что Дюмурье грабит Бельгию, что он все время возобновляет сделки с подозрительными поставщиками и подрядчиками, вроде братьев Симон или аббата Эспаньяка. Но это мало тревожит Жоржа. Друзья Дюмурье—его друзья. Его никогда не обременяла излишняя щепетильность

в материальных делах. И теперь, уделяя главное внимание заботам общественным, он мимоходом не забывает и о личных. Вместе со своим коллегой Делакура во время второй поездки он отправляет на свой парижский адрес три воза с ценной поклажей: два—с тонким бельем и один—с серебром. . .

Так политика «революционной войны» приносит ее идеологу не только моральные, но и весьма ощутимые материальные результаты.

Угар побед и аннексий к зиме 1792/93 года охватил почти весь Конвент. Даже Гора поддавалась увлечению «революционной войной», разумеется имея в виду те действительно революционные лозунги, которыми эта война приправлялась. И только наиболее опытные и прозорливые вожди остались в стороне от общего порыва. Робеспьер предостерегал вновь и вновь от чрезмерного упоения победами, Марат прямо возражал против захвата чужих земель.

Голоса Марата и Робеспьера, как и зимою прошлого года, были одиноки. Но вскоре всем

пришлось убедиться, что только эти два депутата правильно поняли тайную опасность заманчивой ситуации.

Что же касается жирондистов, то, вдохновляемые Дантоном, они не замедлили отвергнуть своего вдохновителя. Используя теорию «естественных границ», они вовсе не собирались признавать и принимать в свою среду автора этой теории. Такова уж, видно, была судьба Дантона: сколь бы он ни старался вести дело к примирению, он не получал ничего, кроме новых тумачков и затрещин.

«Ты не прав, Гюаде»

Растущая озлобленность Жиронды была неприятна Жоржу. В прежнее время он охотно поддразнивал Бриссо и устрашал чету Роланов. Но сегодня Дантон с радостью поставил бы крест на старых распрях. Смотря вперед, он понимал, что по мере развития революции союз с Жирондой может стать для него спасительным: кто, кроме бриссотинцев, был в силах помешать слишком бурному и сокрушительному натиску слева?

При всех обстоятельствах Жиронда оставалась для Дантона щитом. Мечтая примирить ее с наиболее «благоразумными» лидерами Горы, а затем сблизить обе партии с «болотом», Дантон в случае удачи этой комбинации считал возможным «остановить» революцию на самом выгод-

ном для себя этапе.

И вот вопреки очевидной непримиримости Жиронды именно этой зимой Жорж идет на последнюю попытку. Он просит у главарей партии свидания. Они соглашаются. Встреча должна произойти ночью, в загородном доме, в четырех лье от Парижа. . .

Покров тайны—тайны настолько глубокой, что исследователям до сих пор не удалось раскрыть ее до конца,—окутывает это странное свидание. Тайна была необходима. Парижский народ не признавал сговоров, производившихся у него за спиной. Он требовал от своих депутатов честности и открытых действий. Осуждая комплоты бриссотинцев, санкюлоты, разумеется, тем более не могли бы простить что-либо подобное своему любимцу Дантону,

Он знал это и принял все меры.

Он прибыл, когда все уже были на месте.

И сразу понял, что напрасно совершил далекую прогулку.

Правда, Верньо и Кондорсе не выглядели

непримиримыми.

Но зато Бриссо... А в особенности Бюзо, Барбару—преданные друзья Роланов, и Гюаде, этот едкий и злой Гюаде...

Разговор, по-видимому, был долгим и горячим.

Традиция сохранила последние слова Дантона—горькие слова разочарованного «примирителя», обращенные к своему главному оппоненту:

– Гюаде, Гюаде, ты не прав; ты не умеешь прощать... Ты не умеешь приносить свою злобу в жертву отчизне... Ты упрям, и ты погибнешь...

Дантон ушел в ночь, а они остались. Было тихо. Сожалели ли они о происшедшем? Увидели ли на момент будущее? Если бы даже их вдруг озарило предвидение, поступить иначе они не могли.

Логика, беспощадная логика событий влекла жирондистов и Дантона в разные стороны. И как бы он или кто другой ни желали мира и союза, преодолеть глубинные законы жизни они были не

в силах.

Что же, однако, мешало этому союзу? Ведь, казалось бы, Дантон был близок «государственным людям» и по образованию и по имущественному цензу. Он принадлежал почти к тому же кругу, к тем же слоям буржуазии, что и они. Он и они придерживались почти одинаковых взглядов на собственность, на политический строй страны, на войну и мир.

Почти... Но через это «почти» перешагнуть было невозможно.

Для интеллигентных потомственных буржуа—жирондистов Дантон был прежде всего выскочкой, «нуворишем», разбогатевшим мужиком. Он слишком резок, слишком «невоспитан», слишком афиширует свою неразборчивость в средствах.

Ему не могли простить «сентября», проложившего глубокую борозду между Горой и Жирондой.

И—самое главное—ему не могли простить народной любви, ибо народ оставался страшным

пугалом для клики Бриссо—Роланов.

Вот в чем была основа непримиримости.

Жирондисты боялись масс, а Дантон опирался на массы.

Жирондисты, для которых революция давно закончилась, превращались в замкнутую, оторванную от народа касту, дрожавшую за свое положение, свою власть, свою жизнь.

Дантон, хотя и оглядывался назад, жил не одним настоящим, но и будущим. Для него народ продолжал оставаться главной силой в революции, а сама революция еще не достигла конечной точки.

Великий соглашатель использовал то оружие, которое для жирондистов было смертельным.

А потому они и отвергли его, отвергли решительно и бесповоротно, ибо союз с ним представлялся не только постыдным, но и гибельным.

— Ни Марат, ни Ролан!—заявлял Жорж и думал, что сможет избежать «крайностей», опираясь на «болото» и на «благоразумных» из обеих партий.

— Или Марат, или Ролан!—говорила жизнь.

Но за Маратом было грядущее, а дорога Ролана никуда не вела, и Марат был согласен на единство, от которого Ролан отказывался.

И Дантону не оставалось ничего иного, как объединиться с Маратом.

Отныне «государственных людей» ждала гибель.

Но и Дантон терял щит на будущее.

Даже оказавшись победителем, он неизбежно терпел поражение. С уходом Жиронды он сам попадал на то место, которое раньше занимала она.

А значит, и все удары, которые он подготовил против нее, должны были в конечном итоге обрушиться на его собственную голову.

8.
ПОБЕЖДЕННЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ
(ФЕВРАЛЬ—НАЧАЛО
ИЮНЯ 1793)

«Прощай, Габриэль!»

«Курьер, передавший мне твои строки, сейчас уезжает, и я спешу написать несколько слов. Какое счастье я испытал, получив от тебя весточку!.. Не забудь позаботиться о деревьях, посаженных мною в Арси, и поторопи своего отца с подготовкой дома в Севре. Тысячу раз обнимаю моего маленького Дантона. Скажи ему, что папа будет очень скоро опять с ним. . . »

Одно из немногих писем, принадлежащих его руке. Оно отправлено из Бельгии тяжело больной, почти умирающей женщине. Чувствует ли Жорж, что расстался с ней навсегда? Он очень хорошо знает о состоянии Габриэли, о ее безумной усталости и смертельной тоске. И тем не менее что волнует его? В первую очередь дере-

вья в Арси и дом в Севре—дела, как говорится, житейские. Еще бы! Ведь он по-прежнему рачительный хозяин и строгий помещик. Он беспрестанно увеличивает свои владения: дома, рощи, земли. Только за пять месяцев—с 20 августа по 27 декабря—он заключает одиннадцать нотариальных актов о приобретении новых участков. Дантона бьет лихорадка приобретательства: как министр, как комиссар Конвента—он думает о расширении Франции, как хозяин—о расширении своего личного домена. . . Где уж тут распускать нюни и прислушиваться к бабьей хвори!.. Уже много раз обходилось, и на этот раз обойдется как-нибудь.

Когда Жорж получил тревожное письмо от тестя, его точно громом поразило. Он не хотел верить самому худшему, но все же немедленно свернул дела и поспешил в Париж. В пути, как назло, встретилась тьма препятствий. Он прибыл на Торговый двор лишь днем 16 февраля. Никто не встречал его. Дверь квартиры была заперта на висячий замок. Горничная, Мари Фужеро, выглянувшая из помещения консьержки, разрыдалась

и упала на колени перед своим господином. . .

Не обошлось. Потухший очаг, опечатанные вещи, еще не выветрившийся запах лекарств. Габриэль скончалась на руках матери в ночь на 11 февраля, оставив мертворожденного ребенка. Ее похоронили за четыре дня до приезда убитого горем супруга. . .

Да, он был убит. Оглушенный, он словно поглупел, впал в транс. Он ничего не желал слушать, ничего не хотел понимать. И вдруг понял все. Понял и почувствовал, что безвозвратно потерял самое дорогое в жизни, то, что еще недавно совсем не ценил, принимал как должное, разумеющееся само собой. . .

Жорж был, конечно, очень плохим мужем. Последний год, во всяком случае. Он сам решил про себя: большому кораблю—большое плавание. Обладая железным здоровьем и редкой выносливостью, он чередовал дни упорного труда с ночами диких оргий. Таскаясь по самым грязным кабакам Пале-Рояля, он вырывал свое и в светских салонах и за театральными кулисами. Известная

артистка госпожа Бюффон, любовница герцога Орлеанского, считала за честь для себя его частые визиты.

Сам погрязая все глубже в бездонной яме, Жорж топил и других. Нервная, впечатлительная Люсиль Демулен давно уже должна была испытывать к нему чувство глубокой ненависти; податливый Камилл, готовый защитить грудью своего друга в часы опасности, теперь сопровождал Жоржу во всех его ночных экскурсиях вместе с циничным Фабром, жадным Делакура и новым членом компании—красавчиком Эро де Сешелем. Их постоянно окружали какие-то спекулянты, поставщики, темные дельцы всех мастей—люди денежные и при некоторых обстоятельствах совершенно незаменимые. . .

А что делал он в Бельгии? Едва лишь Дантон и Делакура появлялись на очередном постоялом дворе, звучала повелительная команда:

– Хороший стол и хороших девочек!

Потом пьяные дебоши в обществе Дюмурье и тех же подозрительных дельцов.

И так все время. . .

Кто мог бы терпеть подобное? Кто мог бы простить, забыть и облегчить тяжелые дни похмелья?..

Дантон вспоминал глаза своей Габриэли— темные, внимательные, чуть-чуть укоряющие. Но—ни слова упрека. Дома всегда его ждали покой, отдых, нежность.

И вот все это ушло. Этого больше не будет.

Жорж машинально комкал в руках какой-то клочок бумаги. Немного придя в себя, он развернул его. Письмо! Письмо, которое вручили ему, когда он вошел в комнату. Поглощенный горем, он сразу не обратил на него внимания. Теперь, вскрыв конверт, Дантон прочел:

«15 февраля 1793.

Если в том несчастье, которое одно способно потрясти душу такого человека, как ты, уверенность в сердечной преданности друга может принести тебе утешение, ты найдешь его во мне. Я люблю тебя больше, чем

когда-либо, и буду любить до самой смерти. В эти минуты я нераздельно с тобой. Не закрывай своего сердца перед другом, который переживает со всей полнотой твое горе. Будем вместе оплакивать наших близких, и пусть действие нашей глубокой печали вскоре почувствуют тираны, виновники наших общих и личных несчастий. Мой дорогой, я посылаю тебе эти слова, идущие из глубины сердца; я бы уже прилетел к тебе, если бы не щадил первые минуты твоей справедливой скорби.

Робеспьер».

Жорж перечитал несколько раз каждую фразу. Кое-что показалось ему не вполне ясным. Что это, например, за намек на «виновников наших общих и личных несчастий»? В целом письмо поражало: оно было совсем не в духе чопорного Максимилиана.

Сначала Дантон хотел порвать и выбросить

это письмо. Но затем, повинувшись внутреннему голосу, он спрятал его. Благодаря этому письмо сохранилось для потомства.

Прошли два дня. Легче не стало. Жорж принял решение: он не успокоится до тех пор, пока в последний раз не увидит умершую. Он должен проститься с ней!

Эксгумацию разрешили без задержки. Утром 19 марта в сопровождении знакомого скульптора Дантон явился на кладбище округа Сент-Андре. Могильщики принялись за работу.

Что увидел он, когда была поднята крышка гроба?..

Представление об этом может дать мраморный портрет Габриэли, изготовленный скульптором Дезеном по маске, снятой им в тот же день с покойной, хранящийся ныне в музее Труа.

В этом лице, уже тронутым тлением, расплывшемся и бесформенном, отечном лице преждевременно постаревшей женщины с больным сердцем, никто не узнал бы красавицы, дочери столичного ресторатора Шарпантье.

Дантон долго стоял у раскрытой могилы. Непрошенные слезы ручьем катились из его маленьких запавших глаз. Прощай, Габриэль, прощайте, юность и розовые несбывшиеся мечты. . .

Ему, наконец, стало спокойнее.

Потянулась юридическая волокита. Так как жена умерла в отсутствие мужа, суд опечатал имущество. Теперь началась канитель с введением в наследство. Снятие печатей и выправление соответствующих документов заняло две недели.

За это время Жорж ни разу не был в Конвенте. Он почти ни с кем не встречался.

В начале марта вместе с Робером, испросившим для себя командировку, он снова укатил в Бельгию, где с нетерпением поджидал его Делакура.

Знакомые места встретили незнакомой отчужденностью.

С 1 февраля Франция официально находилась в состоянии войны с Англией и Голландией. Дюмурье рассчитывал легко овладеть северной соседкой Бельгии, но, промешкав до 17 фев-

раля, он потерял удобное время и дал союзникам возможность собрать разрозненные силы. И вот, перейдя границу, после первых незначительных успехов генерал увидел, что предприятие его трещит по всем швам. Он еще не верил этому, еще надеялся взять быстрый реванш, но вскоре оказалось, что эвакуировать придется не только вновь занятые области Голландии, но и целиком всю Бельгию.

Когда 5 марта Дантон и Делакура прибыли в Брюссель, они убедились, что все их прежние старания сведены на нет.

Брюссельские санкюлоты—приверженцы объединения с Францией больше не пользовались доверием у своих сограждан. Бельгийцы начинали чувствовать и понимать подоплеку французской политики «поддержки». Шел полный развал; разваливалась и армия, не имевшая ни фуража, ни одежды, не говоря уже о боевом снаряжении. Лиходеи поставщики, приголубленные Дюмурье, брали огромные деньги, но не выполняли заказов или снабжали негодными товарами. Дезертирство принимало массовый характер.

Дантон быстрее других понял, что здание, столь хитро им возведенное, рушится на глазах. Он поспешил в Льеж и обнаружил город в состоянии паники и анархии: пока Дюмурье упускал время в Голландии, австрийцы решили ударить по Бельгии, и это гражданам Льежа было хорошо известно.

Растормошив Делакура, Жорж переменял свежих лошадей и вместе со своим коллегой стрелой полетел в Париж. Нельзя было терять ни минуты.

Трясаясь днем и ночью в тесном возке, почти без остановок пробегая почтовые станции на равнинах Геннегау и Пикардии, на лесистых дорогах Шампани и Иль-де-Франса, он думает одну и ту же невеселую думу. И мысли об умершей жене постоянно переплетаются с мыслями о войне, о политике, о партийной борьбе. . .

Дантон понимает, что значительная доля ответственности за происшедшее лежит на нем. Он не все рассчитал, он слишком увлекся, слишком легкомысленно отнесся к первым, еще нетвердым

успехам. И, пожалуй, он переоценил военные таланты Дюмурье...

Но главная вина, несомненно, падала на головы жирондистов. Эти крикуны, патентованные краснобаи возглавляли страну. В их руках сосредоточивались ресурсы, средства дипломатии и контроля. И они все пропустили, не уловили основного и не ударили пальцем о палец, чтобы что-то изменить, исправить.

Да, Робеспьер, Марат и их друзья меньше кричали, но были абсолютно правы: Жиронда погубит Францию. И подобно тому, как некогда, использовав теорию «естественных границ», бриссотинцы оттолкнули ее создателя, так теперь он был готов оттолкнуть их и, обличая их великое преступление, похоронить в нем свою «маленькую» вину.

Воспоминания о жене и обстоятельствах ее смерти также толкали Дантона в атаку против Жиронды. Теперь ему хорошо был понятен намек, искусно оброненный в письме Робеспьера:

«... пусть действия нашей печали почувствуют тираны, виновники наших общих и личных

несчастий. . . »

Этот намек расшифровал ему Колло д'Эрбуа.

Жорж узнал, что, выступая в Якобинском клубе, Колло горячо утверждал, будто гражданку Дантон убила свора Бриссо—Роланов. Проклятые роландисты, используя служебное отсутствие своего врага, усилили против него кампанию газетной травли. На страницах их журналов было опубликовано множество статей, обвинявших «сентябриста» Дантона во всех смертных грехах, называвших его «злодеем» и «убийцей». Тяжело больная женщина, читая изо дня в день подобные пасквилы, не могла оставаться спокойной. Ее сердце не выдержало. . .

Дантон хотел верить Робеспьеру и Колло д'Эрбуа. Ему доставляло горькую отраду думать, что те, против кого он готовился выступить как политический противник, разрушили его семейное счастье. . .

Эти размышления придают Дантону новые силы.

Он прибывает в столицу утром 8 марта и, полный решимости, сразу идет в Конвент.

Десятое марта

Для начала он готов воздержаться от резких выпадов. Он просто предупреждает Конвент в целом: Берегитесь! Стране вновь придется пережить дни, напоминающие август и сентябрь прошлого года! Если не будет возбужден и поддержан народный энтузиазм, если допустят окружение войск Дюмурье в Бельгии, если срочно не мобилизуют те тридцать тысяч солдат, которым надлежало вступить в строй еще к 1 февраля, размеры бедствий трудно предвидеть!

Это лишь косвенная угроза Жиронде.

Бриссотинцы отказываются ее понимать.

Тогда Жорж обращает взор на санкюлотов столицы. Он видит то, на что не обращал большого внимания в прошлые месяцы, когда был по

горло занят другими делами. Он приходит к выводу, что общая обстановка в Париже, в особенности если ее немного подогреть, будет ему наилучшей союзницей. Двух дней достаточно для того, чтобы, опираясь на волну нового революционного подъема, он возвысил голос и от предупреждений перешел к атаке.

В эти дни столица переживала канун нового восстания.

Мартовские события назревали давно. Уже с конца прошлого года волнения среди санкюлотов стали повседневным явлением. Все возраставшие выпуски необеспеченных бумажных денег, голод и дороговизна, саботаж богатых фермеров и грязные махинации скупщиков обескровливали семьи патриотов, победителей при Вальми и Жемаппе. Стоимость прожиточного минимума возросла в несколько раз, а заработная плата рабочих продолжала неуклонно падать. Хлеб и мясо, продававшиеся по спекулятивным ценам, делались недоступными для простых людей. Новая Коммуна, возглавляемая

якобинцами-демократами Шометом и Пашем, старалась чем могла облегчить участь бедняков. Коммуна, в частности, установила дотацию булочникам для понижения цен на хлеб в столице. Но это была лишь капля в море. Народ чувствовал, что необходимы более решительные и общие меры, которые парализовали бы своекорыстную экономическую политику Жиронды и вывели революцию из тупика. Народ требовал установления твердых цен, беспощадной борьбы со скупкой и саботажем и прежде всего устранения с политической арены главных виновников всех бедствий—жирондистов.

Выразителями этих справедливых требований масс стали парижские агитаторы, которых сторонники Бриссо и Ролана прозвали «бешеными». Их возглавили бывший священник Жак Ру и мелкий почтовый служащий Жан Варле.

В феврале 1793 года под руководством «бешеных» по столице прошла особенно широкая волна возмущений. В начале марта после известий, привезенных Дантоном с фронта, возмущение было готово перерасти в мощный взрыв. Те-

перь Варле прямо призывал к восстанию и к расправе с «государственными людьми».

Современники обратили внимание на одну деталь: в событиях 9—10 марта наряду с «бешеными» выступали также некоторые из общепризнанных агентов Дантона. А позднее стало известно, что сам Дантон якобы говорил:

– Необходимо восстание. . . Пусть народ двинется к Конвенту и очистит его.

Точно ли эти слова были произнесены Жоржем 9 марта? Во всяком случае, из всех его последующих действий отчетливо видно, что теперь он не только порывает с Жирондой, но и готов объявить ей войну.

Когда утром 10 марта Жорж Дантон спокойно поднимался на ораторскую трибуну Манежа, он хорошо помнил о том, что произошло накануне. Он видел перед собой толпу ревущего народа, со всех сторон окружившего Конвент. Он слышал призывные звуки набата, сливавшиеся с требованием предать суду клику Бриссо—Ролана. Он не забыл, что санкюлоты разгромили типо-

графии наиболее злобных апологистов Жиронды. И этот новый вихрь народной ярости, как обычно, давал Дантону уверенность и смелость, подсказывая нужные слова и верный тон речи.

Как и в своем предыдущем выступлении, оратор прежде всего приковывает внимание слушателей к внешней опасности. Но теперь он более пространно излагает свою ведущую мысль.

Главный враг на данном этапе—аристократическая Англия. Разбить Англию и низринуть реакционный кабинет Питта можно, лишь одержав полную победу в Голландии. Но чтобы эта победа была одержана, необходим прежде всего *народный энтузиазм*. Однако откуда же взяться энтузиазму у голодного, обездоленного народа? Значит, чтобы повернуть санкюлотов от внутренних забот к внешней войне, необходимы *материальные жертвы со стороны буржуазии*.

— У нас нет времени для разговоров,—повелительно напоминает Жорж своим слушателям,—необходимо действовать... Пусть ваши комиссары немедленно

отправятся в путь, пусть они скажут этому *подлому классу*, пусть скажут *богачам*: ваши богатства должны пойти на пользу отечеству, как идет наш труд; у народа есть только кровь—он ее расточает; а вы, жалкие трусы, *жертвуйте вашими богатствами!*..

Разумеется, это только декларация. Дантон вовсе не собирался предлагать практических мер к облегчению участи низов. Но эта декларация леденит души жирондистов. Оратор не дает им времени прийти в себя. Под аплодисменты галерей он напоминает своим соперникам о недавнем прошлом:

– Я был уже в подобном положении, когда неприятель находился на французской земле. Я говорил им, этим *мнимым патриотам*: «Ваши распри пагубны для дела свободы. Я вас всех презираю, вы все изменники. Победим врага, а тогда будем заниматься спорами!» Я говорил: «Что для меня моя добрая слава! Пусть даже мое имя покроется позором, лишь бы Франция была свободна!» Я согласился прослыть *кровопийцей!* Так будем же пить, если нужно, кровь

врагов человечества, лишь бы Европа, наконец, стала свободной!..

Конечно, кивок на Европу—это дань революционной фразеологии. Но главное—«государственные люди» могут не строить себе иллюзий: Дантон снова согласен стать «кровопийцей», повторить свое сентябрьское министерство. Он, правда, пытается успокоить собственников, преимущественно своих друзей из «болота»:

– Национальный долг будет покрыт *за счет врагов народа*; восстановится равновесие между ценой товаров и стоимостью денег, и тогда народ сможет воспользоваться плодами свободы. . .

Однако, кого он подразумевает под «врагами народа», оратор не разъясняет. И тут же делает многозначительное добавление:

– Подумайте об этом! Пусть богатые прислушаются к этим словам! Надо, чтобы *наши победы* оплачивали наши долги, или же их *будут оплачивать богачи*, притом в кратчайшие сроки!..

Итак, Жорж ставит перед правительством

Жиронды альтернативу: или оно обеспечит внешние победы, или ему будет худо! Впрочем, в первое он уже больше не верит, и если его бурная речь заканчивается очередным призывом к единению, то теперь в устах Дантона это не более чем риторический прием. Это трибун блестяще доказал к концу дня того же 10 марта.

Среди идей, носившихся в воздухе Парижа в мартовские дни, особенно часто и настойчиво повторялась мысль о создании Революционного трибунала.

Эта мысль, возникнув на улице, обсуждалась в Якобинском клубе и не могла миновать Конвент.

Чрезвычайный трибунал для наказания врагов революции был создан сразу же после восстания 10 августа. Но тогда жирондисты быстро свели на нет его деятельность, а затем и формально он был ликвидирован.

Теперь так просто отмахнуться от этого вопроса законодатели не могли. На утреннем заседании 10 марта вскоре после речи Дантона воз-

никла дискуссия об учреждении трибунала. Жирондисты устами неугомонного Бюзо горячо возражали. Двучленный Барер предложил отложить решение. Многие его поддержали. Отовсюду летели крики:

– Отсрочить дебаты!

– Пора делать перерыв! Уже шесть часов!..

Председатель объявил заседание оконченным.

Но тут вдруг снова вскочил Дантон, и голос его прогремел на весь зал Манежа:

– Я предлагаю всем честным гражданам не покидать своих мест!..

Удивленные депутаты остались на местах. Жорж продолжал:

– Как, граждане? Неужели в момент столь грозной опасности вы могли бы разойтись, не приняв решений, которых требует от вас спасение народного дела? Поймите же, сколь важно своевременно установить юридические меры, которые карали бы контрреволюционеров! Ибо трибунал необходим именно для них; для них этот трибунал должен заменить верховный трибунал народной мести!.. Вырвите их из рук этой мести—

таково требование гуманности!..

В этот момент из нижних рядов раздался отчетливый выкрик:

– Сентябрь!..

Казалось, оратор только этого и ждал. Голос его вдруг приобрел особенную силу:

– Да, сентябрь, если Конвент не учтет ошибок своих предшественников!.. Будем страшными, чтобы избавить народ от необходимости быть страшным. Организуем трибунал не как благо—это невозможно, но как *наименьшее* зло. И пусть народ знает, что меч закона неотвратимо обрушится на головы всех его врагов. . .

Тактика Дантона совершенно ясна. Нанося удар в сердце Жиронды, он одновременно пытается внушить остальному Конвенту: чтобы спасти Францию и ввести революцию в «правильное» русло, нужно взять на себя руководство народным движением. Нужно действовать, как шесть месяцев назад, быстро, решительно, но мудро. Революционная власть должна быть передана в сильные и осторожные руки. Такие руки

есть: они принадлежат ему, Дантону.

Призвав к созданию Революционного суда, оратор вслед за этим требует, чтобы Конвент реорганизовал исполнительную власть: пусть отныне министры избираются непосредственно из среды депутатов.

Как ни вуалирует Дантон свое новое предложение, как ни прячет его под грозными тирадами о трибунале и врагах народа, ему тут же приходится убедиться, что своей тонкой, но двойной игрой он во многом ослабил эффект замечательной речи. Ибо и Гора, и Жиронда, и «болото» почувствовали, что идейный борец хлопочет, между прочим, и о себе. Он мечтает снова стать министром, главой Исполнительного совета, продолжая при этом сохранять звание народного депутата... Уж не из-за этого ли и затеял он всю эту шумиху?..

И вот снова, как в дни суда над Людовиком XVI, раздается громкий возглас из рядов Жиронды:

– Ты действуешь, как король!..

– А ты рассуждаешь, как трус!—парирует

Дантон. Но это не может спасти положения. Бриссотинцы ему угрожают, «болото» трусливо отворачивается, монтаньяры, боясь обвинения в «диктатуре», молчат.

Дантон не снижает голоса. Он делает вид, будто ничего не заметил, и подводит общий итог своим обоим выступлениям:

– Итак, я делаю вывод: сегодня решаются вопросы о создании трибунала и реорганизации исполнительной власти; завтра начинаются решительные действия. Завтра ваши комиссары должны отправиться в путь, завтра же вся Франция, как один человек, должна подняться на врага. Надо оккупировать Голландию и освободить Бельгию; надо сокрушить мощь Англии; пусть друзья свободы восторжествуют над этой страной; пусть наши победоносные армии принесут всем народам свободу и счастье, и пусть весь мир будет отомщен!

Речь закончена на подъеме. Оратор спускается с трибуны под гром аплодисментов. Но по особым чуть заметным признакам он догадывается, что полной победы на этот раз не одержал.

Действительно, после часового перерыва Конвент утверждает декрет о Чрезвычайном трибунале, но отказывается пересматривать статус исполнительной власти.

Может ли особенно огорчить Дантона эта частичная неудача? Ни в коей мере. В целом он достиг, чего хотел: враги снова увидели его во всем блеске и снова почувствовали дыхание «сентября».

Пусть-ка теперь задумаются, пусть поостерегутся на будущее. Он прекрасно использовал очередную вспышку народного гнева, и если даже полнота власти на сегодня от него ускользнула, ну что же! Он добьется ее завтра!..

Жорж видел, что движение в Париже пошло на убыль. Правда, оно еще продолжалось всю вторую половину дня 10 марта, так что многие жирондисты, напуганные до смерти, не ночевали у себя дома. И все же в восстание оно не переросло. Пока что ведущие монтаньяры, в том числе Робеспьер и Марат, побоялись заключить союз с «бешеными». Нужен был еще месяц напряжен-

ной борьбы, чтобы демократы-якобинцы изменили свое отношение к новым парижским агитаторам.

Вспышка начала марта сделалась прелюдией к последнему этапу борьбы между Горой и Жирондой. Теперь война должна была стать неумолимой и беспощадной. Этому особенно содействовала измена Дюмурье.

«Вы видели лучше, чем я...»

Кто из парижских литераторов, художников, артистов не знал в девяностые годы дома Тальма?

Этот дом на улице Шантерен славился своим гостеприимством. Великий трагик любил общество, а его первая жена—Жюли—могла бы стать Аспазией своего века, если бы то время походило на век Перикла.

Общество, собиравшееся у Тальма, было довольно пестрым. Здесь начинающие поэты, не робея, читали свои стихи, а начинающие композиторы всегда срывали первые аплодисменты. Это и неудивительно: главными приятелями хозяев дома были жирондисты, увлекавшиеся не только философией, но и литературой и мнившие себя знатоками всех видов искусства.

На улице Шантерен встречались почти все всегдашние гости салона Манон Ролан. Сюда заходили и Кондорсе, и Луве, и Роже-Дюко. Иногда бывал сам Ролан. Всякий раз, когда приезжала прелестная госпожа Кандель, актриса Комеди Франсэз, бывшая превосходной пианисткой, ее сопровождал Пьер Верньо. Не забывал Тальма и страстный поклонник театра Жорж Дантон.

Гости собирались в большой галерее, увешанной галльскими касками, греческими кинжалами, индийскими стрелами и турецкими ятаганами—разнообразными свидетелями коллекционерских наклонностей их хозяина. Юная Кандель садилась за фортепьяно. Кто-нибудь пел, кто-нибудь читал. Музицирование чередовалось с легким флиртом и разговорами на политические темы. Впрочем, очаровательные нимфы дома Тальма не оставляли гостям слишком много времени, чтобы заниматься политикой.

16 октября 1792 года на улице Шантерен давали блестящий праздник в честь друга Тальма, героя дня генерала Дюмурье.

Дюмурье приехал с фронта как триумфатор,

упивающийся своим триумфом. Он посещал собрания, клубы и зрелища, стараясь выведать общественное мнение и ухаживая за всеми партиями, которые, в свою очередь, ухаживали за ним.

В Конвенте он говорил:

– Свобода торжествует повсюду; направляемая философией, сокрушая деспотизм, она облетит весь мир!..

В Якобинском клубе он бросился в объятия к Робеспьеру, слушал славословия Дантона и восхвалял Колло д'Эрбуа.

Дюмурье стал временным кумиром Парижа, а так как все знали, что он страстно любил удовольствия, на него посыпались приглашения, и все свое время, оставшееся от клубов и Конвента, он делил между театром, салонами и более значными местами.

На празднике у Тальма он чувствовал себя великолепно. Политики ему льстили, поэты и актеры курили фимиам, а прелестные глаза и низкие вырезы корсажей нимф дарили весьма щедрые обещания. Среди веселой болтовни, смеха и роскошных дамских туалетов генерал на время

забыл обо всем остальном. . .

Вдруг произошло смятение. Сантер, встречавший гостей, доложил о приходе. . . Марата!

Раздались крики ужаса, и несколько человек покинули зал. В следующий момент на пороге появился легендарный Друг народа.

На нем была старая фуфайка, шею небрежно повязывал красный платок. Его сопровождали двое санкюлотов, худые и скверно одетые.

Марат шел прямо к герою торжества.

Оглядев незваного посетителя с головы до ног, Дюмурье спросил с оттенком презрения:

– Так это вас называют Маратом?..

Но Другу народа было не до праздных разговоров. Он был поглощен расследованием вопроса о несправедливом наказании, наложенном Дюмурье на два республиканских батальона. И он без всякого смущения явился прямо сюда, чтобы призвать к ответу прославленного полководца.

– Я требую сведений о разоруженных батальонах.

– Все документы находятся в военном министерстве.

– Я обегал все канцелярии, но ничего не обнаружил. . .

Разговор шел в повышенном тоне. Наконец Дюмурье решил показать себя оскорбленным:

– Вы слишком резки, господин Марат, я не стану разговаривать с вами!—И он повернулся спиной к Другу народа.

Так окончилась эта символическая встреча.

Марат, отличавшийся особым даром распознавать людей, первым прочитал на лбу Дюмурье печать измены, прочитал тогда, когда все остальные боготворили авантюриста как героя.

Год спустя после этих событий, тоскливо влача в изгнании унылые дни бесполезной жизни, Дюмурье писал в своих мемуарах:

«. . . Я хотел вторгнуться в Голландию. Там я располагал бы необходимыми средствами. Обладая Голландией, где я, пожалуй, позволил бы грабеж, я отобрал бы республиканские войска, на которые мог положиться, и распределил их среди пехотных линейных войск, в которых чувствовал недостаток. С этой грозной армией я вступил бы в Бельгию и освободил ее вторично от новых

тиранов—членов Конвента. Бельгийцы доставили бы мне свежие силы. С ними я атаковал бы австрийцев, заставил их отступить в Германию, а затем во главе многочисленной непобедимой армии вошел во Францию с конституцией в руках, уничтожил республику, истребил ее сторонников, восстановил законы короля в моем отечестве и продиктовал мир всей Европе. . . »

Дюмурье забывает упомянуть об одной «мелочи»: для себя лично он собирался приберечь «королевство», составленное из Бельгии и Голландии. . .

Авантюрист старого закала, тех времен, когда, по выражению историка²⁹, война была чем-то средним между дуэлью и игрой в шахматы, Дюмурье понадеялся на свой авторитет, военный талант, а также на противоречия, царившие в стане республиканцев. Но он не учел, что имеет дело с совершенно новыми людьми и новыми явлениями; он не знал даже как следует своих собственных солдат; отсюда начинались все его

²⁹[29] А. Сореля.

просчеты, приведшие к полному краху столь тщательно составленный план.

Дюмурье обрек себя на предательство с того дня, как вступил на путь политических интриг. Но разоблачить его помешало то соревнование лиц и партий, которое он широко использовал и в котором лидеры Жиронды и Дантон, равно ухаживавшие за популярным генералом, сыграли одинаково незавидную роль.

«Естественные границы», достигнутые победоносными, армиями санкюлотов за несколько месяцев упорной борьбы, были утрачены в течение всего нескольких дней. Во второй половине марта, после поражения при Неервиндене, французы оставили Голландию, Бельгию, а затем и весь левый берег Рейна. Союзные войска вновь приблизились к рубежам республики.

Эта, казалось бы, внезапная серия военных неудач революционной Франции объяснялась цепью ошибок жирондистского правительства и генералитета, а также известной разочарованностью населения оккупированных областей в своих новых повелителях.

Дюмурье, занятый личными планами, дал армиям коалиции передышку и возможность укрепить свои силы. Между тем благодаря мародерству и хищениям со стороны протезируемых тем же Дюмурье поставщиков французская армия разлагалась и, вместо того чтобы увеличиваться, к весне 1793 года потеряла почти половину состава.

Жирондистский Комитет общественной обороны много шумел, но, по существу, ничего не сделал для победы. Постоянно споря и ссорясь между собой, не найдя общего языка с генералами и военным министерством, бриссотинцы молились на Дюмурье и ожидали чудес от морочившего их авантюриста. Жирондистская пресса, когда начались поражения в Голландии, скрывала их от общества и еще долгое время кричала о мифических успехах разбитых войск.

Первыми забили тревогу Дантон и Делакура после своего возвращения из Бельгии в начале марта. Но, говоря о разгроме армии, Дантон все еще не хотел вскрывать одной из главных его

причин; внутренне сомневаясь в Дюмурье, он, слишком многим связанный с генералом, не хотел верить в его измену и тем более извещать об этой измене других.

Между тем честолюбивый генерал, видя крушение своих надежд, вел себя все наглее и наглее. Он действовал вразрез с решениями Конвента, закрывал местные филиалы Якобинского клуба и во всем проявлял чисто диктаторские замашки. Когда комиссары Исполнительного совета попытались его образумить, он отправил 12 марта в Конвент исключительно дерзкое письмо.

Пораженный председатель Собрания не решился обнародовать это письмо и отправил его в Комитет обороны. В Комитете Робеспьер тотчас же потребовал обвинительный декрет против Дюмурье.

Этой мере воспротивился Дантон. Он заявил, что Дюмурье пользуется доверием солдат и что его отозвание может стать губительным для фронта. Тогда Комитет решил снова отправить Дантона и Делакруа в Бельгию, чтобы сделать последнюю попытку договориться с мятежным ге-

нералом.

— Мы его излечим или свяжем по рукам и ногам!—бодро заявил Жорж перед отъездом.

Тщетные надежды! В течение целой ночи с 20 на 21 марта Дантон и его коллега старались образумить Дюмурье, который, со своей стороны, пытался привлечь их на свою сторону. В результате комиссары добились лишь того, что генерал написал председателю Конвента короткую записку, в которой просил не делать выводов из его предыдущего письма и ждать дальнейших объяснений. С этой запиской в кармане Дантон и поскакал в Париж.

Из Лувена в Париж можно было добраться за двое суток. Но странное стечение обстоятельств! Именно теперь, когда каждый миг был особенно дорог, Жорж почему-то надолго застрял в пути и прибыл в столицу лишь к вечеру 26 марта. . .

За эти шесть суток утекло очень много воды. Дюмурье вступил в сговор с австрийским главнокомандующим, герцогом Кобургским, и сдал ему несколько важных крепостей.

Факт измены был скреплен договором.

Записка, прибывшая с Дантоном в Париж, становилась бесполезной.

Мог ли проницательный Жорж Дантон, превосходный политик и тонкий дипломат, не понимать, что происходит вокруг него? Мог ли он *даже теперь* не догадываться об истинных замыслах Дюмурье? В Париже его догнали три письма Делакура, оставшегося в Бельгии. Эти письма, в которых последовательно нарастает тревога, кончаются советом Жоржу «оставить обычную беспечность» и «арестовать врага родины». Об измене Дюмурье твердят все. Робеспьер требует его немедленного отозвания. И лишь один Дантон продолжает его защищать. Он пытается выгородить генерала и в Комитете обороны, и в только что образованной Комиссии общественного спасения, и в Якобинском клубе. Да, конечно, Дюмурье груб и бестактен, у него своя манера действовать, он окружил себя негодными людьми, но ведь он единственный способный полководец! Его надо сохранить во что бы то ни стало, иначе все завоевания погибнут!

С упорством маньяка держится Дантон за эти мифические «завоевания», которых больше не существует. Очень уж многим связал он себя с теорией «естественных границ», а следовательно, и с оскандалившимся генералом. Он уверяет других и себя самого в том, в чем давно уже потерял уверенность, что давно грызет его душу тяжкими сомнениями. И только когда непреложные факты бьют ему прямо в лоб, когда надежде не остается больше ни малейшей лазейки, он вдруг трезвеет. Инстинкт самосохранения начинает свою работу. Завоеваний не спасешь, надо спасаться самому! Но как? Теперь, зарвавшись сверх всякой меры, как же будет он отступать к пределам жестокой реальности? И кто вызволит его из трясины, в которой он столь глубоко увяз?

Дантон знает: это может сделать только народ, именем которого действуют все партии, но который ему, Дантону, до сих пор всегда служил верной опорой.

И Жорж апеллирует к народу.

27 марта он произносит в Конвенте одну из

тех блестящих речей, которые надолго остаются в памяти. О чем же говорит он, однако? Об измене Дюмурье? О мерах, которые следует немедленно принять против мятежного генерала? Ничего похожего. Дантон выясняет очередные задачи революции. Он обрушивается на «внутренних врагов» и напоминает, что Чрезвычайный трибунал все еще не организован.

— Что же скажет на это народ, повсеместно готовый подняться, народ, который видит и понимает все происходящее? Мелкие страсти волнуют его представителей, в то время как они должны бы направить всю свою энергию и против внутреннего и против внешнего врага.

Помните,—заклинает оратор,—что революция может быть совершена только *самим народом*: он—орудие революции, а вы—призваны руководить этим орудием. . . Революция разжигает все страсти. Великий народ в революции подобен металлу, кипящему в горниле. Статуя свободы еще не отлита, металл еще только плавится. Если вы не умеете обращаться с плавильной печью, вы все погибнете в пламени!..

Создавая этот необыкновенно яркий и сильный образ, гениальный импровизатор сам доводит Конвент до точки кипения. Среди общих аплодисментов он снова требует вооружения народа за счет богачей, снова призывает к выполнению революционного долга.

– Покажите себя беспощадными, покажите себя революционерами, как сам народ. И вы спасете его. . .

Только после этого—ибо скрыть горький факт все равно уже невозможно—трибун вдруг вспоминает о Дюмурье. Правда, он даже не хочет назвать его имени. Как бы вскользь, между прочим он говорит о «генерале, который пользовался большой популярностью, а потом пришел к печальному концу», будучи «восстановлен против народа». Кто же, однако, его восстановил?

Вот тут-то Дантон и выкладывает свой главный козырь, доверительно сообщая Конвенту:

– Я процитирую вам один факт, о котором прошу немедленно забыть. Ролан писал Дюмурье, который показывал это письмо мне и Делакруа: «Вы должны соединиться с нами, что-

бы уничтожить эту парижскую партию, особенно Дантона». Судите сами, граждане, каким примером мог служить и какое ужасное влияние мог оказывать человек с воображением настолько извращенным, чтобы высказывать такие мысли, причем человек этот стоял во главе республики! Но оставим все это и опустим завесу над прошлым...

Конечно, о завесе—это лишь ради красоты стиля. И в существовании приведенной цитаты можно очень сильно сомневаться. Но замечателен сам выверт Дантона. Открестившись, наконец, от предателя-генерала, он единым махом взваливает и вину за это предательство и все его последствия целиком на плечи Жиронды!

Слишком поздно. На этот раз Жиронда его опередила.

Правительство, наконец, решилось на энергичные меры. 29 марта в Бельгию были посланы четыре комиссара во главе с военным министром. Они должны были отрешить Дюмурье от командования и арестовать его.

Но арестованными оказались министр и комиссары.

Дюмурье выдал их неприятелю.

После этого он попытался увлечь свою армию на Париж. Но армия не подчинилась предателю. От пуль собственных солдат Дюмурье укрылся в лагере австрийцев. Так кончились его честолюбивые замыслы и началась печальная жизнь изгнанника-эмигранта.

Вместе с ним бежали за границу сын Филиппа Эгалите и несколько офицеров-роялистов.

А по Парижу в это время усиленно распространялся слух:

– Дантон арестован. Связанный со злодеем Дюмурье, он предстанет перед Чрезвычайным трибуналом.

Это была ложь. Слух пустили жирондисты. Но правда состояла в том, что демагога действительно призвали к ответу. Комиссия общественного спасения требовала, чтобы он объяснил свои действия в Бельгии. Конвент требовал, чтобы он представил отчет в своих денежных

тратах со времени министерства и по сей день. Якобинцы требовали, чтобы он оправдался от обвинений в связях с предателем. Его имя склонялось повсюду: в политических салонах, в клубах, в кулуарах Конвента.

Да, Жиронда опередила Дантона. Бриссотинцы, давшие эполеты Дюмурье и смотревшие на него как на оракула, бриссотинцы, не принявшие ни единой меры в целях успешного ведения войны, теперь торопились отыгратья на своем конкуренте.

— Он дружил с генералом! Он сидел с ним в одной ложе в театре! Он защищал его дольше всех!..

Жорж изворачивался, словно угорь. Наконец он не выдержал.

— Требуют моей головы!—исступленно закричал он в Конвенте 30 марта.—Вот она!..

Но голова на этот раз осталась у него на плечах, сколь ни желали ее жирондисты. Накануне 1 апреля, дня, в который «государственные люди» наметили окончательно раздавить Дантона, он вдруг заключил соглашение с Маратом, тем са-

мым Маратом, от которого до сих пор так упорно отрещивался. Жорж пообещал Другу народа «сорвать маску с Жиронды». За Маратом были Гора и якобинцы. За якобинцами стоял французский народ. А народ был силой, против которой изощренные в интригах друзья госпожи Ролан оказались бессильными что-либо предпринять.

С утра 1 апреля большой зал Манежа был переполнен. Галереи для публики грозили рухнуть под напором санкюлотов. Все ждали обещанную речь Дантона.

Но битву начали жирондисты. Первым выступил протестантский пастор Ласурс. Он выразил удивление, что Дантон столь долго и упорно защищал подозрительного генерала. Не говорит ли это о многом? Пусть-ка заподозренный трибун расскажет поподробнее о своем поведении в Бельгии.

Жорж ответил спокойно, придерживаясь умеренных выражений. Он заявил, что у него были совсем разные цели с мятежным генералом. Все свои действия он неизменно согласовывал с дру-

гими комиссарами, и если проглядел что-либо, если не сразу понял игру предателя, в этом вина не его одного.

Умело группируя факты, Дантон показал, что, по существу, действия Дюмурье совпадали с программой Жиронды...

Впрочем, он не станет развивать этой темы. Довольно говорить о прошлом. Нужно найти средства исправить допущенные ошибки.

Жирондисты торжествуют. Им кажется, что их противник струсил и готов капитулировать. Вот теперь-то и следует наносить смертельный удар!

Снова встает Ласурс. На этот раз он прямо утверждает, что Дантон вместе с Дюмурье хотел восстановить королевскую власть во Франции. Делакруа и Дантон—один в Бельгии, другой в Париже—управляли главными нитями заговора.

Дантон молча слушает своего противника. Его губы кривятся в презрительной усмешке, в глазах искрится гнев, но он терпеливо ждет своей очереди.

Ласурса сменяет Биротто. Он поддакивает своему предшественнику. Да, конечно, Дантон жаждал королевской власти. Недаром об этом постоянно твердил его друг Фабр д'Эглантин...

Жорж взрывается.

— Вы негодяи!—кричит он с места.—Наступит время суда над вами!

Конвент большинством голосов назначает комиссию для расследования дела Дантона. Это поражение. Это позор. Он—обвиняемый!

Жорж вскакивает и несется к трибуне. По дороге он бросает монтаньярам:

— Эти подлецы хотели бы взвалить на наши головы все свои преступления!

Но Жиронда не желает давать ему слова. Пусть оправдывается перед комиссией! Дантон в нерешительности.

Тогда вся Гора поднимается со своих мест. С галерей несутся крики и одобрительные хлопки.

Жорж яростно расшвыривает стоявших на его пути и овладевает трибуной. Все! Теперь они у него в руках!..

Дантон вытирает мокрый лоб. Секунду он

смотрит в бушующий зал. Затем обращается к верхним рядам амфитеатра:

– Прежде всего я должен отдать вам справедливость, как истинным друзьям народа, вам, граждане, сидящие на этой Горе: вы видели лучше, чем я.

Я долго думал, что при всей стремительности моего характера мне нужно смягчать данный природой темперамент и держаться умеренности, которую, как мне казалось, предписывали обстоятельства. Вы обвиняли меня в слабости, и вы были правы: я признаю это перед лицом всей Франции!..

Эти слова производят огромное впечатление. Крики и шум стихают.

Вперив свой мрачный взор в нижние ряды, Дантон продолжает с нарастающей энергией:

– Кто же здесь обвинители? Да это те самые люди, которые всякими ухищрениями и вероломством упорно пытались избавить тирана от карающего меча правосудия. . .

Ага! Зашевелились!.. Но сквозь громкий ропот на нижних скамьях Жорж слышит отчетли-

вые поощрения с Горы:

– Это верно! Все правда!..

И, простирая руку к Жиронде, Дантон вновь обращает лицо к монтаньярам:

– Граждане, и эти самые люди имеют дерзость теперь выступать в роли чьих бы то ни было обличителей!..

Почему я оставил систему умеренности и соглашений?—продолжает оратор.—Потому, что есть предел мудрости. Потому, что когда чувствуешь себя под угрозой постоянных ударов со стороны тех, которые должны были бы тебе аплодировать, приходится перейти в наступление. . .

Откровенность и прямота Дантона подкупают. Он видит, что симпатии большинства на его стороне. И тогда из обвиняемого он превращается в обвинителя. Он показывает, что бриссотинцы и Дюмурье вылезли из одной и той же помойной ямы. Он разоблачает раскольнические действия «государственных людей», их постоянный роялизм, их вечные интриги против революции.

Голос его грохочет, точно канонада. Слова, обвинения, угрозы льются свободным потоком,

который нельзя ни остановить, ни преодолеть.

Монтаньяры, вновь вскочившие со своих мест, чередуют рукоплескания с выкриками. Более других горяч и нетерпелив Марат. Точно ездок, шпорящий бешеного коня, подогревает он ярость Дантона. Забыл ли оратор чье имя—Марат его называет; упустил ли какую подробность—Марат подсказывает ее.

Дантон говорит о переписке бриссотинцев с Дюмурье.

— Есть письма Жансонне!—уточняет Марат. Дантон рассказывает об интригах жирондистов.

— А их интимные ужины?—напоминает Друг народа.

— Они устраивали секретные ужины с Дюмурье,—подхватывает Дантон.

— Ласурс! Ласурс принимал в них участие!—воскликает Марат.—О, я обличу этих заговорщиков!

— Да,—продолжает Дантон,—все они были главарями одного заговора...

Наконец оратор подходит к заключению. Он патетически восклицает:

– Хотите услышать слово, которое будет ответом на все?

– Да, да, требуем этого!—отвечает Гора.

– Великолепно! Тогда слушайте! Я думаю, что нет больше перемирия между патриотами-монтаньярами, настаивавшими на смерти тирана, и негодьями, которые хотели его спасти, чем опозорили нас перед всей Францией. . .

Волны аплодисментов следуют без перерыва. Со всех сторон слышны возгласы:

– Мы спасем отечество!

Дантон спускается с трибуны прямо в объятия окруживших его монтаньяров. Его целуют, поздравляют с победой.

Отныне Гора едина.

И она—в этом нет сомнения—сокрушит ненавистную Жиронду.

Ближайшим результатом заседания 1 апреля была реорганизация высших правительственных учреждений в духе, подсказанном монтаньярами.

Четвертого апреля Конвент взял на себя управление войсками, отправив в армию во-

семь комиссаров, наделенных властью контролировать и направлять деятельность генералов.

Комиссия общественного спасения, недавно заменившая жирондистский Комитет обороны, 6 апреля была преобразована в Комитет общественного спасения. Новый орган получил очень широкие полномочия, вплоть до предписаний министрам, и должен был обсуждать дела секретно. Количество его членов было сокращено с двадцати пяти до девяти человек, причем жирондисты потерпели полное фиаско: в состав Комитета вошли несколько депутатов «болота», Дантон и близкие ему монтаньяры—Делакруа и Баррер.

Этот Комитет современники называли «Комитетом Дантона».

Так после долгих колебаний и раздумий Жорж Дантон окончательно связал свою судьбу с Горой и благодаря этому снова прорвался к вершинам власти.

Но власть эта стоила ему серьезных жертв.

Прежде всего он должен был окончательно похоронить всякую мысль о союзе с Жирондой;

впереди была только истребительная война. Пришлось расстаться также и с последними монархическими иллюзиями. Главный объект этих иллюзий, «гражданин Эгалите», прежний сиятельный собутыльник Дантона, был арестован вскоре после измены Дюмурье.

Все это было весьма печально.

А что давала новая власть?

Этого Жорж еще не знал. Он двигался оцупью, с опаской, не возлагая слишком больших надежд на будущее.

Революция еще не кончилась

Чем дальше шло время, тем более показывала Жиронда свое неумение разобраться в смысле событий, свое нежелание отвечать на новые запросы революции.

Весна 1793 года оказалась для «государственных людей» временем испытания на прочность различных аспектов их внутренней и внешней политики. Этому испытанию они не выдержали.

Проявив полную неспособность в вопросах экономики, восстановившую против них санкюлотов Парижа, скомпрометировав свою внешнюю политику поражениями на фронтах и изменой Дюмурье, жирондисты, сверх всего этого, опозорили себя Вандеей.

Вандея... В марте и апреле это слово звучало особенно грозно. Вандейский контрреволюционный мятеж, воспринявший традиции бретонского заговора, с которым Дантон возился в дни своего министерства, по существу, был вызван все той же беспомощностью жирондистских лидеров в области экономики. Население западных департаментов, в особенности крестьянство, давно страдало от голода, необеспеченных ассигнатов и отсутствия твердых цен на предметы первой необходимости. Контрреволюционное дворянство и неприсяжные священники использовали настроения отсталого патриархального крестьянства и направили их по соответствующему руслу.

На первых порах успокоить Вандею было бы делом не очень сложным. Но правительство Жиронды, занятое войной с монтаньярами, и пальцем не пошевелинуло, пока не дождалось того, что к началу апреля мятеж окреп и перебросился в соседние области. Теперь подавить Вандею оказалось уже не просто, тем более что многие из «государственных людей» втайне сочувствовали

повстанцам.

Вандея и другие роялистские мятежи много содействовали падению престижа Жиронды. Рядовые члены партии—искренние республиканцы—покидали своих лидеров и переходили на сторону Горы. В свою очередь, монтаньяры, прозревшие после событий конца марта—начала апреля, стали гораздо внимательнее, чем прежде, прислушиваться к призывам парижских агитаторов—Жака Ру и Варле.

Моральное поражение Жиронды должно было неизбежно содействовать и уменьшению объема ее парламентской власти. Исполнительный совет, прежде состоявший из одних бриссотинцев, был почти полностью переизбран. Ролан оказался вынужденным покинуть министерство внутренних дел, где его место занял обходительный Гара, прежний министр юстиции. Военным министром стал левый якобинец Бушот. Сменивший Монжа морской министр Дальбаррад был рекомендован Дантоном. Таким образом, только Лебрен и Клавьер оставались проводниками идей

Жиронды в Совете, но теперь их два голоса составляли весьма скромное меньшинство.

Новый Комитет общественного спасения— «Комитет Дантона», которому предстояло выходить на главные роли, также избежал влияния Жиронды.

Однако «государственные люди» по-прежнему преобладали в Конвенте. И если «болото» с конца зимы гораздо чаще голосовало вместе с Горой, то все же, сохранив боязливое предубеждение против якобинской Коммуны, депутаты центра по вопросам, касавшимся личностей или парижской политики, обычно поддерживали жирондистов.

Гора была ослаблена отъездом 76 комиссаров, избранных из ее состава и командированных в департаменты для производства военного набора. Конечно, эти комиссары содействовали тому, что в провинции были рассеяны предубеждения против революционного Парижа, но на данный момент в Конвенте монтаньяры утратили многих из числа своих видных ораторов.

Все это должно было привести депутатов Го-

ры к мысли о необходимости изгнания жирондистов из Конвента. А мысль эта не могла не сблизить монтаньяров с «бешеными», которые высказывали подобную идею еще в дни мартовских волнений.

Пятого апреля Якобинский клуб составил адрес ко всем филиальным обществам, предлагавший немедленно потребовать лишения депутатских полномочий тех членов Конвента, которые «пытались спасти тирана».

Десять дней спустя делегация от тридцати пяти секций во главе с мэром Пашем подала в Конвент петицию аналогичного содержания, в которой были названы 22 главных лидера Жиронды, в том числе Бриссо, Гюаде, Верньо, Жансонне, Бюзо, Барбару, Петийон и Ласурс.

В прежнее время Гора лишь защищалась против Жиронды. Теперь она переходит в наступление.

«Государственные люди», объятые страхом и злобой, ищут ответные меры. До сих пор все их попытки свалить вожаков Горы—Марата, Робес-

пьера, Дантона—не приводили ни к чему. Дантона и Робеспьера в особенности. Марат, конечно, более уязвим: его боится «болото». Сейчас есть и предлог—автором якобинского адреса от 5 апреля был, по слухам, именно Друг народа!

Ну что ж, надо бить по Марату.

И жирондисты, опираясь на «болотных жаб», добиваются обвинительного декрета против своего наиболее заклятого врага. Одновременно они проводят деятельную агитацию среди парижских богачей.

«Ваша собственность,—вещает Петион в “Письме парижанам”,—находится под угрозой, а вы закрываете глаза на эту опасность. Готовится война между собственниками и теми, кто не имеет собственности, а вы не предпринимаете ничего, чтобы предупредить ее. Несколько интриганов, кучка заговорщиков, предписывают вам законы, вовлекают вас в безрассудные авантюры, а у вас не хватает мужества оказать им сопротивление. . . Парижане, выйдите, наконец, из летаргии и заставьте этих ядовитых насекомых вернуться в свои гнездилища. . . » Напрасные стара-

ния.

«Государственные люди» забывают, что столица и новые революционные учреждения находятся под контролем Горы, Коммуны и санкюлотов.

Революционный трибунал оправдывает Друга народа, и простые люди, увенчав своего героя цветами, торжественно возвращают его в Конвент.

А агитация среди богачей... Она, конечно, имела бы успех, но беда жирондистов заключалась в том, что теперь все богачи Парижа находились под прицелом бедняков.

Секции бурлили. Столица готовилась к новому восстанию.

Чем же отвечает Жорж Дантон на все эти события? Что делает недавний триумфатор в эти горячие дни?

Он не молчит. Он по-прежнему грохочет в Конвенте и Якобинском клубе, он не жалеет ни громких слов, ни страстных призывов.

Четвертого апреля Жорж выступает по пово-

ду реорганизации Комитета общественного спасения, пятого—с требованием расширения прав Революционного трибунала, двенадцатого—в защиту свою и Марата, тринадцатого—по вопросам международного положения.

Каждая из его речей энергична, действенна, как всегда.

И все-таки кажется, будто какая-то частица прежнего Дантона, Дантона-«сентябриста», осталась за гранью, обозначенной 1 апреля.

Словно вдруг он в чем-то усомнился, над чем-то задумался, крепко и напряженно. И вот за громкими словами нет уже больше «громкого» содержания.

Призывы Дантона становятся все более скромными.

А со второй половины апреля он почти полностью смолкает—он не выступает более по главным, боевым вопросам.

В прежние времена политическая активность Жоржа неизменно усиливалась по мере роста народного подъема. Теперь в первый раз от начала революции народный подъем не вызывает энту-

зиазма Дантона. Чем ярче разгорается подготовка нового восстания, тем глубже уходит Жорж Дантон в свою скорлупу.

Он—в авангарде Горы? На вершине революционной власти? Этого не видно. Этого не чувствуется.

Теперь в авангарде движения стоят другие люди.

Уже с начала апреля в помещении епископского дворца, где собирались обычно «бешеные», происходят бурные сходки. Большинство секций посылало во дворец своих уполномоченных. После ряда совещаний санкюлоты решили прибегнуть к «чрезвычайным мерам». Слова «восстание» старались избегать, но всем было понятно, о чем идет речь.

В епископском дворце был сформирован главный организационный центр будущего восстания—Революционный комитет. Комитет поспешил наладить связь с Парижской коммуной. Шомет и Паш были вполне солидарны с членами Комитета. Они занялись

организацией вооруженных сил столицы и общей подготовкой к проведению «чрезвычайных мер».

К этому времени союз между монтаньярами и «бешеными» вполне оформился. Ру и Варле поддержали монтаньяров в их борьбе за демократический проект новой конституции. Гора, со своей стороны, несмотря на упорное сопротивление бриссотинцев, добилась проведения законов, отвечающих требованиям широких народных масс: 4 мая был установлен единый максимум твердых цен на зерно, а вслед за этим издан декрет о принудительном займе у богачей.

Все это не могло не ускорить естественный ход событий.

В этих условиях новое правительство— «Комитет Дантона»—напоминает о себе в крайне осторожной форме. Комитет всячески пытается найти выход за счет компромисса. Его руководитель давно уже отчаялся в дружбе с Жирондой—и больше ее не желает, но вовсе не стремится к полному разгрому умеренной фракции Конвента.

Вместе с тем, однако, Дантон боится ском-

прометировать себя в глазах революционеро-
якобинцев. Жорж знает, что, хотя монтаньяры
восторженно обнимали его после речи 1 апреля,
ему вряд ли забудут колебания пяти прошедших
месяцев.

И вот великий мастер лавирования придумы-
вает новую тактику, с его точки зрения наиболее
отвечающую новым сложным условиям.

Как депутат Конвента он изредка и в весь-
ма лаконичной форме поддерживает революци-
онные меры. Его мощный голос раздается и при
обсуждении отдельных статей конституции и при
вотировании закона о прогрессивном налоге.

Но как глава правительства он молчит, и не
только молчит, но и, по-видимому, пребывает в
совершенном бездействии.

Впрочем, так ли это?

Нет, Дантон не бездействует, но теперь он
предпочитает действовать тихо и незаметно, по
возможности через других лиц.

Главным рупором его политики становится
лицемер, готовый на все услуги, член Комитета
общественного спасения Бертран Барер.

Взбешенная своими неудачами, Жиронда закусывает удила. 18 мая она пытается, опираясь на робкое «болото», низвергнуть Парижскую коммуну и собрать в Бурже заместителей депутатов.

Конечно, низвергнуть Коммуну теперь вряд ли кто был в силах. Но, собрать заместителей депутатов—значило поднять во Франции армию федерализма. Это была бы гражданская война. Ибо жирондисты знали, что в департаментах юга и юго-запада они полные хозяева. Знали они также, что именно в эти дни в Лионе, Тулоне и Марселе подготавливались контрреволюционные мятежи.

«Комитет Дантона» хочет исправить дело. Устами Барера он вносит компромиссное предложение. Действия Коммуны, конечно, достойны порицания. Но нельзя же рубить сплеча! Пусть для расследования «государственные люди» организуют специальную комиссию. . .

Жирондисты настолько довольны, что даже забывают о своем втором требовании. Теперь благодаря заботам этих «примирителей» они по-

лучают в руки весьма опасное оружие. Созданная ими из двенадцати человек Комиссия начинает тут же терроризовать Конвент, пугая его несуществующими заговорами и наводняя доносами.

Медленно, но верно концентрирует Комиссия двенадцати всю власть в своих руках. Она готовит подспудный удар Коммуне и Революционному комитету.

Двадцать третьего мая под предлогом раскрытия большого заговора она предлагает Конвенту объявить осадное положение и усилить охрану, порученную буржуазным секциям. В тот же день по приказу Комиссии происходят аресты ряда членов Коммуны и секционных собраний. Аресту подвергаются заместитель Шомета журналист Эбер и «бешеный» Жан Варле.

Такого революционный Париж не может позволить никому.

Двадцать пятого мая депутация Коммуны, явившись на заседание Конвента, потребовала немедленного освобождения своих людей.

Жирондист Инар, занимавший председательское кресло, ответил угрозами. Он провозгласил

анафему «мятежному» Парижу и заявил, что при малейшем «покушении» на «свободу депутатов» столица будет уничтожена, разнесена по камням. . .

Столь варварская угроза, живо напомнившая манифест герцога Брауншвейгского, повергла Конвент в оцепенение.

Дантон почувствовал, что на этот раз ему необходимо вмешаться. Он старается как-то сгладить неловкое положение. Он приглашает обе стороны к «соблюдению умеренности», требуя, чтобы революционеры «прибавили осторожности к свойственной им энергии. . .».

Инар, однако, несмотря на страстные протесты Горы, добивается подтверждения своего ответа формальным вотумом.

По-видимому, Варле и Марат оказались правы: без вывода жирондистов из Конвента продолжение революции становилось невозможным.

Да, роль примирителя явно не удавалась Дантону.

Напрасно он старается, напрасно вновь вы-

пускает медоточивого Барера, который 29 мая в большом докладе, составленном его патроном, силится доказать Конвенту необходимость сплотиться и проявить единодушие перед лицом внешнего врага.

Это происходит в дни, когда другие вожди Горы уже открыто призывают к восстанию, когда сам осторожный Робеспьер громко заявляет в Якобинском клубе, что народные представители должны либо погибнуть за свободу, либо добиться ее торжества.

Париж давно ждет звона набатного колокола, Утром 31 мая этот звон, наконец, раздается.

Dies diem docet[30]

Набат зазвучал в шесть утра по приказу Революционного комитета. Через полчаса полномочная депутация покинула епископский дворец и направилась в Ратушу. От имени секций посланцы Комитета объявили Генеральный совет Коммуны распущенным и тут же снова наделили его всей полнотой власти: так Коммуна получила революционную санкцию народа.

Члены Коммуны во главе с Шометом и Пашем поклялись оставаться верными единой и неделимой республике, поддерживать «святую свободу, святое равенство, личную безопасность и уважение к собственности». Временным главнокомандующим вооруженными силами был назначен левый якобинец Анрио. По распоряжению

революционных властей были закрыты все заставы, занята почта, арестованы курьеры. Анрио направил в секции своих военных агентов.

Конвент собирался под призывные звуки набата.

Жирондисты, многие из которых побоялись ночевать дома, заспанные и злые, ощупывали оружие в карманах своих сюртуков. Когда они проникли в зал заседаний, там уже находились три монтаньяра. Атлетическая фигура одного из них была хорошо знакома бриссотинцам.

— Смотрите,—воскликнул Луве,—какая злобная радость светится на этом мерзком лице!

— Ничего удивительного,—заметил Гюаде.— Разве ты не знаешь, что сегодня он собирается изгнать нас из Конвента?

Гюаде ошибался. Цель Дантона была много скромнее. Даже сегодня он не ждал и не желал гибели Жиронды.

Всего за несколько минут перед этим в саду Тюильри Жорж имел беседу с министром внутренних дел Домеником Гара. Министр, не от-

личавшийся дальновидностью, был крайне удивлен всем происходившим в Париже. Он забросал Дантона вопросами:

— Что означает все это? Кто заводит пружины? Чего добиваются?..

— Не волнуйся,—ответил трибун.—Они, как в марте, переломают несколько печатных станков и разбредутся.

— Ой, Дантон, не захотят ли они поломать кое-что другое?..

Жорж нахмурился.

— А ты не зевай. В твоём распоряжении больше средств, чем в моём. . .

Гара беспокоился не напрасно.

С утра вся столица была на ногах. Секции вооружали батальоны. Толпы людей сновали по улицам, делясь последними новостями. Особенно много народу устремилось к Ратуше. Государственные чиновники, мировые судьи, выборные ответственные лица, простые граждане—все спешили принести новым властям революционную присягу. Шомет и Паш едва успевали принимать делегатов секций. Каждая делегация доклады-

вала о мерах, принятых в ее районе. Здесь задержали подводы с продовольствием, пытавшиеся ускользнуть из Парижа, там захватили важную переписку, изобличающую предателей, а тут уполномоченные от пожарных требуют, чтобы им дали оружие: они хотят послужить республике не только тушением пожаров, но и участием в боях. . .

Отряды национальных гвардейцев двигались к Конвенту. По дороге, на перекрестках и у мостов, они устанавливали дежурные караулы.

В течение двух-трех часов весь Париж оказался под властью повстанцев.

В полдень Анрио приказал дать несколько выстрелов из сигнальной пушки.

Никогда еще от начала своего существования Конвент не переживал столь суматошных часов.

Никто не сидел на месте, все носились по залу, кричали и перебивали друг друга.

Министр внутренних дел и мэр, вызванные для отчета, удовлетворительных объяснений дать не могли. Да, в Париже беспокойно; да, за-

ставы закрыты и вооруженные патрули дефилируют по улицам; но кто в силах здесь что-либо сделать?..

Возмущенные лидеры Жиронды требуют наказания «преступных элементов». Монтаньяры свистят, топают ногами и бурно протестуют против попыток оклеветать народное движение. . .

— Кто приказал ударить в набат?—допытывается Верньо,

— Кто? Соппротивление гнету!—раздается ответ из верхних рядов.

На трибуне Дантон. Он говорит грозно и резко, он «подобен Нилу, выходящему из берегов». Однако выводы его крайне умеренны. Он не требует ничего, кроме ликвидации Комиссии двенадцати.

«Государственные люди» готовы схватиться за якорь спасения. Жирондист Рабо отвечает Дантону:

— Ну хорошо. Пусть Комиссии больше не будет, а производство всех розысков перейдет к облеченному нашим доверием Комитету!

Это запоздалая попытка к примирению: оратор готов капитулировать перед «Комитетом Дантона».

Но Рабо перебивают и стаскивают с трибуны. Никаких компромиссов с прихвостнем Дюмурье!

Гора, чувствуя, что восставшие санкюлоты—ее верная опора, остается непреклонной.

У решетки для петиционеров одна за другой проходят делегации от Коммуны, секций, Революционного комитета.

Делегаты требуют ареста жирондистских лидеров, обуздания мятежей в южных департаментах, разрешения продовольственных трудностей. Они не забывают персонально назвать двадцать два имени ненавистных им членов Конвента, а также имена министров Лебрена и Клавьера.

Хитрый Барер, переглянувшись с Дантоном, поднимается на трибуну. От имени Комитета общественного спасения он вносит ловко составленный проект. Он предлагает ликвидировать Комиссию двенадцати и предоставить вооруженные силы Парижа в руки Конвента.

Внешне проект достаточно революционен. Но по существу это попытка обезглавить восстание.

Ибо упразднением Комиссии двенадцати, которой фактически и так уже не существует, Барер, как и раньше Дантон, рассчитывал предотвратить арест главарей Жиронды; требуя же передачи военных сил под начало Конвента, он надеялся обессилить повстанцев и сделать хозяином положения большинство Ассамблеи, то есть «болото» и тех самых жирондистов, против которых было поднято восстание.

План Барера сразу же разгадывает Робеспьер и раскрывает его смущенному Конвенту.

В тоске застыли жирондисты на своих местах.

— Делайте же ваш вывод!—раздраженно кричит Верньо.

— Да, я сделаю свой вывод,—спокойно отвечает Робеспьер,—и он будет направлен против вас. Мой вывод—это обвинительный декрет против всех сообщников Дюмурье, против всех тех, кто был обличен здесь петиционерами!..

Слова Неподкупного прозвучали в настороженной тишине, как смертный приговор Жирон-

де.

И все же к концу заседания торжествует не Робеспьер, а Дантон. Стараниями Барера и других «миротворцев» день 31 мая заканчивается именно так, как желает великий соглашатель.

Два темных глаза неумоимо следят за событиями дня. Глаза принадлежат женщине под густой вуалью, которая ни за что не хочет быть узнанной.

Где только не побывала она сегодня! Ей довелось даже проникнуть в Конвент, и здесь, в течение нескольких часов меряя нервными шагами комнату для петиционеров, она прислушивалась к тому, что происходило в главном зале.

Ей удалось вызвать Верньо и говорить с ним. Она собиралась выступить у решетки Конвента.

А затем почти до ночи она бродила в окрестностях Тюильри, выспрашивая постовых, канониров и случайных наблюдателей.

Это была Манон Ролан.

Она страшилась за судьбу своей партии и

участь своего супруга. Сначала она думала ходайствовать о бывшем министре перед Конвентом, но затем, когда Верньо отговорил ее от этого, побежала пристраивать старика у друзей в безопасном месте.

В сумерках Манон вернулась на Карусельную площадь и была поражена полной переменой декораций.

Батальоны, весь день стоявшие у дворца, словно растворились в воздухе, остались лишь незначительные посты. В затихшем зале свет был погашен: значит, заседание окончилось.

Не веря своим глазам, Манон обратилась к группе санкюлотов:

– Что, граждане, неужели все прошло хорошо?

– О, как нельзя лучше! Они перецеловались и вон там, у дерева Свободы, спели «Марсельезу»...

У Манон стучало в висках.

«Перецеловались... Спели “Марсельезу”... Уж не бред ли все это?..»

Дальнейшие расспросы подтвердили услы-

шанное. Да, депутаты пришли к соглашению. Комиссия двенадцати распущена, все ее дела переданы Комитету общественного спасения, но никто из бриссотинцев не обижен. Все они, проводимые волонтерами из буржуазных секций, спокойно разошлись по своим квартирам. . .

Ничего другого, как идти к себе домой, не оставалось и Манон Ролан. Ей хотелось плакать от радости. Правда, радость была отравлена тем, что виновником ее оказался ненавистный Дантон. . .

На душе у Манон все же было беспокойно. . .

Кто совершенно спокойно спал в ночь на 1 июня, так это Жорж Дантон.

Давно уже он не испытывал такого удовлетворения, как сегодня. Недаром он, Барер и их единомышленники потрудились до седьмого пота. Как ни лезли на рожон эти идиоты бриссотинцы, они все-таки спасены. Мало того: его Комитет, присвоив все функции уничтоженной Комиссии двенадцати, еще более усилил свою власть. Теперь он, Жорж, действительно на коне! Сколь-

ко ни спорили и ни кричали, как ни возмущались крайние, «болото» в последний момент поддержало своего вождя и послушно проголосовало за предложение Барера. . .

Значит, все в порядке. Так будет и впредь.

Всегда использовавший силу народа, Дантон забыл на этот раз, что народ—несокрушимая сила, что народ имеет свой могучий голос, голос, перед которым не устоят ни одна Комиссия и ни один Комитет. Он забыл, что битва еще не кончена, что за сегодняшним днем неизбежно наступит завтрашний, что за маем следует июнь.

А новый день, заря которого уже начинала занимать на бледном небе, готовил соглашателю и его подопечным много неожиданного и неприятного. . .

В то время как Жорж наслаждался сладкими сновидениями, Революционный комитет, Коммуна и клубы бодрствовали.

В Ратуше и у якобинцев происходили оживленные дебаты.

Варле выражал недовольство результатами

дня и обвинял во всем Шомета и Паша. Мэр, облеченный законной властью,—только препятствие для восстания! Ему бы вообще не следовало выходить из дому!

Эбер возражал. Он, напротив, считал, что день 31 мая пропал даром лишь вследствие излишней торопливости Революционного комитета.

Но споры и распри вряд ли могли что исправить.

Это хорошо понимал Билло-Варенн, который так резюмировал у якобинцев суть дела:

— Пока все проведено только наполовину... Главное—не дать, чтобы народ остыл...

К шести часам утра 1 июня в этом смысле и было составлено воззвание Революционного комитета к 48 секциям.

Подчеркивая, что первая, предварительная победа одержана, что жирондистской Комиссии больше не существует, воззвание предостерегло граждан от излишней самоуспокоенности. То, что сделано,—это лишь начало. «По тому, что народ совершил вчера, можно предвидеть то, что

он совершит сегодня. Граждане, оставайтесь в полной боевой готовности!»

Утро 1 июня начиналось, как обычно. Труженники спешили на работу. В мастерских застучали топоры, завизжали пилы. В учреждениях клерки занялись своими бумагами. Открывались лавки, у которых с ночи дежурили ленты очередей.

Депутаты, шествовавшие в Конвент, констатировали, один—с удивлением, другие—с радостью, этот повсеместный переход к будничным делам.

Все утреннее заседание занял обширный доклад Барера.

Докладчик, отмечая полное спокойствие в столице, заверял своих коллег, что все страшное осталось позади. Впрочем, и страшного-то ничего не было: народ держал себя с достоинством, петиционеры—с тактом. Ни единой жизни не угрожала опасность. Со стороны Конвента, окруженного почтительными и энергичными санкюлотами, все окончилось тем, что благоразумно улаженные несправедливости подготовили полное и общее примирение. . .

Прежде чем начались прения, председатель объявил заседание оконченным.

«Примирители» спешили покинуть зал. Нужно было как следует отпраздновать свой блестящий успех.

Но если в первой половине дня группа Дантона—Барера могла испытывать радость и тешить себя иллюзиями, то на исходе того же дня эта радость должна была померкнуть, а иллюзии—рассыпаться в прах.

Анрио не распустил народных войск. Напротив, он держал их наготове и ожидал только сигнала.

В пять часов вечера сигнал был дан.

Неустршимый Марат, явившись в Ратушу, произнес полную огня призывную речь. Под общие аплодисменты Друг народа поднялся на башню Ратуши и сам ударил в набат.

Тотчас же откликнулись десятки секционных колоколов.

Столица вновь загудела.

Под этот не прекращающийся ни на секунду

звон окончился вечер, прошла ночь и наступило следующее утро. Оно ничем не напоминало утра прошедшего дня.

На этот раз Конвент действительно был полностью окружен армией революции.

Стотысячное войско заняло все прилегающие к Карусельной площади улицы и переулки. Сто шестьдесят три орудия были направлены на окна зала заседаний.

Жирондисты, совершенно обессиленные от пережитых волнений и бессонных ночей, мрачно занимали свои места. Они знали, что несколько часов назад по приказу революционных властей были закрыты и конфискованы все их газеты. Они знали также, что Революционный комитет издал постановление об арестах Ролана и Клавьера и что вследствие бегства Ролана только что схвачена его жена. Они знали, наконец, что сегодня всем им не уйти от расплаты.

В начале заседания были оглашены депеши из департаментов, которые определили весь последующий ход дебатов.

Из Вандеи сообщали, что артиллерия, провиант и боевые припасы республиканцев попали в руки мятежников. В департаменте Лозер началась гражданская война и лилась кровь патриотов, В Лионе, сообщения из которого давно уже носили тревожный характер, вспыхнул роялистско-жирондистский мятеж, были замучены восемьсот якобинцев-демократов.

Жирондисты понимают, что врагам нельзя дать опомниться. Один из наиболее злобных ораторов партии, Ланжюине, бросается к трибуне.

Не обращая внимания на рев галерей и верхних рядов, укоряет Конвент за его «слабость», требует уничтожения Коммуны, издевается над санкюлотами. . .

— Спускайся с трибуны,—кричит возмущенный до бешенства депутат Горы, бывший мясник Лежандр,—а не то я убью тебя!

— Сначала добейся декрета о превращении меня в быка,—иронизирует Ланжюине.

Лежандр направляет на оскорбителя пистолет. И с той и с другой стороны спешат на помощь. В воздухе сверкают кинжалы и шпаги.

Свалку пресекает выступление делегата от властей Парижского департамента.

— Представители нации,—говорит он,—вот уже три дня, как граждане Парижа не расстаются с оружием. Народ устал и не хочет больше откладывать своего счастья. Спасите его, или он заявляет вам, что сам будет спасать себя!

Эти слова отрезвляют Собрание.

Несколько голосов из напуганного «болота» призывают к «временному аресту» лидеров Жиронды.

Барер еще раз пытается исправить положение.

Желая избавить бриссотинцев от ареста, он предлагает от имени Комитета общественного спасения, чтобы перечисленные в петиции депутаты *добровольно сложили свои полномочия*.

Но монтаньяры дружно протестуют.

— Если они невиновны,—заявляет Билло-Варенн,—пусть остаются, если виновны—пусть будут наказаны.

Билло предлагает поименно вотировать обвинительный декрет.

Завязываются прения. Их нарушает новая суматоха. Кто-то из депутатов кричит, что, когда он захотел выйти из зала, его не пропустили: все проходы заняты вооруженными людьми!

Барер проявляет высшую степень возмущения. Он обличает «новых тиранов». За «самоуправством» народа он видит руку Лондона, Мадрида или Берлина.

Его поддерживает Делакруа.

Дантон, до этой минуты мрачно молчавший, вдруг тоже возвышает голос. Он требует декрета о строгом наказании человека, осмелившегося держать Конвент в состоянии осады.

Анрио немедленно вызывают для объяснений.

Но тот и не думает являться,

Тогда Барер предлагает всем членам Конвента сообща выйти к вооруженному народу, с тем чтобы продемонстрировать свою независимость.

Большинство депутатов во главе с председателем Эро де Сешелем поднимаются со своих мест. Только Марат и группа его сторонников остаются в пустеющем зале.

Процессия двигалась в полном молчании.

Впереди медленно шел председатель, надевший шляпу в знак печали. За ним следовали жирондисты, «болото», монтаньяры—все с непокрытыми головами. Вооруженные санкюлоты с любопытством разглядывали своих избранников.

Дойдя до ворот, выходящих на Карусельную площадь, депутаты остановились. Дальше ходу не было. Дальше тянулся необозримый лес пик и штыков.

Послышался цокот копыт. Навстречу Эро подъезжал Анрио в полной парадной форме, держа руку на эфесе сабли.

Председатель прочитал декрет о снятии караулов и удалении вооруженной силы. Анрио молча смотрел на читавшего. Тогда тот с упреком в голосе тихо спросил:

— Чего же хочет народ? Конвент озабочен только его счастьем.

— Народ восстал,—сухо ответил Анрио,—не для того, чтобы выслушивать красивые фразы, а для того, чтобы отдавать приказания. Он желает, чтобы ему были выданы изобличенные преступ-

ники.

В рядах депутатов произошло волнение. Анрио осадил коня и громко приказал:

– Канониры, к орудиям!

Кто-то взял Эро под руку и оттащил в сторону. Депутаты повернули обратно. Надо было продолжать заседание.

Теперь все было ясно.

Едва установилась тишина, монтаньяр Кутон, обведя своих коллег насмешливым взглядом, сказал:

– Члены. Конвента должны быть спокойны за свою независимость: вы вышли к народу и всюду нашли его добрым, великодушным, неспособным покуситься на безопасность своих избранников. . .

Из рядов Жиронды раздалось свирепое рычание. Кутон продолжал. Он потребовал немедленного ареста всех обвиненных петиционерami депутатов.

– Дайте Кутону стакан крови!—съязвил Верньо.—Он хочет пить. . .

Но взаимное острословие ничего не могло исправить. Народ твердо выразил свою волю, и Конвенту оставалось лишь декретировать арест двадцати девяти главных представителей Жиронды.

Дантон в течение всего этого времени не проронил больше ни слова. Его соседи обратили внимание на то, что он выглядел утомленным и пристыженным.

Впоследствии кое-кто вспоминал, что трибун вел себя в конце этого дня весьма противоречиво. Сначала он потребовал голову Анрио, затем во время шествия к Карусельной площади он, будто бы смеясь, сказал тому же Анрио:

– Не бойся, продолжай действовать по-своему. . .

А еще позднее, когда все уже было кончено, Жоржа видели вместе с народным генералом у стойки в буфете. Дантон подливал вино в стакан хмурившемуся Анрио и ласково уговаривал:

– Ну ладно, не сердись. . .

Все это весьма похоже на правду. Поняв, что

план его окончательно провалился, Жорж по своему обыкновению быстро перестроился, меняя ориентацию прямо на ходу. . .

Итак, после года борьбы и трех дней агонии Жиронда пала. Революция вступала на новый этап. Теперь правящей партией становилась партия якобинцев—монтаньяров.

Казалось бы, Жорж Дантон, объединившийся, наконец, с Горой, мог считать себя победителем.

В действительности он был побежденным.

Ибо теперь он вставал лицом к лицу с Робеспьером, Маратом, парижскими санкюлотами—той грозной силой, на которую он до сих пор лишь *опирался* в своих хитроумных комбинациях.

Прежде он мог лавировать между крайними партиями—это было его поле боя, его стихия; здесь он чувствовал себя непобедимым и неуязвимым.

Теперь он сам отходил в *крайнюю* партию, ибо *справа* от него никого больше не остава-

лось. Место лавированию должен был уступить или твердый союз с демократами, или принципиальная борьба с ними. Матерый вожак «болота» на первое был неспособен, во втором—неизбежно проигрывал.

Интуитивно он чувствовал это.

Пять месяцев спустя, когда, временно отрешившись от тревог бурной жизни революции, он отдыхал у себя в Арси, к нему как-то ворвался сосед с парижской газетой в руках.

— Радостное известие!—кричал он.—Жирондисты казнены!

Дантон побледнел и заплакал.

— Ничего себе известие! Ты называешь это счастьем для революции? Несчастный! Ты ничего не понимаешь!

— Как, позволь, разве они не были заговорщиками?

— Заговорщиками?—Дантон возмутился.—В таком случае все мы заговорщики. Мы так же достойны смерти, как и они. Впрочем,—прибавил он, помолчав,—нас ждет та же участь...

Жорж не ошибся. Он правильно видел свое

будущее.

9.
Я ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ
(ИЮНЬ—НОЯБРЬ 1793)

«Комитет общественной погибели»

Максимилиан Робеспьер был доволен. Доволен по-настоящему. Давно уже не испытывал он подобной удовлетворенности. И ему против обыкновения стоило больших трудов сдерживать свои чувства. Впрочем, Неподкупный владел ими в совершенстве. Ни один мускул не дрогнул на его бледном холодном лице, когда объявили результаты голосования и все члены Конвента обернулись в его сторону. Он остался корректным и неподвижным, точно все это относилось не к нему. Только дома, в своей маленькой каморке, он перестал следить за собой. Он глубоко задумался, и по мере смены мыслей лицо его изменялось не один раз.

В глубине души Максимилиан знал, что ничего особенно приятного для себя лично он сегодня не приобрел. Ничего, кроме нового непосильного бремени, новых бессонных ночей, новой напряженной борьбы. Но не в этом ли заключалась вся его жизнь? Не ради этого ли он отказался от благосостояния, покоя, наслаждений, семейного счастья—всего, чем так дорожит каждый из обыкновенных людей?.. Обыкновенных, обычных. . .

Бесспорно, он не был обычным. Он давно знал это—уже в те дни, когда его одинокая душа горела любовью к свободе и демократии среди всеобщих лицемерия и фарисейства, когда его освистывали и пытались стащить с трибуны коллеги по Учредительному собранию—все эти грязные Ламеты, Барнавы и Мирабо, кумиры, так быстро ставшие политическими трупами.

Но уже тогда—надо быть справедливым—кто-то догадывался о его грядущем взлете. Продажный Мирабо, этот оракул первой Ассамблеи, самый коварный и ненавистный враг, заметил как-то:

– Робеспьер далеко пойдет; он верит всему, что говорит. . .

И вот, наконец, пророчество начинает сбываться.

Сегодня, 27 июля 1793 года, его избрали в высший правительственный орган. Еще так недавно этот орган назывался «Комитетом Дантона». Теперь его будут называть «Комитетом Робеспьера».

Прежде он казался патриотам «Комитетом общественной погибели».

Теперь Максимилиан превратит его в подлинный Комитет общественного спасения.

Да, так и будет. Неподкупный выполнит свою великую миссию до конца.

Народ недаром наделил его этим вторым именем.

Робеспьер, не вступает в сделки с совестью. Он строго, до беспощадности, взвешивает и анализирует каждый свой шаг, каждый поступок. Вот и сегодня, подавляя все личное, он хочет, окинув беспристрастным взглядом дела двух по-

следних месяцев, решить, правильно ли поступил Конвент, утвердив его у власти.

Два месяца!.. Кажется—два года. А быть может, два десятилетия?.. Или целый век?..

Ведь это правда, что за неполные два месяца, прошедшие со дня восстания 2 июня, сделано больше, нежели фельяны и жирондисты успели сделать за долгие годы своей бесполезной власти. Ибо—и это прежде всего—в небывало короткие сроки обсужден и утвержден текст новой конституции. Конституции подлинно демократической, вдохновленной духом великого Руссо и проникнутой искренним стремлением к широкой политической свободе. Декларация прав, написанная лично им, Робеспьером, открыла новые пути к пониманию собственности, равенства и взаимоотношений с соседними народами—путь к подлинному всемирному царству справедливости. И вот что характерно: за якобинскую конституцию проголосовал весь народ, даже в тех департаментах, где хозяйничали жирондисты!

А аграрный, крестьянский вопрос? Что сделала здесь революция до прихода к власти яко-

бинцев? Почти ничего. И только теперь, наконец, Конвент принял меры, которые Максимилиан всегда считал насущно необходимыми: были окончательно и безвозмездно отменены все феодальные повинности, крестьянам переданы общинные земли, а обширные владения эмигрантов предполагалось разделить на мелкие участки и пустить в льготную распродажу.

И все эти первостепенные по важности проблемы революционеры-якобинцы умудрялись разрешать в обстановке беспримерных военных трудностей, под аккомпанемент пушечной пальбы на границах, под безрадостные вести о расширении Вандеи и других контрреволюционных мятежей, разгоравшихся в шестидесяти департаментах республики.

Спрашивается, какую же роль сыграл «Комитет Дантона» в этот мучительно-сложный период?

Максимилиан думал долго. На столь щекотливый вопрос он хотел ответить себе самому строго и объективно.

Сказать, что эта роль была недостаточной,

слабой, значит сказать слишком мало и, по существу, неверно. Ведь недаром же покойный Марат именно в эти дни окрестил правительство Дантона «Комитетом общественной гибели».

Несчастный Друг народа... Он снова—в последний раз—оказался провидцем: гибель прежде всего ожидала его, он стал первой жертвой нерадивости, а быть может, и злой воли тех, кто руководил тогда государственной политикой.

Что греха таить: члены первого Комитета общественного спасения во главе с Дантоном и Барером меньше всего думали о том, чтобы спасти якобинскую республику. Прежде всего они постарались спасти жирондистов, а когда это не удалось, помогли их лидерам бежать из Парижа, из-под умышленно нестроного домашнего ареста.

Вот эти-то беглецы и подняли мятежи в южных и западных департаментах. Они-то, злобно точившие кинжалы против своих победителей, и подослали убийцу к Другу народа...

Максимилиан никогда не питал к Марату особенной симпатии. На многое они, обладавшие слишком разным темпераментом, смотрели по-

разному. И все же Робеспьер никак не мог понять цинизма, с которым Дантон, не переваривавший Марата, заявлял:

– Его смерть принесла еще больше пользы делу свободы, нежели его жизнь, так как она показала, откуда грозят нам убийцы. . .

Мягко выражаясь—двусмысленная фраза.

. . . Дантон громко похвалялся, что у него в руках собраны нити всей зарубежной политики. Действительно, в Комитете он и Барер взяли на откуп прежде всего иностранные дела. Но как велись эти дела? Весьма сомнительными и, во всяком случае, недостойными честного якобинца средствами. Дантон постоянно пользовался услугами подозрительных, скомпрометировавших себя перед республикой агентов. Он завязывал дипломатические интриги и вел мирные переговоры в то время, когда до мира было далеко так же, как до луны. При этом поразительны те легкость и быстрота, с которыми этот дипломат отступался от своих, казалось бы, самых твердых убеждений. Все помнят, как он недавно, захлебываясь, кричал о «естественных границах», о

«помощи народам против тиранов». Эти демагогические лозунги затем переняли жирондисты. Робеспьер и принципиальные монтаньяры всегда были против войны и завоеваний. Но коль скоро война началась и коль скоро молодой республике грозило внешнее удушение, они требовали войны до победы, без всяких компромиссов и в союзе с другими поработоченными народами. Эту программу—программу всемирного братства освобожденных людей—Робеспьер выдвинул и в своей Декларации прав. Каково же было всеобщее изумление, когда вдруг, именно теперь, Дантон, повернув ровно на сто восемьдесят градусов, заговорил не только об отказе от завоеваний, но и об отказе в солидарности с поработоченными народами!

И одна характерная деталь. Дантон сохранял теснейшую связь с жирондистским министром иностранных дел Лебреном, таким же темным комбинатором, как и он сам. Когда после восстания 2 июня Лебрен, как и другие министры-жирондисты, был арестован, Дантон потребовал, чтобы тот сохранил свою должность, и продол-

жал с ним совещаться. Небывалое зрелище! Арестованный министр, сопровождаемый жандармом, по-прежнему ходил на заседания Исполнительного совета и руководил иностранной политикой Франции. . . Так продолжалось до 21 июня, пока Лебрену не подобрали, наконец, заместителя. Впрочем, новый министр иностранных дел, Дефорг, в прошлом служащий из адвокатской конторы Дантона, был верной тенью своего благодетеля.

Разумеется, до бесконечности так продолжаться не могло.

Монтаньяры следили за Дантоном.

Четвертого июля в адрес Комитета посыпались упреки в связи с жирондистскими мятежами в департаментах. Комитет не проявил должной энергии ни для предупреждения, ни для подавления этих мятежей!

Восьмого июля натиск усилился.

Дантон или отмалчивался, или говорил громко, но без должной убежденности. Он чувствовал близость провала.

Десятого июля судьба «Комитета обществен-

ной гибели» была решена. В этот день Конвент узнал о поражениях генерала Вестермана, «человека Дантона». Капля переполнила чашу. Комитет был переизбран. Дантон больше не вошел в его состав и потерял в нем опору: ловкий Барер, чувствуя перемену ветра, изменил ориентацию, и, кроме того, в Комитет были избраны Кутон и Сен-Жюст, верные единомышленники Робеспьера.

А сегодня, 27 июля, сам Неподкупный по праву занял достойное его место. *По праву*—он мог в этом не сомневаться. И вот верное тому доказательство: все произошло без излишнего шума, довольно мирно и безболезненно...

И все же одно сомнение продолжало мучить ясный ум Максимилиана и его чистую совесть. Справедлив ли он к своему поверженному соратнику? Виноват ли Жорж Дантон во всем происшедшем, или, быть может, он оказался рабом обстоятельств? И как теперь, после того, что случилось, он, Максимилиан, должен относиться к своему старому боевому товарищу?..

Вспоминая прошлое, Робеспьер, конечно, не

мог забыть славных дней 2 сентября или 1 апреля, дней, когда Дантон был по-настоящему великим. Да разве все ограничивалось только этими днями? Сколько раз громовой голос трибуна кордельеров звучал во имя свободы, сколько раз облегчал он тяжелое положение и выручал его, Максимилиана?..

Жорж Дантон воистину закаленный борец. За спиной у него немало заслуг перед революцией. Его любят простые люди, в особенности санкюлоты столицы.

Что же перетянет, когда взвесишь все?

Где критерий истины?

У Максимилиана есть такой критерий. Это *добродетель*.

Робеспьер считает, что добродетель—это и цель и средство. Цель, к которой обязано стремиться человечество, и средство, с помощью которого эта цель сможет стать достижимой. Добродетель—это любовь к родине и ее законам, забота о равенстве и укреплении республики. Добродетель предполагает высокий уровень общественной и личной морали: все безнравственное является

политически непригодным, все клонящееся к разврату носит контрреволюционный характер.

Что же получится, если применить этот критерий к Дантону?

Максимилиану становится страшно.

Он не желает знать о грязных слухах, которые всегда окружали Жоржа, он закрывает уши для сплетен и подозрений. Он также ничего не хочет знать о богатстве Дантона, которое, как утверждают, нажито нечистым путем и растет изо дня в день: в конце концов много важнее научиться уважать бедность, нежели завидовать богатству.

Нет, Неподкупный будет размышлять лишь о том, что видел собственными глазами или же слышал из верных уст.

Увы!.. И этого более чем достаточно. . .

Весь образ жизни Дантона, несомненно, противоположен понятию добродетели. Он окружил себя плохими друзьями, он постоянно якшается с подозрительными махинаторами, его компаньоны по бутылке и разврату—все отпетые личности.

Он проводит время в сладострастии и пирах в те дни, когда республике угрожает смертельная

опасность. Он не скрывает этого, он сам бахва-
лится этим. Недавно в пьяном виде он разоткро-
венничался и во всеуслышание заявил, что на-
ступает его черед пользоваться жизнью. Роскош-
ные отели, тонкие яства, шикарные женщины—
вот что должно наградить его за преданность ре-
волюции!.. Ведь революция, рассуждал Дантон,
в сущности, не что иное, как борьба за власть,
а всякая выигранная битва должна окончиться
дележом между победителями добычи, взятой у
побежденных!..

Слово «добродетель» вызывает у Дантона
только смех. Но как может стать защитником
свободы человек, которому чужда всякая мысль
о морали?..

Некое происшествие самого недавнего време-
ни окончательно выводит Робеспьера из себя.

Полгода назад умерла любимая жена Данто-
на, которую Максимилиан знал и глубоко ува-
жал. Искренне сочувствуя горю своего товарища,
Максимилиан тотчас же написал ему душевное
соболезнующее письмо, которое сегодня с радо-
стью забрал бы обратно.

Скорбь Жоржа казалась безутешной.

И что же? Прошло едва четыре месяца, а он снова женится, да еще при каких обстоятельствах! Невесте—пятнадцать лет, ее родители—католики и реакционеры, а детали свадьбы настолько загадочны, что. . . Во всяком случае, его, Робеспьера, на эту свадьбу не пригласили. И говорят. . . Но он не станет прислушиваться к тому, что говорят.

Хватит. Достаточно. Картина ясна.

Нет, он не может по-прежнему относиться к Дантону. Его революционная совесть, его щепетильность, его гражданское целомудрие не позволяют причислять к своим друзьям и соратникам подобного человека. . .

Медовый месяц

Все то, что так волновало Робеспьера, очень мало заботило его незадачливого конкурента. Жорж Дантон едва ли слишком сильно переживал свое падение. Ему словно было не до этого. Его, как некогда, накануне революции, целиком захлестывала личная жизнь. Когда позднее его станут обвинять в заговоре против республики, он рассеянно ответит:

– Я заговорщик?.. Возможно... Но что способен в этом смысле совершить человек, который каждую ночь отдается бурной страсти?..

Соратников Жоржа интересовала отнюдь не его «бурная страсть». Но его второй брак вызвал массу кривотолков. Некоторые обстоятельства этого брака, скрыть которые оказалось невоз-

возможным, привели даже к полемике в Якобинском клубе. Деятели, критиковавшие Дантона, знали, впрочем, далеко не все о его сватовстве. Действительность была много хуже их самых скверных предположений.

В один из июньских дней, в тот час, когда улицы Парижа почти безлюдны, по окрестностям квартала Сен-Жермен де Пре долго плутал, проверяя названия переулков и номера домов, человек довольно необычного вида. Его массивное тело было облечено в ярко-красный редингот, галстук, съехав ниже жабо, оголял короткую толстую шею, а ноги буквально тонули в огромных сапогах с малиновыми отворотами. Потное лицо прохожего, наполовину скрытое широкополой шляпой, поражало уродством и диспропорцией. Найдя, наконец, нужную дверь, он принялся стучать в нее, сначала тихо, потом со все увеличивающимся ожесточением. Наконец послышались осторожные шаги, и дверь чуть-чуть приоткрылась.

— Гражданин аббат у себя?—спросил прише-

лец. После небольшой паузы скрипучий старушечий голос ответил:

– Помилуйте, гражданин, здесь не проживает никакого аббата!

Человек в красном пожал плечами и, резко толкнув дверь, вошел в маленькую темную прихожую.

– Аббат меня ожидает, мне необходимо его видеть; дело не терпит отлагательств.

Старуха изменила тон.

– Господин имеет договоренность—это другое дело. Пусть господин простит меня за предосторожности. Мы все время опасаемся вторжения этих демонов из Комитета. . .

– Хватит!—прервал ее посетитель.— Проводите меня к господину аббату.

Старая служанка, показывая дорогу, кряхтя, поднялась на четвертый этаж и постучала в маленькую дверь. По комнате, куда она провела неизвестного, прохаживался человек в черной сутане, монотонно читавший свой требник. Взглянув на вошедшего, аббат остановился и побледнел.

Он узнал это уродливое рябое лицо. Перед ним был не кто иной, как сам страшный Дантон. . .

В первый момент священник решил, что его сейчас арестуют: он не присягал конституции и находился вне закона. Но эта мысль сразу же отпала. Чтобы отправить его в Революционный трибунал, не требовалось столь высокого конвоира, да и, кроме того, у Дантона был вид не судьи, а скорее подсудимого. . .

— Господин аббат,—смущенно пролепетал он,—я пришел к вам с исповедью. Будете ли вы столь добры, чтобы меня выслушать и отпустить мне грехи?..

Священник закрыл книгу и сел в глубокое кресло.

— Станьте на колени, сын мой. . .

Жорж опустился перед распятием, сложил руки, склонил голову и глухо сказал:

— Отец мой, я обвиняю себя. . .

. . . Что это? Веселая шутка? Отрывок из анонимного пасквиля? Ничуть не бывало. Это рас-

сказ самого аббата Керавенана, исповедовавшего в июне 1793 года члена Комитета общественного спасения, атеиста и богохульника, инициатора многих декретов против неприсяжного духовенства Жоржа Дантона.

В своих мемуарах аббат рассказал все, сохранив в тайне лишь содержание исповеди своего клиента. И надо думать, исповедь эта была не из легких. Ревнитель строгой веры, готовый каждую минуту умереть от рук блюстителей революционных законов, вряд ли был способен проявить снисхождение к одному из авторов этих законов.

Но что же заставило Жоржа прибегнуть к столь малоприятному для него маскараду?..

Супругов Жели Дантон знал давно. До революции Марк Антуан Жели, член судейского сословия, был одним из завсегдатаев кафе «Парнас». Шарпантье и Жели дружили семьями, и Габриэль Шарпантье не раз заплетала косы маленькой Луизе, дочери Марка Антуана. Прошли годы. Девочка стала девушкой, и девушкой очаровательной. Когда скончалась Габриэль,

ей минуло едва пятнадцать. Некоторые историки утверждают, что именно Габриэль впервые обратила внимание Жоржа на Луизу и чуть ли не завещала юной красотке своего супруга. Говорят также, что девушка пылко утешала безутешного вдовца в первые дни после его утраты. Все это, по-видимому, плод досужей фантазии. В действительности юная Луиза никогда не испытывала к пленившемуся ею уроду ничего, кроме физического ужаса. Дантон был старше ее на двадцать лет. Она оставалась ребенком, причем ребенком, выросшим в строгих правилах нравственности, традиционных для старой добропорядочной и глубоко религиозной семьи. И надо думать, что день, когда Дантон сделал предложение ее родителям, был для Луизы самым черным днем ее девичьей жизни. Не лучше чувствовал себя и Марк Жели. Тайный роялист, преданный старой вере, он никогда не сомневался, что нынешний строй долго не протянет. Жорж Дантон, этот буйный мятежник с темным прошлым, этот «вельможа санкюлотов», имевший репутацию кровожадного изверга, казался почтенному

Жели совсем неподходящим кандидатом в зятья. Но как такому откажешь? Помимо всего прочего, отец Луизы зависел от Дантона и по службе: он в это время работал в морском ведомстве, а морской министр Дальбард был ставленником и правой рукою Жоржа.

Но вот супругам Жели пришла вдруг на помощь мысль, показавшаяся им спасительной. Родители заявили жениху, что они могли бы согласиться на брак лишь в одном случае: свадьба должна быть отпразднована по католическому обряду, а Жорж предварительно должен исповедаться у неприсяжного священника и получить отпущение грехов. . .

Такое условие могло смутить в эти дни кого угодно. Неприсяжное духовенство давно находилось вне закона, и каждый пользовавшийся его услугами компрометировал себя настолько, что сам мог угодить в Революционный трибунал. Для Жоржа дело осложнялось еще и тем, что как раз теперь положение его сильно пошатнулось.

Но старики Жели плохо знали своего будущего зятя. Если Дантон страстно желал чего-либо,

препятствий для него не существовало. Он согласился на все. И после тайной исповеди состоялась тайная свадьба. Она происходила на той же самой мансарде, у того же самого аббата Керавенана, перед столом, превращенным в алтарь. . .

Чтобы подсластить горькую пилюлю, Дантон показал себя семейству Жели истинным рыцарем-бессребреником. Он взял с отца Луизы очень небольшое приданое—всего десять тысяч ливров; да и эти десять тысяч обратились в величину с противоположным знаком, ибо тут же, якобы от лица одной из своих теток, гражданки Лемуар, Жорж подарил невесте в три раза большую сумму.

Правда, этот чересчур щедрый подарок обернулся против дарителя.

Так как контракт заверили нотариально, сохранить его в тайне было нельзя. Все стало известно якобинцам. Конечно, никто не поверил в мифическую доброту гражданки Лемуар. Именно в связи с этим 26 августа Жоржа взяли в клубе под обстрел.

Он защищался с ожесточением.

— Возьмите мою голову,—патетически восклицал он,—или признайте меня хорошим патриотом!

Дантон, разумеется, был уверен, что голова все еще достаточно прочно сидит на его плечах.

Стояла середина знойного лета. Для страны это лето было самым тяжелым за все годы революции. Но медовый месяц Жоржа Дантона затягивался, и он жил сейчас как будто совсем в ином мире.

Двери обширной квартиры на Торговом дворе вновь гостеприимно распахнулись. Толпы друзей вновь расселись за широкими столами, ломившимися под тяжестью вин и яств. Снова пошли музыкальные вечера и волшебные загородные прогулки. Новая царица общества, пленяя захмелевших мужчин прелестью своих бездумных глаз и тонкой осиной талией, шурша накрахмаленными юбками, уверенно входила в свою роль.

Но когда хмель развеялся окончательно, друзья и соратники не раз упрекнули Дантона за

этот медовый месяц. Он отвлекся, выпустил из рук поводья и загубил все!.. И никому не пришла в голову одна очень простая мысль: а не было ли здесь обратной причинно-следственной связи? Не вышел ли Жорж Дантон из игры, не погрузился ли он с такой бесшабашностью в свое личное, малое, только потому, что общее, большое, оказывалось проигранным?..

Необходима единая воля

Как-то еще в самом начале июня, выступая у якобинцев, Жорж признался с неожиданной искренностью:

– Я исчерпал себя.

Теперь в его немногочисленных речах все чаще сквозили нотки усталости и апатии. И кое-кто из близких начинал вторить трибуну:

– Дантон выдохся. Он потерял революционную энергию.

Все это были преувеличения. Жалобы на усталость в устах тридцатипятилетнего «старика» звучали смешно и неубедительно. Нет, Дантон не выдохся и не исчерпал себя. Конец лета показал, что в прежнем могучем кордельере еще оставались и энергия, и хитрость, и зоркость. И,

однако, какая-то крупица истины во всех этих жалобах, несомненно, имелась.

«Усталость» Дантона была сродни тому утомлению, которое фельяны испытывали весной 1792 года, а жирондисты—ровно год спустя. В основе ее лежали причины чисто политического характера: революция начинала *перерастать* Дантона. И по мере того как Жорж замечал, что остановить поток много труднее, чем плыть по его течению, а плыть по течению он больше не желал, да и не мог, росли апатия и неверие в собственные силы.

Август и сентябрь 1793 года увидели последний—не очень длительный и не очень яркий—взлет Жоржа Дантона.

То катастрофическое положение, которое переживала Франция в сентябре прошлого года, могло показаться чуть ли не легким по сравнению с тем, что выпало теперь на долю якобинской республики.

Удары сыпались со всех сторон, и каждый мог оказаться смертельным.

Восстание 31 мая—2 июня открыло дорогу гражданской войне. Если прежде контрреволюционные вылазки в отдельных департаментах были лишь неприятными эпизодами, то после падения Жиронды отдельные вспышки превратились в общий пожар, охвативший две трети страны. Лидеры повергнутой партии, объединяясь с бывшими аристократами и фельянами, организовали целую цепь мятежей, огненным кольцом охвативших Париж и центральные районы Франции. В Нормандии и Лангедоке, в Бретани, Вандее и Провансе, в Бордо, Лионе, Ниме, Марселе и Тулоне—повсюду в богатых провинциях и крупных центрах свирепствовал разнузданный белый террор. Потоками лилась кровь патриотов. Вандейские роялисты вырезали целые города и спешили на соединение с армиями интервентов.

Интервенты как нельзя лучше использовали гражданскую войну. В то время как на востоке, после капитуляции Майнца и Валансьена, австрийцы нацеливались на Париж, англичане на юге стремились овладеть Тулоном, а на западе готовили десанты в Нормандию. Пять иностран-

ных армий со всех сторон теснили обескровленное французское войско, потерявшее целеустремленность и дисциплину, деморализованное изменой и бездарностью своих генералов.

И как раз в это же самое время на якобинское правительство усилился грозный натиск слева. Народные массы, четыре года подряд тщетно ждавшие удовлетворения своих нужд, не желали слушать новых сказок и старались практически закрепить июньскую победу над жирондистами.

Монтаньяры-якобинцы были горды своим аграрным законодательством.

А крестьяне в деревнях и селах настаивали на гораздо большем: они требовали раздела крупных земельных владений и раздачи участков, причем раздачи немедленной.

Монтаньяры-якобинцы считали свою новую конституцию верхом совершенства.

А их недавние союзники, «бешеные», громили эту конституцию, и Жак Ру, выступая у решетки Конвента, заявлял:

– Свобода—лишь пустой звук, когда один класс может морить голодом другой. Равенство—

пустой призрак, когда богатый путем скупок получает право над жизнью своих близких. Республика—пустой термин, если контрреволюция со дня на день произвольно меняет цены на продукты, продукты, к которым три четверти граждан не могут прикоснуться без слез. . .

То, что буржуа Дантону казалось концом, для санкюлота Ру было лишь началом, отправным пунктом для решительных действий. И в одной из своих речей вождь «бешеных» не постеснялся прямо указать на Жоржа и его друзей, утопавших в излишествах среди голодного народа.

Если в марте Жорж Дантон был готов опереться на «бешеных», то в июле—августе они становились его смертельными врагами. Агитация Ру и его соратников напугала якобинское правительство в целом. Монтаньярам удалось разгромить «бешеных» и бросить в тюрьму их вождей. Но это не решало сложного вопроса, тем более что идеи Ру и Варле тотчас же подхватила левая фракция самих якобинцев, возглавляемая Эбером и Шометом.

Все это вместе взятое подсказало монта-

нярам нехитрую и единственно верную мысль: необходимость концентрации власти. Демократическую конституцию следовало отложить до лучших времен. Только революционная диктатура в столь губительных условиях могла спасти якобинскую республику.

«Нужна *единая* воля...» — записал Робеспьер в своем блокноте. Еще недавно Неподкупный и его сторонники боялись как огня «призрака диктатуры». Теперь этот призрак обрел плоть и становился непреодолимой реальностью. Оставалось лишь подчиниться этой реальности.

Но кто же возглавит диктатуру? Где подлинный неустрашимый вождь? Кому по силам и по достоинствам это нелегкое бремя?

Возможных кандидатов лишь два: Робеспьер и Дантон.

Жорж видит, что у Робеспьера ряд важных преимуществ, и прежде всего, Максимилиан стоит во главе Комитета общественного спасения, вероятного органа диктатуры, а он, Жорж, только что бесславно выброшен из этого Комитета.

Но Дантон помнит свое бывшее влияние и свой прошлогодний «сентябрь». Апатия его покидает. Он смело бросается в битву. Ибо, помимо всего прочего, он ясно чувствует: кто на этот раз потерпит поражение, тот рискует не только своим престижем, но и чем-то неизмеримо большим. . .

Прежде всего он должен заняться самозащитой. Ему необходимо оправдать и у якобинцев и в Конвенте свое поражение 10 июля. Жорж защищается с энергией; от защиты он незаметно переходит к нападению. Он громит изменников-генералов и неприсяжных священников. Он вновь обращается к массам.

– Кто выносит на плечах всенародное бедствие? Кто проливает свою кровь в защиту свободы? Кто борется с финансовой аристократией? Это те, у кого нет королевской ассигнации в сто ливров. Действуйте беспощадно, какое вам дело до ропота богачей?.. Что губительно для них, может быть только выгодно народу. . .

Дантон против каких-либо уступок врагам революции. При разговоре с изменниками железо

должно прийти на помощь разуму.

Он порицает даже министра внутренних дел, своего приятеля Гара, за нерешительность. Он требует создания новой революционной армии в триста тысяч человек для борьбы с мятежниками и спекулянтами.

И, наконец, главное: вопрос о *революционном правительстве*. Кому же возбудить и поддержать этот вопрос, как не Жоржу Дантону?

Первого августа его голос в Конвенте звучит с такой же силой, что и одиннадцать месяцев назад.

– Великолепно! Станем грозными, будем драться как львы! Почему бы нам не создать временное правительство, которое усилит национальную энергию сопротивления?..

Оратор видит это правительство: им должен стать Комитет общественного спасения, Комитет, который оказал Франции столь неоценимые услуги. Разумеется, этот орган следует наделить самыми широкими полномочиями и обеспечить денежными средствами. Комитет должен заручиться доверием всех добрых граждан. Цель его

деятельности—привести республику к внутренним и внешним победам. . .

Пока Дантон говорит, Робеспьер нервно ерзает на своем месте.

— Это ловушка!—шепчет Сен-Жюст. Друзья Робеспьера догадываются, что, делая ставку на Комитет, демагог надеется его снова возглавить.

Жорж, со своей стороны, понимает, о чем могут думать робеспьеристы. Он стремится предупредить их вывод.

— Я объявляю,—грохочет он,—что сам я не стану выполнять никаких функций в Комитете. Я клянусь в этом свободой моей родины!..

Такая клятва не может не произвести впечатления. Во всяком случае, несколько дней спустя Робеспьер защищает Дантона в Якобинском клубе. Если Неподкупный и не верит своему сопернику, то полностью порывать с ним все еще не считает нужным.

Воодушевленный трибун продолжает развивать свою мысль. 12 августа он обрушивается на «подозрительных» и требует, чтобы «дали исход народной мести»; четырнадцатого—

предлагает реквизировать излишки у богачей, семнадцатого—советует учесть хлебные запасы, 3 сентября—ратует за установление твердых цен на хлеб. Все эти выступления как нельзя лучше отвечали запросам дня. Их своевременность доказали события 4—5 сентября.

Казалось, Париж снова переживает дни 31 мая—2 июня. Все улицы пестрят народом. Из Сент-Антуанского предместья движение перебрасывается в секции рабочих кварталов. Строители, каменщики, слесари и плотники идут нога в ногу в одних рядах. Над колоннами плакаты:

«Война тиранам!», «Война аристократам!», «Война скупщикам!»

Санкюлоты громко выражают свои гнев и горечь. Они ниспровергли монархию, они сокрушили жирондистов и добились установления демократического правительства. Так почему же новые власти не разрешают наболевших проблем? Почему не рубят голов скупщикам и спекулянтам? Почему не дают народу хлеба, не увеличивают нищенскую заработную плату рабочих?..

Одна из секций потребовала, чтобы в Ратушу были посланы окружные комиссары с неограниченными полномочиями—как в ночь на 10 августа. Другая—объявила себя восставшей против богачей.

Вечером 4 сентября народ занял Ратушу, где было организовано новое повстанческое бюро.

До восстания, правда, дело все же не дошло. Руководители Коммуны во главе с Шометом сумели овладеть движением. Шомет разъяснил демонстрантам, что сражаться не с кем: ведь правительство народное и призвано защищать интересы народа. Надо только подтолкнуть депутатов Конвента, открыть им глаза, показать магистральное направление революции. . .

Пятого сентября на заседание Конвента явились представители всех 48 секций столицы, а также депутация от Коммуны во главе с Шометом.

Шомет прочитал адрес, составленный накануне.

Единственные виновники переживаемого го-

лода, утверждал адрес,—это богачи и скупщики. Единственный способ борьбы с ними—это беспощадная расправа.

Шомет сурово осуждал правительство за нерешительность и слабость.

— Настал день суда и гнева!—заявил он.— Пусть сформируется революционная армия, пусть она ходит дозором по департаментам. . . Пусть за этой армией следует неподкупный и непоколебимый трибунал—орудие, одним ударом пресекающее заговоры. . .

Делегаты секций требовали немедленного суда над жирондистами и всеми их сообщниками. Заключение делегатов было решительным и безоговорочным:

— *Поставьте террор в порядок дня.* Будем на страже революции, ибо контрреволюция царит в стане наших врагов.

Смущенно молчит Конвент. Для большей части депутатов столь радикальные требования—малоприятная неожиданность. Не об этом ли самом кричали «бешеные», которых лишь с таким

трудом удалось сокрушить? Даже Неподкупный в тревоге. Он очень сдержанно отвечает делегатам секции и вскоре покидает зал заседаний.

Зато Дантон доволен. Не слишком вникая в существо требований Шомета и его спутников, он видит, что по форме все эти требования удивительно напоминают все то, о чем он, Жорж, постоянно твердил в Конвенте в течение последних полутора месяцев. Не следует ли из этого, что снова он, а не кто другой, разжег народный энтузиазм? Не следует ли из этого, что снова ему, а не кому другому, народ отдаст пальму первенства и подчинится, как главному вожаку?..

Испытывая необыкновенный подъем, Жорж устремляется к трибуне и произносит одну из тех ярких речей, которые живо воскрешают в памяти депутатов сентябрь прошлого года. . .

— Когда народ предъявляет свои требования, когда он предлагает идти против своих врагов, надо применять те методы, которые он выдвигает, так как диктует их лишь гений самой свободы. . .

— Расширим по возможности эти мероприя-

тия. Вы только что заявили перед лицом всей Франции, что страна еще пребывает в состоянии революции. Отлично. *Нужно довести эту революцию до конца.* Пусть не пугают вас *попытки контрреволюционеров* поднять восстание в Париже. Конечно, они стремятся погасить самый яркий очаг свободы; но огромная масса истинных патриотов, санкюлотов, сотни раз устрашавшая своих врагов, еще жива, она каждый миг готова броситься в бой. *Умейте управлять ею,* и она снова разрушит все козни врагов!..

Необыкновенно ловкий прием! Демагог пытается, показав, что проект восстания—дело рук контрреволюционеров, вырвать массы из-под влияния Эбера и Шомета! *Надо уметь управлять* народными страстями, а уж кто сможет сделать это лучше его, Дантона, столько раз выступавшего в подобной роли! Силою обстоятельств именно он призван к тому, чтобы закончить чересчур затянувшуюся революцию. Разве не ему принадлежит фраза, ставшая знаменитой: «Кто слишком долго делает революцию, рискует не воспользоваться ее плодами»? Но он-то, как и

руководимые им, хотят этих плодов! Революция дала им много—они желают мирно пользоваться полученным!..

И, продолжая путь в раз принятом направлении, оратор готов утвердить все «крайние меры», предложенные делегатами, но при условии, что проведение этих мер будет доверено ему, Дантону.

Под долго не смолкающие аплодисменты, под громкие крики «Да здравствует республика!» заканчивает Жорж Дантон свою речь следующими знаменательными словами:

– Да будет воздана тебе хвала, великий народ. Ты соединяешь настойчивость с величием; ты упорно добиваешься свободы; ради нее ты голодаешь и за нее проливаешь свою кровь; ты достоин завоевать ее! *Мы пойдём вместе с тобой.* Твои враги погибнут. Ты будешь свободен. . .

Он уверен, что достиг цели. И следующий день, 6 сентября, должен стать днем его окончательной победы.

В этот день в Конвент поступили тревожные

известия со всех внутренних и внешних фронтов. Лион усиливал сопротивление войскам республики и превращался в главный оплот контрреволюции. Тулон был сдан англичанам. Южные департаменты объединялись для совместных действий против «тирании Парижа».

Момент как нельзя более удачный.

Дантон решает, что именно сейчас надо перебросить мостик к своему предложению от 1 августа и замкнуть все звенья последних речей в единую цепь.

— Я снова повторяю то,—говорит он,—что недавно сказал министрам и Комитету: к национальной энергии необходимо присоединить *политические средства*.

В его устах эти «политические средства» выглядят весьма своеобразно. Это отнюдь не солдаты, не пушки и не военные корабли. Удачливый делец рассчитывает на всепобеждающую силу денег. Специалист по тайным комбинациям предлагает прежде всего использовать «людские пороки».

Ведь Конвент, располагающий пятьюдеся-

тью миллионами, израсходовав лишь десятую-двенадцатую их часть, мог бы возвратить Тулон и повесить всех предателей! Порок падок на взятки, оратор знает это более чем хорошо. С помощью денег можно было бы, наконец, придать нужное направление и деятельности народных обществ. . .

Сказанного достаточно. Он не станет разъяснять свою мысль. Главное, чтобы Конвент и Комитет поняли: сейчас не следует экономить на тайных расходах.

Многие члены Конвента, и в первую очередь лидеры «болота», начинают понимать. Так вот она, обратная сторона медали! Вот почему демагог гремит шесть недель подряд! Это снова не более чем тактический маневр. Трибун хочет успокоить народ, уверить его в солидарности с ним Конвента, а тем временем с помощью денег, с помощью тайной закулисной игры ввести все движение в подходящие рамки и спокойно завершить революцию!

Да, это воистину «политические средства»!

Это превосходная идея. И кому же воплотить

ее в жизнь, как не ее автору, так блестяще показавшему свои способности в подобных делах в дни своего министерства?..

Тем, кто еще пребывает в нерешительности, Дантон подсказывает:

– Я не состою и никогда не буду состоять в каком-либо Комитете, но я заявляю, что Комитет общественного спасения представлен истинными патриотами, а тот, кто осмелится клеветать на него, либо плохой патриот, либо человек заблуждающийся. . .

Иначе говоря, оратор предлагает себя в члены Комитета.

Это понимают уже все. Один из депутатов центра восклицает:

– У Дантона революционная голова; только он сам может воплотить свой замысел; я предлагаю, помимо его воли, включить его в состав Комитета общественного спасения. . .

Многие аплодируют. Предложение силами «болота» превращается в декрет.

Цепь замыкается. И революционное правительство и Жорж Дантон, как его руководитель,

одновременно становятся явью:

Он выиграл схватку и может снова торжествовать.

В течение двух дней после этого он молчит.

Долгие сорок восемь часов и наяву и во сне упрямые сомнения, все более настойчивые и неотступные, гвоздят его ум.

Он добился того, чего как будто страстно желал. И что же? Капля яда с самого начала проникает в чашу радости, а затем смертоносная отравка обволакивает все. . .

Еще задолго до того, как кампания завершилась, Жорж смутно чувствовал, что на этот раз все должно обернуться иначе, чем в прошлые годы.

Другое время, другие люди, другие цели и средства.

То, что для него было лишь тактикой, для народа превращалось в стратегию. Разглагольствуя о терроре, о революционной армии, об утеснении богачей, Дантон лишь занимался декламацией. Громкими речами он снова хотел привлечь к се-

бе сердца простых людей, с тем чтобы, овладев их волей, остановить их намерения и закончить революцию так, как было выгодно ему и ему подобным. Но санкюлот заметно изменился за годы революции. Он повзрослел и поумнел. Раньше он был легковверен и с охотой помогал тем, кого считал своими «благодетелями» и «отцами». Теперь простолюдин начинал бороться за собственные цели. Он терял прежнее доверие к тем, кто обольщал его фразами. Он хотел не фраз, а дел.

Но что же означали бы эти дела? К чему привели бы требования санкюлотов, претворись они в жизнь? Прежде всего к удару по новым собственникам, к ограничению богатств, к репрессиям против тех, кто хотел спокойно пользоваться всеми благами, принесенными буржуазной революцией.

Иначе говоря, удар предназначался в первую очередь лично ему, Дантону. Об этом совершенно ясно сказал еще в июле Жак Ру. Об этом теперь все громче и громче начинали говорить другие.

Далеко не случайно, что от Жоржа совсем отвернулись его старые боевые друзья—

кордельеры. В Клубе кордельеров, где сейчас господствует Эбер, Дантона поносят последними словами. Да и якобинцы становятся все более подозрительными. Все чаще интересуются его состоянием, источниками его богатств. Все труднее оказывается оправдаться и уйти за соцветия революционных фраз.

— Стыдно быть сейчас богатым!—сказал член Конвента Жозеф Фуше. И хотя сам Фуше бесстыднейший пройдоха и лицемер, фраза его стала популярной и повторяется повсюду. . .

Ставка на Комитет, превращенный в высший правительственный орган, в этих условиях казалась Дантону якорем спасения. Он вострепнулся, проявил нечеловеческие усилия и добился своего избрания. Но чем внимательнее он смотрит вокруг, тем более приходит к выводу, что и эта победа обманчива.

Не случайно, разумеется, в тот самый день, когда Конвент утвердил его избрание, в Комитет вошли так же его два врага—Колло д'Эрбуа и Билло-Варенн. Билло-Варенн особенно ненавидел своего бывшего патрона, подозревая его

в двурушничестве и издоимстве. Между тем последние дантониисты один за другим исключались из Комитета. Барер совершенно переменял ориентацию и во всем подпевает Робеспьеру, а Робеспьер...

Нет, Жорж чувствует, что с Неподкупным ему и не примириться и не совладать. Именно потому, что его соперник—Неподкупный. Теперь народ верит только неподкупным. Робеспьера, всегда демонстрирующего свои чистые руки, слушают много охотнее, чем Дантона. Робеспьер кажется скромным, он не лезет вперед, он будто бы даже и не мечтает о персональной власти: ведь 5 сентября он демонстративно покинул заседание Конвента, лишь только зашла речь о революционном правительстве!

И тем не менее диктатором будет именно он. Этот педант и тихоня, этот близорукий аскет, который так внимательно приглядывается к каждому шагу революции...

Дантон грохочет, но что толку? Взлеты его энергии лишь покрывают маячащие впереди пустоту и безысходность.

Робеспьер говорит тихо, но так, что каждое его слово весит больше, чем вся речь Дантона. Робеспьер прямо идет к цели, и цель его остается постоянной, как постоянен он сам. . .

Все эти мысли приводят Жоржа в смятение. Он чувствует себя бессильным. Он понимает, что ему не придется пожинать плоды своей победы.

Восьмого сентября он категорически отказывается от работы в Комитете общественного спасения.

Конвент принимает его отставку.

В течение нескольких дней после этого Дантон еще как-то пытается бодриться.

— Я предпочитаю не входить ни в один Комитет, но давать шпоры всем им сразу,—заявляет он 13 сентября.

Пустые слова. Ибо «лихой наездник» сегодня выступает в последний раз перед тем, как надолго замолкнуть. После 13 сентября он почти за два с половиной месяца не произносит ни одной речи. Мало того, он вообще исчезает. Его не видят больше ни в Конвенте, ни в клубах.

«Не мешайте моему покою»

Дантон болен. Его нервы совершенно расстроены. Напряжение последних месяцев подорвало его могучие силы. Пускай не верят в его болезнь, что ему за дело до этого? Он никого не хочет видеть, ни о чем не желает слышать, все ему противно до тошноты.

Однако, хочет он или не хочет, известия его настигают. Причем известия эти не могут улучшить ни состояния, ни настроения больного.

Его соратники терпят провалы и в правительственных Комитетах, и в Конвенте, и у якобинцев. Дантону передали слова, сказанные лично о нем в Клубе кордельеров: «Этот человек убаюкивает нас фразами. Он бахвалится своим патриотизмом. Неужели он думает, что мы всегда

останемся глупцами?»

В конце сентября, вскоре после того, как Конвент издал декрет о привлечении к суду жирондистов, больного навестил Гара. Он едва узнал своего приятеля. Дантон похудел, стал слезливым.

— Я не мог их спасти, — были первые слова, которыми он встретил Гара. — Двадцать раз предлагал я им мир — они не пожелали меня слушать. . . Это они толкнули нас в объятия санкюлотов, которые пожрали их, пожрут всех нас. пожрут самих себя. . .

Париж с его шумом, слухами, постоянными визитами угнетает Жоржа. К черту все! Он покинет опостылевшую столицу. От безнадежности и отчаяния, от ругани и угроз, от страшных призраков будущего его излечат голубизна неба, просторы лесов и любимая женщина. Он продолжает свой медовый месяц, а в остальном — трава не расти. . .

Молодые едут в райский уголок — Шуази-ле-Руа. Здесь крошку Луизу ожидает подарок. Заботливый супруг снял для нее (а быть может,

и купил) настоящий феодальный замок! Раньше этот замок принадлежал герцогу де Куаньи. Что ж, почему в нем сейчас не пожить буржуазной чете Дантонов? Замок обставлен заново, с пышной роскошью, которая в копеечку стала его обладателю.

Надоело в Шуази—можно поехать в Севр, благо лошади и карета свои. . .

В Севре у Жоржа более обширное жилище. Правда, для других огромный трехэтажный дом, сработанный в добром классическом стиле,—собственность прежнего тестя Дантона. Что делать, многое приходится скрывать—не простят якобинцы! Но от этого дом и поместье не становятся хуже. Луиза поражена «Фонтаном любви»—так называется эта великолепная усадьба. Муж ежедневно учит свою маленькую женушка основам сельского хозяйства. При «Фонтане любви»—образцовый скотный двор; особенно хорош птичник: куры, утки, гуси, голуби—сколько их ни потребляй, кажется, лишь прибывают в числе. А в Париже теперь, как известно, порядочной курицы и днем с огнем не

сыщешь. . .

Всем хорош бы «Фонтан любви», одно плохо: слишком уж близок Севр от Парижа. Поэтому новости прут каждый день, никакого нет от них спасу. А новости-то все хуже и хуже. . .

Новый «закон о подозрительных» наполняет тюрьмы сотнями жертв. Среди них уже кое-кто из знакомых Дантона. И какой прок в том, что его старый друг Паре стал министром внутренних дел? Теперь министры—ничто перед главным Комитетом. . .

Самое обидное, что Робеспьер со своими компаньонами, раньше презрительно кривившиеся при слове «диктатура», сейчас действуют вовсю и, используя его, Жоржа, идею, превращают Комитет в единоличный орган власти. И вот что сказал недавно Сен-Жюст, если верить газетам:

«Нельзя дольше щадить врагов нового строя: свобода должна победить какой угодно ценою. . . Нужно наказывать не только предателей, но и равнодушных; надо наказывать всякого, кто безразличен к республике и ничего не делает для нее. . . »

Нет, Жорж чувствует, что здесь, вблизи от столицы, он никогда не вылечит нервов.

Тринадцатого октября он отправляет в Конвент прошение об отпуске по болезни и, не дожидаясь ответа, едет в Шампань.

Снова Арен. Всегда Арен. Тихая, немного сонная, совсем спокойная жизнь. . .

С утра—халат. Прогулки по парку. Осмотр конюшен и амбаров. Завтрак, обед и ужин—во дворе, прямо под деревьями. Полуденная дремота. Разговору—десять слов в день.

Халат снимается лишь тогда, когда нужно сходить в нотариальную контору, чтобы заполнить очередной контракт о приобретении нового участка земли. За пару недель Дантон совершает восемь таких приобретений на сумму в несколько тысяч ливров. Это немного, но каждая покупка радует сердце и глаз.

Когда с ним пытаются заговорить о политике, он сатанеет.

– Не мешайте моему покою! Никто не имеет права требовать отчета в моем безделье!..

И все же... О проклятье!.. Нет, видимо, ему никуда не уйти, нигде не спрятаться от того, что преследует, как неотвратимый рок. Нигде...

Жорж сам вырывает газету из рук соседа.

Да, верно... Жирондисты казнены. Все—и Бриссо, и Ласурс, и Верньо, и многие другие... Казнена бывшая королева, Мария Антуанетта... Казнен Лебрен, бывший министр иностранных дел, с которым Жорж был так близок... Казнен—о небо!—герцог Орлеанский, которого не спасла его новая фамилия «Эгали-те»...

Кровавые круги плывут перед глазами Дантона. Каждый день—новые вести. Вот на плаху вступила Манон Ролан, а вот и старый Байи—всего за несколько дней до казни Антуана Барнава...

Все они в прошлом—враги Дантона. Но почему же его вовсе не радует их гибель? Почему его вообще ничто больше не радует?..

В ноябре неожиданно приезжает близкий родственник Жоржа, Мерже. Его срочно прислал из Парижа Куртуа. Дело совсем плохо. Друзей Дан-

тона громят по всей линии, о нем самом распускают слухи, будто он бежал в Швейцарию, над головами всех их нависла смертельная угроза.

– Робеспьер и его сторонники решили тебя доконать. Торопись...

Дантон пожимает плечами.

– Неужели они хотят моей смерти? Они не посмеют!..

Потом хватает Мерже за руку.

– Поезжай, скажи Робеспьеру, что я не замедлю его уничтожить! Его и всю его свору!..

Но где-то в глубине души голос, слышный одному только Жоржу, шепчет тихо, но внятно:—Я исчерпал себя.

10.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

(НОЯБРЬ 1793—МАРТ

1794)

Мир или перемирие?

Максимилиан пересек улицу Сент-Оноре в том месте, где переходил ее обычно, и, как обычно, машинально взглянул на шпиль якобинской церкви. Шпиль был едва различим: наступали сумерки, а уличное освещение в этом году не баловало жителей столицы.

Было не только темно, но и зябко. Фример— «месяц изморози»—подходил к середине. Сильные холода еще не наступили, но уже чувствовалось первое дыхание ранней декабрьской стужи.

Парижане знали: зима будет суровой. Ибо беда не приходит в одиночку. Если нет хлеба—не купишь и овощей, если нет топлива—жди лютых морозов.

На улицах молчаливый людской поток не

убывал ни днем, ни ночью. Люди двигались медленно, а больше стояли. Стояли с вечера до зари и с зари до полудня. Слово «хвост» получило новый смысл. И когда говорили: «Становись в хвост!»—каждый понимал, что это значит. Хвосты были и у булочных, торговавших исключительно «хлебom равенства», и у мясных магазинов, которые часто не торговали ничем, и на рынках, оскудевших сверх всякой меры.

А тут еще на глазах у измученных женщин жирные молодчики выволакивали из лавок коровьи и бараньи туши, а потом лавки запирались на замки: мяса нет. Все знали, куда уходят продукты: столы богачей были постоянно переполнены снедью, купленной по спекулятивным ценам. . .

Максимилиан Робеспьер также знал все это, знал очень хорошо. Его квартирная хозяйка, гражданка Дюпле, каждое утро за чашкой кофе посвящала своего жильца в очередные трудности жизни и знакомила со слухами, циркулировавшими по городу.

Да что там слухи! Ему, как главе правительства, было известно, разумеется, гораздо боль-

ше. Слухи, отклики общественного мнения лишь укрепляли и обостряли его невеселые мысли.

Правда, Максимилиан мог быть многим доволен. И гордость, которую по временам, выступая в Конвенте, он испытывал, была законной. За последние месяцы революционное правительство проделало поистине титанический труд. Огненное кольцо контрреволюции было успешно прорвано. Новая армия, созданная невероятной энергией и волей, гнала неприятеля от границ. Уже сломлена большая часть антиправительственных мятежей—взят Лион, не сегодня-завтра будет освобожден Тулон, почти замирена Вандея. Окончательно сброшены со счетов жирондисты: их лидеры вместе с последышами фельянов сложили головы на эшафоте. В целях облегчения нужды народа декретирован всеобщий максимум—проведена нормировка цен на предметы первой необходимости. Центральная продовольственная комиссия разрабатывает новые меры, направленные на ликвидацию голода и его последствий.

Все это показывало, что «Комитет Робеспье-

ра» хорошо знает свое дело и вполне достоин доверия патриотов.

Но чем больше побед одерживало правительство, тем очевиднее становилось Неподкупному, что прежнему единству монтаньяров приходит конец. Зрела новая междоусобная борьба, еще более тяжелая, чем прежде. И конечные результаты этой борьбы было трудно предвидеть.

В самом начале осени Робеспьер с беспокойством обратил внимание на две группировки, две фракции, отделявшиеся справа и слева от руководимого им правительственного большинства. Во главе правой фракции стоял Дантон, во главе левой—Эбер. Правые, несмотря на свои трескучие фразы, явно стремились замедлить революцию и остановить ее ход. Левые, напротив, вызвали постоянные сверженческие эксцессы и обвиняли правительство в «модерантизме»³⁰.

Дантона, равно как и его друзей, Неподкупный знал давно и успел составить о них вполне

³⁰[31] Умеренности (*франц.*).

определенное мнение. Что же касается левых, то знакомиться с ними пришлось в ходе борьбы. Эбер и Шомет были крайне неприятны Робеспьеру. Он видел в них наследников «бешеных». И все же, строго анализируя общую обстановку и задачи дня, Максимилиан кое-чему научился у левых и кое-что перенял от них, прочно введя в арсенал своей политики.

Так, прежде относясь с большим недоверием к террору, теперь Робеспьер сделал террор краеугольным камнем всей своей системы. Он понял, что в дни войны и контрреволюционной угрозы террор призван сыграть одну из главных ролей. Террор, полагал Максимилиан, должен дополнить добродетель, стать ее охранителем и защитником.

Однако вскоре стало ясно, что уступки Неподкупного не могут удовлетворить эбертистов. В то время как Дантон покинул поле боя, Эбер начал нажимать на революционное правительство с особенной силой. При этом Максимилиан уловил крайнюю непоследовательность эбертистов: с одной стороны, они ратовали за безудержный

террор, с другой,—когда террор был установлен, стали требовать возвращения к строго конституционному режиму.

Становилось ясно, что главная цель Эбера та же, которую незадолго перед тем ставил Дантон: свергнуть его, Робеспьера, и самому утвердиться у власти.

И еще одно обстоятельство поразило Неподкупного. Несмотря на кажущуюся противоположность течений, несмотря на то, что дантонисты и эбертисты с одинаковым усердием поносили и оплеывали друг друга, между ними существовал незримый мостик, сближавший обе фракции. Этим мостиком служили подозрительные иностранцы.

Французская республика гостеприимно открыла дверь всем угнетаемым и гонимым европейскими тиранами. Некоторые иностранцы, прославившиеся своей борьбой за свободу, даже были избраны в Конвент. Но наряду с подобными людьми во Францию проникло много иностранных дельцов и банкиров, рядившихся в одежды

крайнего санкюлотизма и патриотизма. Эти господа, заползая во все щели, стали преобладать в некоторых народных обществах, завязывали тесные отношения с депутатами Конвента, видными якобинцами и даже членами правительственных комитетов. Все они при этом продолжали выполнять роль шпионов в пользу тех враждебных Франции держав, которое якобы их изгнали.

В сентябре—октябре текущего года, проводя законы о «подозрительных» и о иностранцах, правительство внезапно обрушилось со всей силой на головы новых «поборников свободы». И тут же выяснилось, что многие из них находились в неразрывных узах с ведущими дантонистами и эбертистами, причем главари фракций стали немедленно оказывать помощь своим подопечным. Так, видный дантонист Шабо добился снятия печатей с банка Бойда, английского шпиона, личного финансиста Питта, а затем помог Бойду бежать из Франции. Тот же Шабо был женат на сестре австрийских дельцов и шпионов, братьев Добруска, которых он укрывал от правительственных репрессий. Иностраный банкир

Проли, бывший агентом Дантона и члена Комитета общественного спасения дантониста Эро де Сешеля, установил позднее контакт с видными эбертистами.

Все это наводило на мысль о том, что существует единый иностранный заговор, следы которого уводят в недра обеих оппозиционных фракций.

Мысль эта созрела не сразу. Но с течением времени Робеспьер все более в ней укреплялся. Раскрытые вскоре финансовые жульничества, давшие улики против некоторых членов Конвента, в особенности постыдное дело Ост-Индской компании³¹, потянули к ответу и дантонистов, и эбертистов, и связанных с ними иностранных дельцов.

Все же на сегодняшний день Максимилиан считал главными врагами эбертистов. Сторонники Дантона временно притихли. Самого Жоржа,

³¹[32] Попытка со стороны ряда членов Конвента нажиться за счет подлога и биржевой игры при ликвидации хищнической Ост-Индской компании.

на котором лично для себя Максимилиан давно уже поставил крест, он не хотел причислять к явным контрреволюционерам. Ближайший друг Дантона, Камилл Демулен, был дорог Робеспьеру по воспоминаниям юности, и верить в его враждебность также не хотелось. Другое дело— Эбер и его банда. В последнее время правительство Робеспьера испытывало настоящий «эбертистский натиск», бороться с которым становилось все труднее. Возникло сомнение: а можно ли вообще справиться с этим натиском, не располагая поддержкой сильного союзника?..

И Максимилиан делает весьма логичный вывод: надо противопоставить Эберу Дантона. Надо поддержать Дантона, придать ему смелости и энергии, и тогда совместными усилиями будет много легче сбросить иго этих «ультрареволюционеров».

А иностранный заговор? Что ж, к нему придется возвратиться позднее. . .

С этими думами Робеспьер перешагнул порог старой якобинской церкви.

Теперь фронт был не только на границах. Его линия проходила в каждой секции, в любом народном обществе, в Конвенте и клубах, превращая их в поля ожесточенных схваток. Бурные дни переживал и Клуб якобинцев. Шла чистка клуба—рядовые члены обсуждали взгляды и поступки прославленных лидеров. Вчерашние заслуги не спасали от изгнания тех, кто казался недостаточно стойким сегодня. А быть изгнанным из клуба сегодня—значило ступить на прямую дорогу к гильотине.

Третьего декабря—13 фримера по новому календарю—пришел черед Жоржа Дантона.

Шум вокруг его персоны поднялся уже давно. Его болезнь считали уловкой, попыткой замаскировать свое нечестное поведение. Жоржа укоряли в вялости и равнодушии, в том, что он требовал отказа от суровых мер, вызванных обстоятельствами. Не он ли развалил первый Комитет общественного спасения? Не он ли постоянно играл на руку жирондистам? Не он ли, прикрываясь решительными фразами, вот уже полгода топчется на месте, а то и прямо тянет назад? Кто-

то не преминул напомнить о состоянии Дантона, выросшем как на дрожжах за годы революции.

Трибун встал. Крупные капли пота дрожали на его выпуклом лбу. В его голосе не чувствовалось обычной силы. Его перебивали выкриками и угрозами. Дантон пытался увернуться от прямого удара, взывая к теням прошлого. Разве он уже не тот, кого боготворили патриоты и кого подвергали гонениям тираны? Разве он не был самым бесстрашным защитником Марата? Нет, его не могут уличить ни в каком преступлении. Он хочет оставаться перед народом стоя во весь рост. Что же касается его богатства, то оно не так уж и велико, как считают: оно осталось таким же, каким было до революции. Впрочем, он требует создания беспристрастной комиссии, которая рассмотрит и по достоинству оценит весь этот вздор.

Жорж замолчал. Выкрики усилились. Защита никого не убедила. Зачем было взывать к памяти Марата? Все присутствующие знали, что Дантон не выносил покойного. А разговоры о состоянии—разве они не были пустой болтов-

ней?..

Но вот поднимается Робеспьер. Он требует, чтобы хулители Дантона точно изложили свои жалобы. Какая-то особенная нотка в голосе оратора всех настораживает.

Зал молчит.

— В таком случае это сделаю я,—говорит Неподкупный.

Он обращается к «подсудимому»:

— Дантон, разве ты не знаешь, что чем больше у человека мужества и патриотизма, тем активнее враги общественного дела домогаются его гибели? Разве ты не знаешь, да и все вы, граждане, разве не знаете, что это обычный путь клеветы? А кто клеветники? Люди, которые кажутся совершенно свободными от порока, но в действительности не проявившие и никакой добродетели. . .

Дантон вздрагивает и вытирает пот с лица. Он поражен. Оратор, кажется, собирается не обвинять, а защищать его? Защиты с этой стороны, да к тому же такой энергичной, он никак не ожидал. Всем известно, что между двумя вождями пробежала черная кошка, что они уже давно го-

ворят на разных языках. И вдруг...

Дантон удивленно смотрит на Робеспьера. Но Максимилиан не видит его: он обращается к Дантону, а взор его уходит куда-то в сторону. Он продолжает с нарастающей горячностью:

– Я постоянно наблюдаю его в политике; ввиду некоторой разницы между нашими воззрениями я тщательно следил за ним, иногда даже с гневом; и если он не всегда разделял мое мнение, то неужели я заключу из этого, что он предавал родину? Нет, я всегда видел, что он усердно служит ей. Дантон хочет, чтобы его судили, и он прав; пусть судят также и меня. Пусть выйдут вперед те люди, которые в большей степени патриоты, чем мы!..

Вперед, разумеется, никто не вышел. Репутация Дантона была спасена. Вопрос о его исключении из клуба оказался снятым—моральный авторитет Неподкупного сделал свое дело. Но кое-кто недоумевал: зачем, зачем так поступил вождь якобинцев? Кого он поставил на одну доску с собой?

После заседания они не подошли друг к другу. Дантон поспешил покинуть Якобинский клуб.

Он стремился на свежий воздух, желая в одиночестве как следует обдумать создавшуюся ситуацию.

Еще так недавно в Арси, а затем в Труа, куда он вместе с семьей заехал на полторы недели, Жорж оттягивал дни и часы, не желая возвращаться в столицу, ставшую ненавистной.

Но, по-видимому, вблизи всегда все выглядит иначе, чем издали. И самая страшная опасность, когда смотришь ей прямо в лицо, много менее страшна, чем когда знаешь, что она подстерегает тебя из-за угла.

В целом, конечно, положение было ужасным. Придя впервые в Конвент, Жорж содрогнулся. Пустовали не только скамьи, занимаемые раньше жирондистами. Много незаполненных мест оставалось сегодня и на самой Горе, совсем рядом с местом Дантона. Где депутат Шабо, старый агент Жоржа? Или Оселен, его неизменный единомышленник? Или Робер, его близкий приятель? Где депутаты Базир, Делоне, Жюльен? Все

они безвозвратно исчезли, и имен их сегодня никто больше вслух не произносит. Еще бы! Они оказались замешанными в грязных спекуляциях, в скандальнейшем деле Ост-Индской компании. Они связались с подозрительными иностранными банкирами и ныне все, за исключением Жюльена, успевшего бежать, арестованы по приказу Комитета общественной безопасности.

Их ждет Революционный трибунал. Их и многих других, ибо арестованы также в немалом числе спекулянты и дельцы, сомнительные якобинцы и журналисты, заподозренные в финансовом ажиотаже и шпионской деятельности.

Ужас положения состоял в том, что вся эта братия так или иначе была связана прошлым с ним, Жоржем Дантоном. Одни на него работали, с другими он пил и кутил, третьим оказывал покровительство. При этом, надо полагать, хвост потянется и дальше. Следствие только началось, а уже все твердят об «иностранном заговоре», охватившем и Конвент, и подчиненные ему органы, и народные общества. Где концы этого заговора? Кого еще пожелают и сумеют к нему при-

плести?..

Казалось бы, хуже некуда. Действительно, пропасть.

Но, взглядываясь в существо дела, Дантон сразу же заметил по крайней мере три паразитических обстоятельства, которые не могли не ослабить его тревоги.

Во-первых, он узнал, что хитрый Фабр д'Эглантин, его бывший секретарь, делец, более других погрязший в темных комбинациях, пошел на весьма ловкий политический ход: видя, что все горит, он выступил в роли доносчика перед правительственными Комитетами и заблаговременно оговорил как своих компаньонов, так и общих партийных врагов. Это повысило доверие Комитетов к Фабру, и вместо обвиняемого он стал вдруг одним из судей: его пригласили принять участие в расследовании финансового заговора.

Во-вторых, Дантону становится известно, что, хотя в деле о заговоре имелись материалы, компрометирующие лично его, в частности донос, сделанный Базиром и утверждавший, что

заговорщики рассчитывали опереться на бывшего министра юстиции, однако все эти материалы были исключены по приказу Комитетов и рассмотрению не подлежали.

Наконец в-третьих, Дантон определенно заметил, а сегодня общие наблюдения превращаются в уверенность, что Робеспьер, которого он считал своим главным противником, не только не проявляет к нему враждебности, но, напротив, как будто ищет с ним союза.

Если первый из этих фактов был Жоржу вполне понятен, то два остальных вначале поставили его в тупик. Однако он понял их подоплеку, как только более подробно разобрался в общем положении дел в столице.

«Эбертистский натиск», который начался еще в те дни, когда Дантон грохотал в Конвенте, требуя установления революционного правительства, вылился поздней осенью в «дехристианизаторское» движение. Началось с введения республиканского календаря, а кончилось попыткой упразднения религии и всех религиозных обря-

дов.

«Дехристианизаторы» Клоотс, Эбер, Шомет стали закрывать церкви, превращая их в места празднования «культа Разума». Многие священнослужители, в том числе и высшие, как парижский епископ Гобель, торжественно отреклись от сана.

Жорж прибыл в Париж в самый разгар этих событий. Он сразу же выступил против «дехристианизации». Он категорически потребовал и добился запрещения в стенах Конвента «антирелигиозных маскарадов».

Вот тогда-то он и поймал впервые благосклонный взгляд Робеспьера.

Неподкупный, до сих пор открыто не высказывавшийся, относился к насадителям «культа Разума» с враждебностью. Теперь, чувствуя поддержку Дантона, он выступил против них и осудил «дехристианизацию» с государственной и политической точек зрения.

Тогда Шомет, бывший одним из инициаторов движения, первым от него отказался; за ним последовали Эбер и его сторонники.

Это произошло в конце ноября.

А сегодня Неподкупный платил Жоржу услугой за услугу. . .

«Мир или перемирие?»—этот вопрос задавал себе Жорж Дантон, шествуя твердым шагом по бывшей улице Кордельеров, ныне улице Марата.

Мир. . . Нет, мир невозможен.

Но и перемирие не так уж плохо.

Теперь, если действовать умело, можно добиться многого. Надо начать с эбертистов, а затем в положенный час ударить по Робеспьеру. Но теперь он, Жорж, наученный горьким опытом, будет действовать иначе, чем прежде. Нечего лезть под огонь—надо выставить на первую линию других. Хватит громоподобных речей—нужны осторожность и осмотрительность. Сначала нейтрализовать Неподкупного, создать вокруг него пустоту, а затем набросить петлю на его тощую шею.

Все это следует делать так, чтобы самому остаться в тени. . .

Дантон не пошел домой. Несмотря на позднее время, он вдруг изменил маршрут и отправился к

своему пылкому другу Камиллу, с которым давно уже не говорил по душам.

«Старый кордельер»

Никогда еще в своей короткой жизни длинноволосый Камилл Демулен не чувствовал себя таким неуверенным и сбитым с толку.

Ему казалось, что он теряет рассудок. Он не мог понять, что происходит вокруг него. Когда-то все представлялось удивительно простым и ясным: речь в Пале-Рояле, взятие Бастилии, штурм Тюильрийского дворца...

Когда-то был неиссякаемый революционный энтузиазм.

А теперь? Теперь революционеры по непонятным причинам пожирают друг друга. Жирондисты съели фельянов, якобинцы—жирондистов, Дантон проглотил Бриссо, Робеспьер готовится слопать Дантона, а на Робеспьера точит зубы

кровожадный Эбер.

Что же происходит? К чему все эти аресты? И почему его старый друг и бессменный руководитель Жорж Дантон, на которого он всегда полагался, как на каменную стену, вдруг исчез, замолк и не подает признаков жизни?

Когда-то он, Камилл, на страницах своей газеты требовал крови врагов—недаром его называли «главным прокурором фонаря». Но сейчас, когда кровь полилась, он почему-то больше ее не хочет. И он уже вовсе не уверен, что враги—это враги. Все видели, как он, написавший убийственный памфлет «Разоблаченный Бриссо», плакал, когда осудили жирондистов. Теперь он попал в «подозрительные».

Демулен—«подозрительный»! Это звучит, не правда ли?..

... Дантон влетел точно вихрь. Он сказал:— Бери перо и пиши! В публицистике—твоя сила. Поначалу похвали Неподкупного и ругни Эбера; затем потребуй милосердия!..

И вот Камилл снова берется за перо. Он готовит к выпуску первый номер своей новой га-

зеты. Название газеты—«Старый кордельер»—достаточно ярко намекает на ее суть. Речь в ней поведется от лица прежних кордельеров, кордельеров того времени, когда в их клубе господствовал не Эбер, а Дантон.

Первый номер «Старого кордельера» вышел через два дня после речи Неподкупного в защиту Дантона у якобинцев. Он прославлял Робеспьера, вознося его до небес. Он *отождествлял* политику робеспьеристов и дантонистов.

«... Победа осталась *за нами* потому, что среди развалин великих репутаций гражданственности твердо стоит репутация Робеспьера, потому, что он подал руку *своему последователю в патриотизме*, нашему бессменному председателю старых кордельеров, который один выдерживал весь натиск Лафайета и его четырех тысяч преторианцев, нападавших на Марата, и который теперь был, казалось, повергнут наземь *иностранной партией*. . .

. . . Робеспьер! Во всех прежних опасностях, от которых ты избавил республику, у тебя были то-

варищи по славе; вчера же ты спас ее один!...»

Еще через пять дней Камилл выпускает второй номер своей газеты. Здесь он более определенно раскрывает свой замысел. Если раньше он лишь намекал на «инострannую партию», то теперь начинает ее сокрушать. Вновь вспомнив о Марате, журналист утверждает, что сторонники Эбера, желающие превзойти Друга народа, идут к прямому абсурду. Демулен издевается над «культом Разума» и указывает пальцем на Клоотса как на наиболее одиозную фигуру во всей фракции.

Робеспьер был доволен. Старый однокашник определенно лил воду на его мельницу. Именно Клоотса наметил Неподкупный для пробного удара.

«Анахарсис» Клоотс стоял несколько особняком среди эбертистов. В прошлом немецкий барон, весьма состоятельный человек, он называл себя «космополитом», «оратором рода человеческого» и «личным врагом господ бога». В «дехристианизаторском» движении он сыграл

одну из ведущих ролей.

Зная, что из-за Клоотса другие лидеры эбертизма не полезут в драку, и имея под руками материалы из второго номера газеты Демулена, Робеспьер решил не медлить.

22 фримера (12 декабря), выступая в клубе, он смешал с грязью «оратора рода человеческого». Он иронизировал над санкюлотизмом Клоотса, имевшего более ста тысяч годового дохода, порицал как антипатриотический выпад его стремление стать «гражданином мира» и, по существу, обвинил его в шпионаже.

Клоотс был немедленно исключен из Якобинского клуба. Вслед за тем его выбросили и из Конвента.

Пробный удар попал в цель. Эбертисты должны были насторожиться.

Между тем очистительный искус ждал самого редактора «Старого кордельера». 24 фримера (14 декабря) он предстал перед якобинцами.

Его обвинили в связях с подозрительными людьми и в сочувствии к жирондистам.

Камилл защищался слабо. Он не нашел убе-

дительных аргументов и косвенно признал свою политическую неустойчивость. Между прочим, он обронил фразу:

– По роковой случайности из шестидесяти лиц, подписавших мой брачный контракт, у меня осталось всего два друга: Робеспьер и Дантон. Все прочие либо эмигрировали, либо гильотинированы. . .

Прекрасная защита! Якобинцы переглядывались и пожимали плечами. Судьба журналиста казалась предрешенной.

Но мог ли Робеспьер, недавно спасший Дантона, вдруг выдать своего прежнего приятеля, а ныне союзника? Он этого не сделал. Он взял Камилла под свое покровительство и защитил его с большим тактом и умением.

Да, он знает Демулена, знает очень хорошо. Впрочем, кто же его не знает? Демулен слаб, доверчив, часто мужествен и всегда республиканец. У него верный революционный инстинкт. Он любит свободу, он никогда и ничего не любил больше, несмотря на все житейские соблазны. Это главное. Что же касается ошибок, то они, конеч-

но, есть, не заметить их нельзя. В будущем Камиллу нужно серьезно поостеречься. Ему следует опасаться своей неуравновешенности и поспешности в суждениях о людях.

Слова Робеспьера, простые, душевные, были встречены аплодисментами. Демулен остался членом клуба.

Радость Камилла была непродолжительной. Дантон быстро «разъяснил» ему смысл происшедшего.

Глупец! Неужели он не понимает, что выглядел у якобинцев настоящим идиотом? Робеспьер просто издевался над ним, давая волю своему скудному остроумию. Его сохранили из презрительной жалости, сначала как следует прочувив. . .

Демулен взбеленился. Так вот оно что! Его осмеливаются корить, его хотят учить! Ну что ж, он им покажет, он знает, как ответить на глумление!

И нервный журналист, получив хорошую зарядку, очертя голову бросается в бой. Против ко-

го? Он и сам этого хорошо не знает. Во всяком случае, теперь па его острое перо попадут не одни эбертисты. . .

В третьем номере «Старого кордельера» Демулен дал подборку и перевод ряда отрывков из «Анналов» Тацита. С какой целью? С целью проведения некоторых исторических параллелей. Ибо каждая фраза, заимствованная у Тацита, содержала злобный намек на современность.

«... В тиране все вызывало подозрительность. Если гражданин пользовался популярностью, то считался соперником государя, могущим вызвать междоусобную войну. Такой человек признавался подозрительным. . .

Если, напротив, человек избегал популярности и сидел смиренно за печкой, такая уединенная жизнь, привлекая к нему внимание, придавала ему известный вес. В подозрительные его!..

Если вы были богаты, являлась неизбежная опасность, что вы щедростью своей подкупите народ. Вы человек подозрительный. . .

Были вы бедны—помилуйте, да вы непобеди-

мый властитель, за вами надо установить строжайший надзор! Никто не бывает так предприимчив, как человек, у которого ничего нет. Подозрительный!..»

Тиран боялся чужой славы, чужой репутации, он карал талантливых за их талант, знатных—за их имя, владельцев—за их владения, остальных—вообще неизвестно за что.

«... По поводу смерти друга или родственника надо было выражать радость, чтобы не погибнуть самому... Люди страшились, чтобы самый страх не был поставлен им в вину...»

Единственным средством к преуспеванию был донос, и доносов не чуждались самые прославленные люди. Доносчики пользовались почестями и наделялись высокими государственными должностями.

«... Под стать обвинителям были и судьи. Защитники жизни и собственности, суды стали боянями, в которых все, что называлось конфискациями и казнями, было просто кражею и убийством...»

Подборка была сделана, несомненно, талант-

ливо.

Кому же предназначала рука Камилла этот коварный удар? Эбертистам? Нет. Демулен бил прямо по Революционному трибуналу, по революционному правительству и его органам, по всему революционному строю. И, какие бы оговорки он ни делал далее, в конце статьи, он наносил кровоточащую рану прежде всего Неподкупному и его соратникам.

Робеспьер почувствовал всю силу удара, и горечь наполнила его сердце. Вот как! Революционный режим осуждался одним из тех, кто некогда ратовал за его создание! Террор клеймил тот, кто некогда призывал народ превратить фонари в виселицы. Какая радость для аристократов, какая скорбь для истинных патриотов!..

Вылазка Камилла была лишь одной из составных частей комбинированного маневра, подготовленного Жоржем Дантоном.

Почти одновременно с выходом в свет третьего номера «Старого кордельера» группа «снисходительных» во главе с Фабром, Филиппо и

Бурдоном начала громить в клубе и Конвенте Комитет общественного спасения и его агентов.

Обвиняя Комитет в «нерадивости», в том, что он не пресекал «беспорядков», царивших якобы в Париже, и не обуздывал виновных в «дезорганизации», дантонисты рассчитывали свалить робеспьеровское правительство и обновить состав Комитета.

Конвент побоялся утвердить их требования. Поплатились лишь некоторые эбертисты, в том числе Ронсен, командующий революционной армией, и Венсан, связанный с ним работник военного министерства.

Эти лица были арестованы.

«Эбертистский натиск» явно сменялся «дантонистским».

Положение Робеспьера становилось все более затруднительным. Он протягивал руку вчерашним друзьям и попадал в объятия врагов. Чем более он склонялся к уступкам, желая мира и согласия, тем сильнее нагнали «снисходительные». И вот, продолжая идти по наклонной плос-

кости «умиротворения», Максимилиан совершает еще один просчет, который, однако, в дальнейшем призван, раскрыть ему глаза. Желая успокоить «снисходительных» и лишить оснований их упреки, он предлагает организовать Комитет справедливости—особую комиссию, выделенную из числа членов правительства, которой надлежало бы собирать сведения о несправедливо арестованных лицах и представлять результаты обследования правительству.

Левые якобинцы и эбертисты единодушно выступили против предложения Робеспьера. Они были совершенно правы: ослаблять террор в те дни, когда он был жизненно необходимым, значило вызволять из беды контрреволюционеров.

Однако Конвент одобрил и принял проект Неподкупного.

Слабость—действительная или кажущаяся—всегда вызывает новые атаки нападающей стороны.

Дантон и его друзья потирали руки.

Неподкупный капитулирует! Надо его доби-

вать, добивать как можно скорее. Он предлагает Комитет справедливости—потребуем полного прекращения террора и открытия тюрем!

Демулен, всегда готовый к услугам в пользу своей фракции, остро оттачивает перо.

На этот раз он уже окончательно забывает чувство меры.

В номере четвертом «Старый кордельер» прямо призывает к немедленному свертыванию революции. Теперь, по мысли Демулена, республике ничто больше не угрожает. Против кого же бороться? Против женщин, стариков, трусов и больных? Камилл нигде не видит заговорщиков. На его взгляд, «толпа фельянов, рантье и лавочников», заключенных в тюрьмы во время борьбы между монархией и республикой, походит на римский народ, безразличие которого во время борьбы между Веспасианом и Вителлием описано Тацитом. «... Это люди, которых зрелище революции забавляет и которые с одинаковым вниманием относятся к обезглавленному королю и к казни полишинеля. Но Веспасиан, став победителем, отнюдь не приказал рассадить эту тол-

пу по тюрьмам...» И заключение: «... Вы хотите, чтобы я признал свободу и упал к ее ногам? Так откройте тюремные двери тем сотням граждан, которых вы называете подозрительными...» Воздавая хвалу Робеспьеру и его предложению, Демулен считает, тем не менее необходимым Комитет справедливости заменить Комитетом милосердия.

Все враги революции шумно аплодировали Демулену.

Его газета раскупалась нарасхват.

Битвы в Конвенте и в Якобинском клубе становились все более жестокими.

Горячий Колло д'Эрбуа громил Филиппо и Фабра, Филиппо нападал на Комитет, Демулен честил Эбера и его подручных, Эбер требовал изгнания дантонистов из клуба.

Только двое оставались неизменно спокойными среди этой бури. Они не произнесли ни одного бранного слова, не вмешались ни в одну из схваток. Как опытные борцы, оценивали они поле боя и друг друга.

Это были Робеспьер и Дантон. Неподкупный давно уже начал разгадывать игру своего соперника. Он заметил одно поразительное обстоятельство: Дантон не только не защищал своих, но иногда даже поддерживал их противников! Заметил Максимилиан и другое: дантонисты прилагали все силы к тому, чтобы изолировать его, Робеспьера, от большинства, поставить его в наиболее уязвимое положение.

А между тем, хотя они и одерживали сейчас видимость победы над эбертистами, уязвимыми-то оказывались все-таки они.

Допросы арестованных депутатов, бумаги, найденные в их портфелях,—все это давало Комитетам новые и новые материалы, компрометирующие дантонистов. Так, в бумагах Делоне был найден оригинал подложного декрета о ликвидации Ост-Индской компании. Оказалось, что оригинал, подписанный Фабром, противоречил его устным выступлениям в Конвенте и содержал как раз все выгодные для мошенников поправки!

Робеспьер понял, что ловкий плут, одурачивший Комитеты своим доносом, был еще более

виновен, чем те, на кого он доносил.

Теперь Неподкупный больше не сомневался. Он улавливал общие контуры заговора и видел его главарей. Он твердо решил отступить от дантонистов.

Одного лишь человека он все еще хотел спасти. То был его школьный друг, длинноволосый Камилл Демулен.

Пятого нивоза (25 декабря) Максимилиан произнес в Конвенте речь, заставившую обе фракции временно прекратить потасовку и внимательно прислушаться.

Эта речь показалась им подобной звону погребального колокола.

Робеспьер говорил о принципах революционного правительства.

Из основного различия между конституционной и революционной властями, различия между состоянием мира и войны оратор с большим искусством вывел оправдание террора. Речь Робеспьера была прямым ответом «Старому кордельеру», ответом, облеченным в ту логическую фор-

му, которой всегда недоставало творениям Де-мулена. Вместе с тем подчеркивая серьезность переживаемых событий и несокрушимость идеи общественного интереса, доклад глухо предостерегал обе фракции, как группы, представляющие противоположные крайности: «... модерантизм, который относится к умеренности так же, как бессилие к целомудрию, и стремление к эксцессам, которое похоже на энергию так же, как тучность больного водяжкой—на здоровье...»

На следующий день Робеспьер отказался от идеи Комитета справедливости. По докладам Баррера и Билло-Варенна Конвент декретировал отмену этого Комитета.

Одновременно Фабр д'Эглантин был устранен от участия в работе Комиссии по расследованию финансового заговора.

Дантон понял предостережение. Неподкупный перехитрил и опередил его! Полуторамесячные усилия пропадали даром. Нужно было срочно менять тактику. О том, чтобы свалить Робеспьера, больше думать не приходилось. Его

было необходимо, перетянуть на свою сторону, оторвать от этих «ультрареволюционеров». Оторвать любыми средствами, не останавливаясь ни перед лестью, ни перед покаянием. Иначе гибель!

И вот Демулен снова за работой.

В пятом номере «Старого кордельера» он слезно молит о пощаде. Изображая свои старые заслуги, Камилл стремится обелить себя от обвинений в слабости. Он утверждает, что в революции шел так же далеко, как Марат. Он заявляет, что, если бы он был преступен, Робеспьер не стал бы его защищать. Он даже готов сжечь те номера своей газеты, которые вызвали недовольствие якобинцев. Восхваляя Комитет общественного спасения и его вождя, журналист не преминул отметить, что в последней речи Неподкупного выдвинуты те же самые принципы, которые он, Камилл, проповедовал в течение всей своей жизни. . .

Вместе с тем в этом номере Демулен до крайности усилил нападки на эбертистов, перейдя на личную почву и щедро рассыпая оскорбления. Особенно набросился он на Эбера, обвиняя его в

грязных делишках, в воровстве и в том, что, при-
мкнув к революции лишь на ее последнем этапе,
Эбер стремился использовать ее в корыстных це-
лях.

Не надеясь на силу своей статьи, Демулен по-
желал дополнить ее устным выступлением в клу-
бе. И этим испортил все дело.

Вечером 18 нивоза (7 января) он появился на
ораторской трибуне, бледный, трясущийся, едва
владеющий собой. Его язык заплетался. Даже ре-
шительный взгляд Дантона не мог привести бед-
нягу в равновесие.

— Послушайте!—воскликнул Камилл.—Я не
понимаю, что происходит! Со всех сторон меня
обвиняют, на меня клеветают. . . Чему же верить?
На чем остановиться? Я просто теряю голову!..

С этим утверждением было нетрудно согла-
ситься. Робеспьер, жалея Демулена, решил стро-
го пожурить его, но все же еще раз выручить.

— Демулен,—сказал Неподкупный,—не заслу-
живает той суровости, которую требуют про-
явить по отношению к нему некоторые лица. Я

согласен, чтобы свобода обошлась с Камиллом, как с ветреным ребенком, который обладает хорошими наклонностями, но вовлечен в заблуждение дурными товарищами. От него надо потребовать, чтобы он доказал свое раскаяние, покинув тех, кто совратил его с истинного пути... Надо поступить строго с его газетой, а его самого сохранить в нашей среде...

Говоря иными словами, Робеспьер стремился отделить Демулена от таких развращенных и уже обреченных людей, как Фабр или Дантон. Что же касается газеты Камилла, то, следуя предложению самого ее автора, Максимилиан советовал сжечь заподозренные номера тут же, посреди зала заседаний.

Такой совет взорвал неустойчивого Демулена. Забывая, что он сам несколько дней назад говорил точно то же, журналист вдруг почувствовал себя оскорбленным. По лицу его пошли красные пятна. Не реагируя на предостерегающие жесты Дантона, он воскликнул с горечью в голосе:

– Робеспьер хотел выразить мне дружеское порицание! Я также буду говорить языком друж-

бы. Робеспьер заметил, что нужно сжечь номера моей газеты. Отлично сказано! Но я напомню ему слова Руссо: «Сжечь—не значит ответить!»

Эта язвительная вспышка возмущает Максимилиана до глубины души. Вместо благодарности—укус змеи! Ладно, пусть взбалмошный мальчишка пеняет на себя.

— Если так,—парирует Робеспьер,—я беру свое предложение обратно. Знай, Камилл, что не будь ты Камиллом, я не отнесся бы к тебе с такой снисходительностью. Хорошо, я не буду требовать сожжения номеров газеты Демулена, но тогда пусть он ответит за них. . . —И далее Неподкупный бросает слова, повергающие в трепет не одного Камилла:—Храбрость Демулена показывает нам, что он является орудием преступной клики, которая воспользовалась его пером для того, чтобы с большей смелостью и уверенностью распространять свой яд. . .

Тщетно не на шутку струхнувший Камилл лепетал жалкие слова оправдания. Тщетно пытался его поддержать сам Жорж Дантон.

Было принято предложение огласить газету

Демулена с трибуны клуба. И тут же приступили к чтению четвертого номера «Старого кордельера».

На следующий день был прочитан третий номер.

— Бесплезно читать дальше,—резюмировал Робеспьер.—Мнение о Камилле Демулене должно быть уже всеми составлено. Вы видите, что в его статьях самые революционные принципы смешаны с самым гибельным соглашательством. . . Впрочем, во всем этом споре больше внимания обращалось на отдельных лиц, чем на интересы всего общества. Я не хочу ни с кем ссориться. На мой взгляд, и Эбер и Камилл одинаково не правы. . .

Самое страшное,—продолжает Неподкупный после короткой паузы,—состоит в том, что во всех ведущихся сейчас спорах совершенно отчетливо вырисовывается *рука, тянущаяся из-за рубежа*. . . Иноземная клика вдохновляет две группировки, которые *делают вид*, что ведут между собою борьбу. . . У этих двух партий до-

статочно главарей, и под их знаменами объединяется много честных людей. . .

Итак, он высказался до конца. Поймет ли Демулен последнее предостережение?..

Демулен молчит. Зато кое-кто другой начинает нервничать. Фабр д'Эглантин определенно пытается выскользнуть из зала. Робеспьер просит его остаться. Тогда Фабр направляется к трибуне.

Видя это, Максимилиан заявляет с высокомерным видом:

— Хотя Фабр д'Эглантин и приготовил свою речь, моя еще не кончена. Я прошу его подождать. . . —И он продолжает пространно описывать обе группы заговорщиков. . .

— Поборники истины, —заканчивает оратор, — наш долг раскрыть народу происки всех этих интриганов и указать ему на жуликов, которые пытаются его обмануть. Я заявляю истинным монтаньярам, что победа у них в руках и что нужно *раздавить лишь нескольких змей*. . .

И Робеспьер вновь обращает свой пристальный взгляд на Фабра.

– А теперь пусть выступит этот человек с лорнетом, который так хорошо играет интриганов на сцене; пусть он даст нам свои объяснения; посмотрим, как он выпутается из этой интриги.

Удар был неожиданным и молниеносным. Фабр сначала попятился назад, затем, вдруг потеряв всю свою самоуверенность, почти ощупью поплелся к трибуне.

На него никто не обращал внимания. Многие смеялись.

Чей-то голос отчетливо произнес:

– На гильотину!

Фабр что-то бормотал, пытаясь обелить себя.

Но его оппонент не собирался его слушать. Даже не обернувшись в сторону Фабра, Робеспьер покинул клуб. За ним последовали другие. И вскоре злополучный драматург остался один в опустевшем зале.

24 нивоза (13 января) Фабр д'Эглантин был арестован органами Комитета общественной безопасности и препровожден в Люксембургскую тюрьму.

В этот день Жорж Дантон совершил впервые за два месяца серьезную неосторожность: он заговорил. Не то чтобы он пытался защищать или оправдывать своего бывшего секретаря—это было бы бессмысленным. Жорж просто обратился к Конвенту с просьбой, чтобы Конвент взял дело Фабра в свои руки.

Ответ дал Билло-Варенн.

Ответ был краток и ужасен:

— Горе тому, кто сидел рядом с Фабром!.. Дантон извинился.

Кампания была проиграна, проиграна окончательно и бесповоротно. В течение двух месяцев Жорж бился над тем, чтобы создать пустоту вокруг Робеспьера. Теперь пустота окружала его самого.

За несколько дней до ареста Фабра Филиппо был исключен из Якобинского клуба, а Демулен вместе со «Старым кордельером» морально раздавлен. Члены робеспьеровского Комитета вышвырнули из своей среды последнего дантониста, Эро де Сешеля, который в ожидании тюрьмы и гильотины предался беспробудному пьянству.

А Дантон? Дантон не хотел пить. Со своей юной супругой он вновь уехал в- Севр, в поместье «Фонтан любви».

Трубки папаши Дюшена

Жак Рене Эбер был человеком особого склада. Многие признавали его умным и способным, но приятным—никто. Его саркастическая ухмылка не предвещала добра. Насмешник и циник, Эбер с презрением относился даже к своим восторженным почитателям.

— Пойду к этим кретинам,—говаривал он, отправляясь на заседание Клуба кордельеров.

В революции Эбер выдвинулся довольно поздно и долго и не мог найти своего места, бросаясь из крайности в крайность. Наконец нашел. Он стал заместителем Шомета по должности прокурора Коммуны и некоторое время сопутствовал своему шефу на идейном поприще. Но подлинную популярность Эберу, выдвинув его

в вожаки фракции, создала его газета «Отец Дюшен». Тираж ее рос из месяца в месяц, причем все равно она вся раскупалась.

Парижане хорошо знали дюжего молодца-санкюлота в треуголке и с пистолетами за поясом, посасывающего трубку, в то время как комплект других трубок лежал на жаровне. Так изображался «Папаша Дюшен» на первой странице газеты. И слова его были известны не хуже, чем его облик:

«... Торговцы—сатана их возьми—не имеют отечества. Они низвергли аристократов только для того, чтобы самим занять их место...»

«... Богач—эгоист, бесполезное существо... Он лопнет, черт его побери, от стыда или нищеты, и вскоре эта зачумленная раса совсем исчезнет...»

«... Что бы мы делали без святой гильотины, этой благословенной национальной бритвы?..»

Санкюлотам импонировал грубо-развязный тон газеты Эбера, ее язык, пересыпанный простонародными словечками и ругательствами. Но, разумеется, еще большее воздействие оказыва-

ло содержание статей, призывавших к борьбе со спекулянтами, богатеями и контрреволюционной церковью. Редактор газеты отзывался на все злободневные вопросы, выражая вековую ненависть бедноты против угнетателей.

И все же, когда Эбера вместе с его ближайшими единомышленниками поволокли на казнь, народ не выразил ему сочувствия. Санкюлоты кричали:

– Да здравствует республика!

А кое-кто с ехидством обращался к бледному обессилевшему журналисту:

– Ну, как дела, папаша Дюшен?.. Где же твои прославленные трубки?..

С какой быстротой и ловкостью сокрушили робеспьеристы Эбера! Причем произошло это в дни, когда Неподкупный был болен. Всю операцию провел юный Сен-Жюст, специально для этого прибывший из армии.

Само собой понятно, что никогда не удалось бы Сен-Жюсту добиться такого успеха, не подготовь его предшествующие события.

Уже с ноября-декабря 1793 года эбертисты начали мало-помалу отделяться от левых якобинцев, а Эбер все сильнее расходился с Шометом, истинным патриотом, стойким защитником интересов трудящихся масс. В политике «папаша Дюшена» все отчетливее звучали нотки непоследовательности и авантюризма.

Эбер думал разрешить сложные проблемы революции с помощью одной лишь «национальной бритвы». Считая необходимым заменить Революционный трибунал стихийным народным судом, обрекая на смерть торговцев и предпринимателей, эбертисты не делали различий между крупными спекулянтами и мелкими уличными продавцами зелени. Выступая открыто против Дантона, Эбер, по существу, метил в Робеспьера. «Ультрареволюционеры» замыслили свержение революционного правительства.

Но в решающий момент народ не услышал их призывов.

Восьмого вантоза (26 февраля) Сен-Жюст с трибуны Конвента провозгласил программу

дальнейшего углубления революции. Он предложил конфисковать всю собственность врагов республики и безвозмездно передать ее в руки неимущих санкюлотов по спискам, составленным Комитетом общественного спасения.

Конвент утвердил предложение Сен-Жюста.

Шомет назвал вантозские декреты «благодетельными, одними из самых спасительных, какие только существуют».

Робеспьеристы показали простым людям, кто их истинные друзья.

Поэтому, когда неделю спустя встревоженные эбертисты попытались поднять восстание, их никто не поддержал. Народ не пожелал подниматься против якобинского Конвента и робеспьеровского Комитета. Шомет от имени Коммуны выразил заговорщикам порицание. Еще в более резкой форме отринул эбертистов Якобинский клуб.

Вот тут-то революционное правительство внезапно их и прихлопнуло.

— Для задержания виновных приняты меры, — сказал Сен-Жюст 23 вантоза (13 марта). Этой же ночью Эбер, Ронсен, Венсан, Моморо и другие

подверглись аресту. Вскоре к ним присоединили «Анахарсиса» Клоотса и группу подозрительных иностранцев.

«Эбертистский натиск» был ликвидирован. 4 жерминаля (24 марта) Революционный трибунал приговорил почти всех обвиняемых к смертной казни.

Разгром и смерть эбертистов воодушевили «снисходительных». Они оказались правы! И разве не они первые заметили величину опасности? Особенно буйную радость проявлял Камилл Демулен. Забыв о требованиях «милосердия», за которые так недавно ратовал «Старый кордельер», неустойчивый журналист аплодировал стуку гильотины и в самый день казни публично предложил, чтобы макеты трубок «отца Дюшена» на пиках пронесли по Парижу.

Только один деятель фракции не проявлял никаких признаков восторга. То был вождь «снисходительных» Жорж Дантон.

События конца вантоза—начала жерминаля погрузили его в глубокую задумчивость и тос-

ку. Он протестовал против издевательств над поверженной фракцией. В своей последней речи, произнесенной в Конвенте 29 вантоза (19 марта), он пытался всех примирить, он заговорил даже—впервые в жизни—*о добродетели*. . .

Защищая Коммуну, которая объединяла самых злейших врагов «снисходительных», Дантон удивил «болото». Председатель Конвента старик Рюль, желая ответить на упрек в излишней строгости своей речи по отношению к делегатам Коммуны, попросил Дантона временно занять председательское кресло.

— Нет, почтенный старец,—возразил трибун,—ты сам занимаешь его по праву. Я говорил не против тебя, а о возможном впечатлении от твоей дурно понятой речи. Прости меня: я бы простил тебе подобную ошибку. Считай меня братом, который свободно высказал свое мнение.

Растроганный Рюль бросился в объятия Жоржа.

Умилительная сцена! Некоторые депутаты даже прослезились. А некоторые недоумевали. Что же произошло с этим бесстрашным волком,

с этим Марием?.. Почему вдруг он заговорил о всеобщем примирении и покинул своих?..

После 29 вантоза Дантон снова замолчал, и на этот раз окончательно. Он отошел от политики. Все свое свободное время он делил между Севером и Шуази.

«... Марий потерял смелость. Он не хочет больше нас защищать...» — так писала Люсиль Демулен своему другу Фрерону, находившемуся в командировке.

— Дантон спит, — возражал Камилл, — но это сон льва. Он проснется и спасет всех нас.

Камилл ошибался. Спячка становилась все более глубокой. Она превращалась в летаргию.

Жорж Дантон долгое время вел хитрую и тонкую игру. Когда он увидел, что его путь расходится с дорогой санкюлотов, он перестал искать поддержку на улице. Он думал выкрутиться, спрятавшись за сеть парламентских и клубных интриг. Гораздо более проникательный, чем все его товарищи, Дантон сознавал силу Робеспьера. Поэтому он никогда открыто не выступал против

него. Убедившись, что не может осилить Неподкупного, он попытался его привлечь. Но было поздно: игра раскрылась. Тогда Жорж исподволь повел дело к тому, чтобы найти общий язык с эбертистами, правильно рассчитав, что союз с ними, заключенный в критический момент, сможет создать для правительства серьезную угрозу. Но Робеспьер прекрасно раскусил тактику своего прежнего союзника. И недаром он считал «ультраревольюционеров» и «снисходительных» двумя концами одной контрреволюционной цепи.

Первого жерминаля, в день, когда начался процесс эбертистов, Неподкупный произнес слова, не оставлявшие сомнений в его истинных планах в отношении к дантонистам:

– Если завтра же или даже сегодня не погибнет *эта последняя клика*, то наши войска будут разбиты, ваши жены и дети умрут, республика распадется на части, а Париж будет удушен голодом. Вы падете под ударами врагов, грядущим же поколениям достанется гнет тирании. Но я заявляю, что Конвент твердо решил спасти народ и *уничтожить все клики*, существование кото-

рых опасно для борьбы.

Только глухой мог не услышать этих слов, только безумный мог не постичь их смысл. Дантон все понял. Падение эбертистов с неизбежностью вызывало падение «снисходительных». Мечтавший нейтрализовать Робеспьера сам оказался изолированным и обреченным на гибель.

Представив себе все это, Жорж погрузился в апатию отчаяния.

Поэтому-то Демулен и его единомышленники, издевавшиеся над «трубками папаши Дюшена», никак не могли встретить у него ни сочувствия, ни поддержки.

Кумир пал

Та резкость, с которой Робеспьер ставил вопрос о «последней клике», имела весьма веские основания. Противоречия между робеспьеристами и дантонистами достигли апогея и завели правительство в полный тупик. В области внешней политики «снисходительные» требовали немедленного заключения мира, мира во что бы то ни стало. Робеспьер всегда был врагом войны. Но говорить о мире сейчас—значило поставить революционную Францию под угрозу капитуляции после всех одержанных побед. В области внутренней политики дантонисты добивались «милосердия»—открытия тюрем и прекращения террора, в то время когда тюрьмы были набиты врагами народа, а без революционного террора

не было никакой возможности ни продолжать революцию, ни закрепить ее. Таким образом, дантонизм, в каких бы внешних формах он ни проявлял себя, означал прямую контрреволюцию, прямой отказ от завоеваний народа, достигнутых ценою великой крови и тяжелых материальных жертв. И эта контрреволюционная программа с исключительной настойчивостью проталкивалась глашатаями «снисходительных» именно в те дни, когда окончательная победа казалась робеспьеристам не только достижимой, но уже близкой.

Легко понять, что при подобных условиях существование обеих фракций было невозможным. Вопрос стоял так: или Дантон, или Робеспьер. Поскольку в данный момент в руках Робеспьера, опиравшегося на широкие народные массы, сосредоточивалась несравненно большая сила, чем в руках Дантона, Дантон, а вместе с ним и все те, кто защищал и пропагандировал его программу, должны были неизбежно пасть.

Это прежде всего бесповоротно поняли и осо-

знали люди, обладавшие железной решимостью, такие, как Билло-Варенн или Сен-Жюст.

Робеспьер, который хорошо помнил былые заслуги Дантона, Робеспьер, который любил Демулена, не мог быстро и окончательно принять жестокое решение. Даже когда он с жаром громил «снисходительных» в целом и, считая их орудием иностранного заговора, готов был обречь на гибель, для Демулена и Дантона он настойчиво стремился сделать исключение. Когда Билло-Варенн, выступая в Комитете, впервые предложил устранить Дантона и Демулена, Робеспьер воскликнул:

– Значит, вы хотите погубить лучших патриотов?

Но время работало на Билло-Варенна и Сен-Жюста. Член Комитета общественной безопасности Вадье как-то зимой, имея в виду Дантона, бросил многозначительную фразу:

– Скоро мы выпотрошим эту фаршированную палтусину. . .

По-видимому, уже в феврале 1794 года Неподкупный начал отчетливо сознавать неиз-

бежность жертвы. События, связанные с делом Эбера, в дни, последовавшие за казнью эбертистов, окончательно укрепили его в этом решении.

— Комитет общественного спасения производит правильную порубку в Конвенте,—горько заметил Демулен вскоре после ареста Фабра. Теперь он взялся вновь за свое едкое, остро отточенное перо. Он писал седьмой номер «Старого кордельера». Номер носил характерное название: «“За” и “против”, или Разговор двух старых кордельеров». Продолжая измышляться над павшими эбертистами, здесь автор до крайности усиливал нападки на «чрезмерную власть» Комитета общественного спасения, на революционные Комитеты и персонально на Колло д’Эрбуа, Барера, наконец Робеспьера. Членов Комитета общественной безопасности он называл «Каиновыми братьями», а их агентов—«корсарами мостовых». Что же касается Робеспьера, то для него Камилл не пожалел самых едких сарказмов.

«... Если ты не видишь, чего требует время, если говоришь необдуманно, если повсюду вы-

ставляешь себя напоказ, если не обращаешь никакого внимания на окружающих, то я отказываю тебе в репутации человека мудрого. . . »—так начинал журналист свой вызов Неподкупному. Он сравнивал Робеспьера с Катоном, который, требуя от республиканца более строгой нравственности, чем допускало его время, тем самым лишь содействовал ниспровержению свободы. Он издевался над Максимилианом за то, что тот обсуждал недостатки английской конституции; он упрекал его за противоречивые выступления, за «излишнее словоизвержение», он, по существу, старался доказать, что Неподкупный играл на руку. . . Питту! При этом Демулен давал ясно понять, что, насмехаясь над Робеспьером и нанося ему политические уколы, он мстит за то, что Максимилиан, пытаясь его спасти, оскорбил его самолюбие. . .

«. . . Робеспьер, ты несколько лет назад доказал на трибуне Клуба якобинцев, что обладаешь сильным характером; это было в тот день, когда в минуту сильной немилости к тебе ты вцепился в трибуну и крикнул, что тебя надо убить или

выслушать; но ты был рабом в тот день, когда допустил так круто оборвать себя после первого же твоего слова фразой: “Сожжение не ответ” . . . »

И далее об этом же самом журналист говорил еще более прозрачно, обращаясь к самому себе:

« . . . Осмелишься ли ты делать подобные сопоставления и ставить Робеспьера в смешное положение в виде ответа на те насмешки, которыми он с некоторых пор сыплет на тебя обеими руками?.. »

Демулену не было суждено увидеть этот номер своей газеты: его издатель Дезен был арестован, а газета конфискована. Но именно вследствие этих обстоятельств ее прочли те, против кого она была направлена: члены обоих правительственных Комитетов.

Своими словесными упражнениями Демулен подписал себе смертный приговор. Он осмелился опорочить правительство, мало того—он осмелился высмеять Неподкупного, высмеять дерзко и несправедливо.

Такого Максимилиан не прощал никому.

Он понял, что его школьный друг неспра-

вим, что он сам уничтожил всякую возможность выволить его из трясины.

Но, отступившись от Демулена, мог ли Робеспьер не пожертвовать тем, кого считал и главным виновником и главным вдохновителем всей этой роковой буффонады?..

Окружавшие Дантона лица считали, что еще не все потеряно. Кое-кто думал, что главное— примирить Дантона с Робеспьером. Если удастся улучшить личные отношения между двумя титанами революции, фракция «снисходительных» будет спасена.

Дантон дал увлечь себя сторонникам этого плана. Состоялось несколько встреч.

Последняя из них произошла у начальника бюро иностранных сношений Эмбера, который пригласил к себе на обед, кроме обоих трибунов, еще нескольких лиц, в том числе Лежандра и Паниса.

Обед проходил вяло. Общая беседа никак не клеилась.

Один из присутствующих, стремясь перейти к сути дела, выразил сожаление по поводу разно-

гласий между Робеспьером и Дантоном, указав, что эти разногласия крайне удивляют и огорчают всех друзей отечества.

Дантон, подхватив реплику, заметил, что ему всегда была чужда ненависть и что он не может понять равнодушия, с которым с некоторых пор к нему относится Робеспьер.

Неподкупный промолчал.

Тогда Дантон принялся громить Билло-Варенна и Сен-Жюста, двух «шарлатанов», в руки которых попал якобы Максимилиан.

— Верь мне, стряхни интригу, соединимся с патриотами, сплотимся, как прежде. . .

Робеспьер не обнаружил желанья поддержать эту тему.

— При твоей морали,—сказал он после продолжительной паузы,—никогда бы не оказалось виновных.

— А что, разве это тебе было бы неприятно?—живо возразил Дантон.—Надо прижать роялистов, но не смешивать виновного с невиновным.

Робеспьер, нахмурившись, ответил:

— А кто сказал тебе, что на смерть был послан

хоть один невинный?

Такой ответ звучал угрожающе. Дантон притих.

Молчали и остальные.

Наконец кто-то предложил врагам расцеловаться и забыть старое. Дантон показал полную готовность подчиниться этому предложению. Робеспьер остался холоден как лед. Вскоре он покинул квартиру Эмбера.

Гости переглянулись.

— Черт возьми!—воскликнул Дантон.—Дело плохо; нам надо показать себя, не теряя ни минуты!

«Показал себя», правда, Дантон всего лишь в нескольких вульгарных фразах, сильно отдававших бахвальством, которые он изрекал своим друзьям во время редких встреч с ними.

— Робеспьер?—говорил он.—Да я надену его себе на кончик большого пальца и заставлю вертеться волчком!

— Если бы я хоть на момент поверил, что у него могла зародиться мысль о нашей гибели, я

выгрыз бы ему все внутренности.

Но человек, произнесший эти слова, продолжал пребывать в бездействии.

Зато действовали Комитеты.

Учитывая, что дантонисты пользуются немалым влиянием в Конвенте, что их ставленник Талльен избран его председателем, в то время как друг Дантона Лежандр стал председателем Якобинского клуба, Комитеты решили нанести удар внезапно и в самое сердце.

Робеспьер, согласившийся покинуть Дантона и Демулена, предоставил Сен-Жюсту обширные материалы для обвинительного акта.

Вечером 10 жерминаля (30 марта) оба Комитета собрались на совместном заседании. Здесь-то и был составлен приказ, написанный на клочке конверта, приказ, скрепленный восемнадцатью подписями и определивший дальнейшую судьбу «снисходительных».

Отказались дать свою визу лишь двое: старик Рюль, недавно обнимавшийся с Дантоном, и Робер Ленде, член Комитета общественного спа-

сения, симпатизировавший умеренным.

В этот день Дантон не поехал в Севр. Вместе со своей супругой он остался дома, на Торговом дворе.

Поздно вечером к нему, по поручению Рюля, зашел Панис и сообщил о совещании Комитетов.

— Чепуха,—сказал Дантон.—Они будут совещаться, совещаться до бесконечности, но так никогда и не примут решения. Они не осмелятся напасть на меня.

Панис уверял, что решение уже принято, и посоветовал немедленно бежать из Парижа.

Дантон размышлял. Бежать... Куда он может спрятаться, кто укроет его от всевидящего ока Комитета общественной безопасности?.. Жирондисты попробовали бежать...

Он заметил меланхолическим тоном:

— Мне больше нравится быть гильотинированным, чем гильотинировать других.—И затем прибавил фразу, ставшую бессмертной:—Да разве можно унести родину на подошвах своих сапог?..

... В эту ночь он не ложился в постель. Ему не хотелось быть захваченным врасплох. Вместе с ним бодрствовала и его дорогая Луиза. Они сидели в удобных креслах возле погасшего камина и слушали, как часы отстукивают секунды.

Час... Другой... Третий...

Жорж дремлет. Мысли, беспорядочно роящиеся в голове, перемешиваются с обрывками сновидений...

Вдруг он вздрагивает, как от удара. Смотрит на уснувшую Луизу. Затем в окно. На душе становится удивительно спокойно.

Ложная тревога! Не осмелились! Не пришли! Уже белый день!

... Часы пробили шесть раз, когда раздался громкий стук ружейных прикладов.

Луиза проснулась. Жорж обнял ее и сказал с улыбкой:

– Они оказались смелее, чем я думал.

С утра Париж был в оцепенении. Люди не верили своим ушам. Так вот на кого революция подняла руку! На Демулена—человека 14 июля,

на Дантона—человека 10 августа! Кто же еще арестован?.. Называют Филиппо и Делакруа... Всех их свезли в Люксембургскую тюрьму...

Впрочем, удивление было недолгим. Тружеников ждали обычные заботы. В конце концов кто такой Дантон? О Дантоне они давно уже стали почему-то забывать...

Робеспьер и Сен-Жюст могли не беспокоиться об общественном мнении.

Иное дело—Конвент.

Здесь Комитеты ждали противоборства, и ожидания их не были обмануты.

Едва лишь началось заседание 11 жерминаля (31 марта), как на трибуну поднялся Лежандр.

— Граждане,—с волнением сообщил он,— сегодня ночью арестованы, четверо членов Конвента. Один из них—Дантон. Имен других я не знаю; да и что нам до имен, если они виновны? Но я предлагаю, чтобы их вызвали сюда, и мы сами обвиним или оправдаем их... Я верю, что Дантон так же чист, как и я.

Послышался ропот. Кто-то потребовал, чтобы

председатель сохранил свободу мнений.

— Да,—ответил Тальен,—я сохраню свободу мнений, каждый может говорить все, что думает. Мы все останемся здесь, чтобы спасти свободу.

Это было поощрение Лежандру и угроза его противникам.

Один из депутатов попробовал протестовать: предложение Лежандра создавало привилегию. Ведь жирондисты и многие другие после них не были выслушаны, прежде чем их отвели в тюрьму. Почему же должны быть два разных подхода?..

В ответ раздался свист и топот. И вдруг слышались крики:

— Долой диктаторов! Долой тиранов!

Робеспьер, бледный, но спокойный, ждал и внимательно прислушивался. Когда положение стало угрожающим, он взял слово.

— По царящему здесь смущению легко заметить, что дело идет о крупном интересе, о выяснении того, одержат ли несколько человек верх над отечеством... Лежандр, по-видимому, не знает фамилий арестованных лиц, но весь

Конвент знает их. В числе арестованных находится друг Лежандра Делакруа. Почему же он притворяется, что не знает этого? Потому, что понимает: Делакруа нельзя защищать, не совершая бесстыдства. Он упомянул о Дантоне, думая, вероятно, будто с этим именем связана какая-то привилегия. Нет, мы не хотим никаких привилегий, мы не хотим никаких кумиров. *Сегодня мы увидим, сумеет ли Конвент разбить мнимый, давно сгнивший кумир, или же последний, падая, раздавит Конвент и французский народ...* Я заявляю, что всякий, кто в эту минуту трепещет, преступен, ибо люди невиновные никогда не боятся общественного надзора...

Раздались аплодисменты. Оратор овладевал настроением Конвента. Он продолжал:

– Именно теперь нам нужны мужество и величие духа. Люди низменные и преступные всегда боятся падения им подобных, потому что, не имея перед собой ряда виновных в виде барьера, они остаются более доступными для опасности; но если в этом собрании есть низменные души, то есть здесь и души героические, ибо вы руко-

водите судьбами земли.

Эта умело построенная и вовремя сказанная речь решила исход борьбы в Конвенте. Никто не осмелился оспаривать слов Робеспьера. Лежандр отступил и пробормотал несколько трусливых извинений.

Тогда поднялся Сен-Жюст и среди гробового молчания прочитал обвинительный акт.

Этот акт был плодом коллективного творчества. Много бессонных ночей стоил он Неподкупному и его юному другу.

Давно уже Робеспьер собирал материалы против Дантона. Он систематически заносил в свои блокноты наблюдение за наблюдением, штрих за штрихом. И вот теперь он передал эти драгоценные заметки в неумолимые и верные руки. Сен-Жюст составил из них документ в форме обращения к Дантону. Когда он читал, казалось, что обвиняемый находится в зале.

Сен-Жюст ничего не забыл своему отсутствующему врагу. И интриги с Мирабо, и деньги, полученные от двора, и попытки спасти королевское семейство—все, как в калейдоскопе, прохо-

дило перед изумленным Конвентом. Переговоры с Дюмурье. . . Союз с Жирондой. . . Двусмысленная кампания «мира» и «милосердия». . . Шашни с подозрительными иностранцами. . . Непомерное увеличение личных богатств. . . Здесь было все, все, кроме того, что хоть в какой-то мере могло обелить подсудимого или объяснить его поступки.

Особенно резко заклеил Сен-Жюст оппортунизм Дантона.

— Как банальный примиритель, ты все свои речи начинал громовым треском, а заканчивал сделками между правдой и ложью. Ты ко всему приспособлялся!..

Ты говорил, что революционная мораль— проститутка, что слава и потомство—глупость, что честь—смешна; это воззрения Катилины. Если Фабр невиновен, если были неповинны Дюмурье и герцог Орлеанский—что ж, значит нет вины и за тобою.

Я сказал более чем достаточно. Ты ответишь перед судом.

Никто не возразил Сен-Жюсту. Собрание, усмиренное Робеспьером и добитое обвинительным актом, послушно выдало потребованные головы.

Партия в Конвенте была выиграна.

Оставалось разыграть последнюю часть страшной игры: партию в Революционном трибунале.

11.
СМЕРТЬ И
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ЯКОБИНЦА ДАНТОНА
(АПРЕЛЬ 1794—АПРЕЛЬ
1964)

Мужайся, Дантон!

Всех четверых арестованных почти одновременно доставили в Люксембургскую тюрьму. Встречали их бурно.

Заключенные—в большинстве роялисты—насмешливо аплодировали. Еще бы! Сам основатель революционного правительства и трибунала прибыл сюда в окружении своей свиты. Пусть-ка теперь попляшет!

Указывая на мрачную фигуру Делакруа, какой-то господин громко заметил:

— А из этого, пожалуй, вышел бы отличный извозчик.

Разумеется, всеобщее внимание привлекал Дантон. Видя удивленные лица, он расхохотался.

— Что, не ожидали? Ну да, это я, Дантон. Смотрите на меня внимательно. Ловкая штука! Я никогда не думал, что Робеспьер сможет так легко обойти меня. Надо отдавать должное врагам, когда они действуют, как государственные люди.—И снисходительно добавил:—Через несколько дней все вы будете на воле. Меня арестовали только за то, что я хотел вас освободить.

Это была пустая похвальба. Жорж сам не верил тому, что говорил. Развязной речью он пытался замазать неловкость положения. Среди такой массы людей—ни одного дружелюбного взгляда! Впрочем, нет. Он ошибается. Вон кто-то протискивается вперед и протягивает ему руку.

Дантона приветствовал американский республиканец Томас Пейн.

— То, что ты сделал для свободы и счастья своей родины,—сказал ему Жорж,—я тщетно пытался сделать для моей. Я был менее счастлив, но не более виновен. Меня посылают на эшафот—ну что ж, друзья, я пойду туда весело.

В этот момент послышался радостный крик. Красавчик Эро де Сешель, бросив игру в кости,

бурно приветствовал своих соратников. Он попал сюда за две недели до них. Он сообщил, что Фабр д'Эглантин болен и находится в одиночной камере, а Шабо пытался отравиться, но неудачно: его отходили, чтобы сберечь для гильотины.

Когда арестованным вручили обвинительный акт, Демулен пришел в бешенство. Дантон принялся подтрунивать над своим впечатлительным другом. Затем обратился к Делакруа:

– Ну, что скажешь, мой милый?

– Скажу, что надо остричь волосы, чтобы их не трогал Сансон³².

– Это будет штука, когда Сансон перебьет нам шейные позвонки.

– Я думаю, надо отвечать лишь в присутствии обоих Комитетов.

– Ты прав. Нужно стараться вызвать волнение в народе.

Камилл занялся письмами. Он писал своей

³²[33] Имя парижского палача.

нежной Люсили, орошая бумагу слезами.

Первое письмо еще дышало надеждой.

«Моя Люсиль, моя Веста, мой ангел, волею судьбы и в тюрьме взор мой вновь обращается к тому саду, в котором я восемь лет гулял с тобой. Виднеющийся из тюремного окошка уголок Люксембургского парка вызывает воспоминания о днях нашей любви. . . Мне нет надобности братья за перо для защиты: мое оправдание заключается целиком в моих восьми республиканских томах. Это хорошая подушка, на которой совесть моя засыпает в ожидании суда и потомства. . . Не огорчайся, дорогая подруга, моим мыслям; я еще не отчаялся в людях; мы еще побродим с тобой по этому парку. . . »

Потом надежда стала исчезать.

«. . . Люсиль, Люсиль, дорогая моя Люсиль, где ты?.. Можно ли было думать, что несколько шуток в моих статьях уничтожат память о моих заслугах? Я не сомневаюсь, что умираю жертвой этих шуток и моей дружбы с Дантоном. . . Моя кровь смывает мои проступки и слабости; а за то, что во мне есть хорошего, за мои добродетели, за

мою любовь к свободе, бог вознаградит меня...

...Я еще вижу тебя, Люсиль! Я вижу мою горячо любимую! Мои связанные руки обнимают тебя, отрубленная голова моя еще смотрит на тебя умирающими глазами!..»

Париж жил обычной, будничной жизнью. Весна вступала в свои права. Набухали почки, первые травинки упрямо лезли из влажной земли. Весна была ранней и солнечной. Парижанам казалось, будто голод стал менее острым. А главное—не надо больше топить печей!..

Никто не вспоминал о Дантоне и Демулене. Друзья, остававшиеся на свободе, поспешили отречься от них. Лежандр униженно извинялся не только в Конвенте, но и у якобинцев. Фрерон не отвечал на письма Люсили.

И только Люсиль, преодолевая рыдания и по десять раз на день прибегая к пудре, не знала покоя. Она одна спасет своего милого!..

Как одержимая носилась бедная женщина по Парижу, стучала в знакомые двери, надеясь на сочувствие и совет. Но все двери оказывались

закрытыми. Она попыталась воодушевить Луизу Дантон. Но с юной Луизой Люсиль не нашла общего языка: это была не Габриэль. Общее горе не сблизило женщин. Луиза поплакала с Люсилью, однако идти с ней к Робеспьеру отказалась.

Робеспьер!.. На него теперь супруга Камилла возлагала особенно большие надежды. Ведь когда-то Максимилиан был влюблен в нее. По крайней мере, так говорили. . .

Личного свидания с Робеспьером Люсиль не добилась. Она написала ему трогательное письмо, но. . . не отправила его. Интуиция подсказала ей, что это бесполезно.

И вот, отчаявшись во всем, несчастная решилась на последнее средство. Кто-то сказал ей, что, имея достаточно денег, можно было бы попытаться возмутить народ и даже организовать заговор в тюрьме.

Люсиль стала лихорадочно собирать деньги. . .

В ночь на 13 жерминаля (2 апреля) обвиняемых перевели в тюрьму Консьержери, в непо-

средственное ведение Революционного трибунала, и распределили по одиночным камерам. Это значило, что конец близок.

Дантон вспомнил: именно в эти дни год назад он добился учреждения Революционного трибунала.

Он непрерывно ругался и каламбурил. В соседних камерах его голос был превосходно слышен.

– Все равно один конец. . . Бриссо гильотинировал бы меня так же, как Робеспьер. . . Если бы я мог оставить свои ноги Кутону³³, а свою мужскую мощь Робеспьеру, дело бы еще шло кое-как в Комитете общественного спасения. . . Во время революции власть остается за теми, в ком больше злодейства. . . Зверье! Они будут кричать: «Да здравствует республика!», когда меня повезут на гильотину. . .

Вспоминал он также об Арси, о рощах и деревьях, которых не надеялся больше увидеть. . .

³³[34] Ноги Кутона были парализованы.

Днем 13 жерминаля (2 апреля) их вызвали в трибунал.

В огромном зале, где прежде заседал парламент, расположились судьи, прокурор и присяжные—все в черно-серых мундирах, в шляпах с плюмажами.

Отсек для публики был набит до отказа. Толпа занимала также все прилегающие улицы, набережную и площадь Шатле.

Положение членов суда и в особенности прокурора было не из приятных.

Конечно, процесс дантонистов, как процесс политический, ничем не отличался от дела Эбера. Тут, как и там, судьба обвиняемых была решена заранее, и приговор им определили приказом о водворении в тюрьму. По существу, Революционному трибуналу оставалось лишь исполнить решение правительственных Комитетов, санкционированное Конвентом.

И все же осудить на смерть дантонистов казалось делом много более сложным, чем отправить на гильотину «папашу Дюшена» и его соратников.

Дантон, Демулен и Фабр не были обычными подсудимыми. Один—превосходный оратор и общепризнанный вождь, второй—горячий, едкий и остроумный памфлетист, глашатай революции со дня ее рождения, третий—непревзойденный мастер политической интриги,—они в совокупности являлись весьма опасными противниками. Убить таких людей было можно, но заставить их расписаться в своей вине или хотя бы молчать перед смертью представлялось значительно более трудным. Процесс мог превратиться в арену жесточайшей борьбы.

Это предвидели Робеспьер и Сен-Жюст.

Чтобы облегчить задачу прокурора Фукье-Тенвиля, который должен был бить обвиняемых сразу по многим пунктам и статьям, здесь, как и в процессе эбертистов, составили «амальгаму», объединив в целое несколько отдельных группировок по разным обвинениям. В главную «политическую» группу входили Дантон, Демулен, Филиппо, Эро, Делакура и Фабр. Через Фабра эта группа связывалась с мошенниками Шабо, Базиром, Делоне и поставщиком д'Эспаньяком;

через Эро де Сешеля, близкого и к дантонистам и к эбертистам, их объединяли с «ультрареволюционерами» как одну из группировок единого заговора; наконец через Дантона и Шабо всех подсудимых сближали с подозрительными иностранными финансистами—братьями Добруска, Дидерихсеном и Гузманом, что придавало заговору «иностранную» окраску.

Члены Комитетов намеревались самым внимательным образом следить за ходом судебных заседаний, чтобы, коль скоро это потребуетя, прибегнуть к исключительным средствам воздействия.

Первый день процесса начался перекличкой обвиняемых.

Все они, четырнадцать человек, были на местах. На вопрос, сколько ему лет, Камилл Демулен ответил:

– Я в том же возрасте, в каком умер санкюлот Иисус: мне тридцать три года.

Дантон, когда его спросили об имени и месте жительства, гордо заявил:

– Моим жилищем скоро будет *ничто*; имя же мое вы найдете в пантеоне истории. Народ всегда будет с уважением относиться к моей голове, пусть даже она падет под топором палача.

Секретарь суда приступил к чтению длинного доклада Амара по делу Ост-Индской компании. После доклада, занявшего несколько часов, заседание было закрыто.

Второй день, 14 жерминаля (3 апреля), обещал зрителям много интересного.

Прежде всего на скамье подсудимых появился новый обвиняемый. Это был генерал Вестерман, агент Дантона, замешанный во все интриги Дюмурье.

Вестерман настаивал, чтобы с него сняли допрос. Председатель Эрман, спешивший с делом Ост-Индской компании, ответил, что это формальность.

Дантон иронически подхватил слова Эрмана:

– Но ведь все мы и находимся здесь только *ради формальности!*

Послышался смех.

Председатель потребовал тишины, затем схватился за колокольчик.

Мог ли он заглушить голос Дантона?

— Разве ты не слышишь, что я звоню?— наконец возмутился Эрман.

— Человек, защищающий свою жизнь и честь, пренебрегает этим,—ответил трибун.

Шум не прекращался. Подсудимых охватило волнение.

— Пусть нам дадут только слово,—рычал Дантон,—я пристыжу вас всех! И если французский народ действительно таков, каким он должен быть, мне еще придется вымалывать у него прощение моим обвинителям.

— Да, нам нужно только слово!—вторил другу Камилл.

Дантон продолжал иронизировать:

— В настоящее время Барер—патриот, не правда ли? А Дантон—аристократ!—Он обернулся к присяжным:—Ведь я—создатель трибунала; стало быть, я понимаю толк в этом.—И, заметив Камбона на скамье для свидетелей:—А ты тоже считаешь нас заговорщиками? Смотрите, он сме-

ется; он не верит. Запишите, что он смеялся!

С трудом восстановив тишину, Эрман вернул прения к финансовому заговору. Дал показания Камбон. Допросили Фабра, Шабо, Базира, Эро и д'Эспаньяка.

Дантон проявлял все признаки нетерпения. Он бросил Делакруа:

— Что за необходимость присутствовать в деле, только унижающем нас? Речь ведь идет о мошенничествах и кражах. . .

Наконец председатель обратился к Дантону.

Странное впечатление производит его защита. Во всяком случае, в том виде, в каком донесли ее нам протоколы Революционного трибунала.

Речь Дантона, если можно назвать речью несколько тирад, мало связанных между собой, отнюдь не была обстоятельным ответом на обвинения. По существу, он не опроверг ни одного из них—он их просто отринул.

Титан бушевал. В свое выступление он вложил все ярость и силу, на какие был способен. Он дерзил, угрожал, насмеялся. Тщетно Эрман

прерывал его, предлагая вести себя более сдержанно и не нарушать законных рамок защиты. Сквозь раскрытые окна мощный голос Дантона был слышен далеко на улице. И что ему было до призывов председателя, подкрепляемых бесполезным звоном колокольчика? Разве к судьям он обращался?

Трибун снова говорил с народом. В последний раз он апеллировал к владыке, который вознес его на вершину революции, который прежде служил ему верной опорой.

Услышит ли, поймет ли его народ?

И станет ли на его защиту?

Вот два вопроса, которые волновали Жоржа Дантона в течение всей его речи. И поэтому речь превратилась в беспорядочный поток самовосхвалений и призывов.

– Мой голос, столько раз звучавший для блага народа, для защиты и поддержки его интересов, теперь без труда опровергнет клевету.

Посмеют ли трусы, оклеветавшие меня, бросить мне в лицо свои обвинения?.. Пусть они покажутся, и я тотчас покрою их позором и бесче-

ством, заслуженным ими!.. Вот моя голова: она отвечает за все. . .

. . . Личная дерзость, конечно, достойна порицания, и меня в ней никогда не имели оснований упрекать; но дерзость национальная, пример которой я столько раз подавал и при помощи которой столько раз служил народному благу,—этот род дерзости не только допустим в революции, он даже необходим, и я горжусь им. Когда я вижу, что меня так жестоко, так несправедливо обвиняют, могу ли я подавить чувство негодования, которое кипит во мне против моих клеветников? Разве от такого революционера, как я, можно ждать хладнокровной защиты?

Я продавался? Я? Люди моего покроя неоценимы: их нельзя купить. Огненными знаками оттиснута на их челе печать свободы и республиканского духа!

И меня-то обвиняют в том, что я пресмыкался у ног презренных деспотов, что я всегда был врагом партии свободы, что я был сообщником Дюмурье и Мирабо! И от меня требуют ответа перед лицом неизбежного, неумолимого право-

судия!..

А ты, Сен-Жюст, ты ответишь перед потомством за клевету, брошенную против лучшего друга народа, против самого пламенного его защитника...

... Я вполне сознательно бросаю вызов моим обвинителям, предлагаю им померяться со мной... Пусть они предстанут здесь, и я погружу их в небытие, откуда им никогда не следовало выходить!.. Подлые клеветники, покажитесь, и я сорву с вас маски, спасающие вас от общественной кары!..

... Честолюбие и жадность никогда не имели власти надо мной; они никогда не управляли моими поступками; никогда эти страсти не заставляли меня изменять делу народа; всецело преданный родине, я принес ей в жертву всю мою жизнь...

... Вот уже два дня, как трибунал познакомился с Дантоном; завтра он надеется уснуть на лоне славы; никогда он не просил пощады, и вы увидите, как он взойдет на эшафот со спокойствием, свойственным чистой совестью...

Так говорил он более часу подряд, и ничто, казалось, не могло остановить его. Голос креп, приобретал невероятную силу, достигал противоположного берега Сены и ближайших площадей. . .

Председатель и судьи чувствовали себя растерянными. Комитет общественного спасения, следивший за ходом дела, был настолько обеспокоен, что даже отдал Анрио приказ арестовать председателя и прокурора, подозревая их в слабости; однако затем члены Комитета одумались и приостановили выполнение приказа. Вместо этого несколько представителей Комитета общественной безопасности отправились в трибунал, чтобы поддержать бодрость присяжных.

Положение было исправлено тем, что Дантон, вложивший слишком много энергии и голоса в свою импровизацию, в конце концов выдохся и стал хрипеть. Председатель предложил ему передышку, обещая потом вернуть слово, и утомленный трибун на это согласился.

Конец заседания был занят допросом Эро, Демулена, Делакруа, Филиппо и Вестермана.

Итак, опасения Робеспьера и Сен-Жюста не были плодом их фантазии: разбить «давно сгнивший кумир» оказывалось совсем не легким делом.

Третий день процесса, 15 жерминаля (4 апреля), стал днем, перелома; укрепив вначале надежды дантонистов, он же затем эти надежды и разбил.

С утра на скамью подсудимых сел новый обвиняемый. Это был Люлье, прежний прокурор Парижского департамента. Ему инкриминировали связь с Шабо и пособничество планам аферистов.

Дантон выглядел очень возбужденным. Он разразился нападками на Робеспьера и Сен-Жюста, на Кутона, Билло, Амара и Вулана и особенно на Бадье. Он повторил требование, предъявленное накануне Делакура: пусть обвинение вызовет тех свидетелей—членов Конвента, которых хотят услышать жертвы несправедного суда!

Когда Фукье-Тенвиль ответил отказом, Дантон стал обращаться прямо к зрителям. Оста-

новив взгляд на любопытном, взобравшемся на скамейку, Жорж крикнул ему и его соседям:

– Бегите в Конвент! Добивайтесь, чтобы прислали наших свидетелей!

Так как ропот народа начинал тревожить судей, напуганный Фукье отправил в Конвент письмо, в котором изложил требования подсудимых.

Дантон и его друзья считали себя почти спасенными.

А между тем неумолимая коса смерти была уже занесена над их головами.

В Комитеты поступил донос от арестанта Люксембургской тюрьмы некоего Лафлота.

Лафлот сообщал, что в тюрьме составлен заговор, во главе которого находится приятель Демулена, генерал Артур Диллон. Заговор ставил целью освободить Дантона и его сообщников. В случае успеха заговорщики рассчитывали перерезать «комитетчиков» и захватить в свои руки власть. Выяснилось также, что конспираторов субсидировала Люсиль Демулен, которая переправила Диллону тысячу экю с целью собрать

толпу около трибунала.

Открытие этих фактов взволновало членов правительства и вынудило их к принятию ответных мер.

Так как письмо Фукье-Тенвиля Конвент переслал в Комитеты, оно оказалось в руках робеспьеристов почти одновременно с доносом Лафлота. Сравнив оба документа, члены Комитетов решили, что это части единого целого. Немедленно в Конвент был направлен Сен-Жюст. Он рассказал о происшедшем и потребовал, чтобы Конвент принял декрет, лишаящий права участвовать в прениях всякого подсудимого, оскорбившего национальное правосудие.

Декрет был тут же принят, и Вадье доставил его Фукье-Тенвилю.

Когда декрет и донос Лафлота были оглашены в трибунале, обвиняемые поняли, что погибли. Демулен воскликнул:

– Злодеи! Им мало того, что они убивают меня; они хотят убить и мою жену!³⁴

³⁴[35] Люсиль Демулен была казнена по приговору

В сильном волнении Дантон потребовал, чтобы судьи, присяжные и народ заявили, правда ли, что национальное правосудие оскорблено. Заметив Вадые и Вулана, он крикнул:

– Взгляните на этих подлых убийц! Они будут выслеживать нас до самой смерти!

Эрман поспешил закрыть заседание.

Итак, надежды на народ не оправдались. Простые люди не желали вмешиваться в судьбу Дантона: он давно уже стал для них чужим. . .

Утром 16 жерминаля прений не возобновили.

Фукье спросил присяжных, составили ли они представление о деле. Понимая, что означает этот вопрос, Дантон и Делакура бурно запротестовали:

– Нас хотят осудить, не выслушав? Пусть судьи не совещаются! Мы достаточно прожили, чтобы почить на лоне славы, пусть нас отвезут на эшафот!..

трибунала восемь дней спустя после смерти своего мужа.

Дантон вдруг ударил себя по лбу:

– Я заговорщик! Мое имя причастно ко всем актам революции: к восстанию, революционной армии, революционным Комитетам, Комитету общественного спасения, наконец к этому трибуналу! Я сам обрек себя на смерть, и я— умеренный!

Он дико захохотал.

Демулен до такой степени вышел из себя, что смял листки со своей защитной речью и бросил комок в голову Фукье-Тенвилю.

Трибунал, применяя декрет, лишил обвиняемых права участвовать в прениях. Их отвели обратно в Консьержери, и там, в канцелярии, некоторое время спустя секретарь суда прочитал им приговор, вынесенный присяжными.

Все, за исключением Люлье, приговаривались к смертной казни.

Казнь должна была совершиться немедленно. Осужденных тут же сдали на руки палачу.

– Ну и жирная дичинка у тебя сегодня!— жандарм с улыбкой подмигнул гражданину Сан-

сону.

Тот вздохнул.

Дело не легкое! Пятнадцать человек; всем— подстриги волосы, свяжи за спиной руки, помоги взобраться на телегу, а там... там успеи все кончить до темноты, когда сейчас уже почти четыре! Пациенты, слава богу, почти все смиренные. Зато этот, длинноволосый, стоит пятерых. Как он орал, как вырывался из рук помощников Сансона! Его пришлось связать, словно бешеного; а рубашка на нем превратилась в ключья...

... Долог и труден путь от Консьержери до площади Революции. Три телеги едва ползут, подпрыгивая на каждом ухабе и доставляя нестерпимую боль всему телу. Невозможно стоять прямо, когда руки связаны.

Невозможно—а нужно.

Ибо Жорж Дантон хочет отправиться в преисподнюю, стоя во весь свой богатырский рост.

Лицо его благодушно. Он улыбается. И даже... декламирует Шекспира!

... Бедный Камилл! Сколько он плакал сегодня! Вот и сейчас он кричит надрываясь:

– Народ! Тебя обманывают! Убивают твоих лучших защитников!

Жорж пытается образумить друга:

– Успокойся и оставь эту подлую сволочь!..

Дантон больше не верит в санкюлотов. С безразличием смотрит он на серую массу; которая со всех сторон молчаливо окружает телеги.

... Какой чудесный день сегодня! Солнце светит вовсю, на небе ни облачка, а деревья оделись яркой, свежей листвой. Как, должно быть, хорошо теперь в Арси!..

... О! Что-то страшно знакомое... Да ведь это же Пон-Неф! А вот и маленькое кафе «Парнас», где Жорж впервые встретился с Габриэлью...

... Парк Пале-Рояль... Здесь он обручился с революцией...

... Телеги стучат по улице Конвента, бывшей Сент-Оноре. И опять все кругом так хорошо знакомо. Якобинский клуб, где было выдержано столько баталий, немного подалее—дом столяра Дюпле, обиталище Неподкупного...

Жорж поднимает голову.

– Ишь ты! Все окна закрыты ставнями, словно жильцы уехали или вымерли... Ну нет, Дантона не проведешь, он оставит по себе память!.

Его страшный голос заставляет- вздрогнуть жандармов и отпрянуть толпу.

– Робеспьер! Я жду тебя! Ты последуешь за мной!..

Что это? словно тяжкий стон раздался из-за закрытых ставен. Или только так показалось?..

Солнце было совсем недалеко от горизонта, когда телеги прибыли, наконец, на площадь Революции. Статуя свободы горела багровым отблеском. Черной двуногой химерой выделялась машина смерти.

Сансон торопился и подгонял своих людей. Эро де Сешель, которому предстояло подняться первым, хотел поцеловать Дантона. Их разняли.

– Дурачье,—беззлобно заметил Жорж,—разве вы можете помешать нашим головам поцеловаться в корзине?..

... Он слышал, как четырнадцать раз упал нож гильотины. Он был пятнадцатым.

У самого подножья эшафота он вдруг почувствовал слабость.

На секунду остановился.

— О моя возлюбленная,—прошептали его сухие губы,—неужели я больше тебя не увижу?..

Потом точно встряхнулся. Сказал: «Мужайся, Дантон»—и быстро поднялся по лестнице.

Свои последние слова он произнес на эшафоте:

— Ты покажешь мою голову народу,—приказал трибун палачу.—Она стоит этого.

И гражданин Сансон послушно выполнил требование своего пятнадцатого пациента.

Кто ты такой?

Когда сумерки опустились над Парижем, тела отвезли на новое кладбище для казненных, в Муссо. Там всех их свалили в общую яму и засыпали сверху известью.

Три месяца и двадцать два дня поджидал здесь Жорж Дантон своего старого товарища Максимилиана Робеспьера.

И вот 10 термидора (28 июля) они снова встретились. В этот день сюда привезли и так же швырнули в негашеную известь останки Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона и их двадцати соратников.

Восходящая линия великой революции закончилась.

Она закончилась вместе с падением якобин-

ской диктатуры, бывшей ее вершиной и все же не сумевшей разрешить задач, поставленных перед нею санкюлотами.

Робеспьера низринул блок, сложившийся из охвостьев дантонистов и эбертистов. То, чего не смог сделать Дантон, сделали Тальен и Фуше.

Термидор выбросил из буржуазной революции все, что не устраивало буржуазию. Царство добродетели уступало место царству денег. Казалось бы, сбылись мечты Жоржа Дантона: революционное правительство было прикончено, экономические ограничения сняты, тюрьмы открыты. Правда, открыты лишь для того, чтобы дать свободу жрецам денежного мешка и поглотить в своих недрах всех тех, кому был милее прежний революционный курс.

Нувориши, представители боевой, спекулятивной буржуазии строили свою новую респектабельную жизнь.

Шли годы.

Проносились эпоха Наполеона, Реставрация, Июльская монархия... Вспыхивали новые революции. Наследники Дантона умело обманывали

бедняков и рабочих, добиваясь с их помощью новых побед.

И тут вдруг Дантон, спокойно спавший в могиле, был извлечен на свет божий.

Начались его чудесные перевоплощения.

Строго говоря, о нем вспоминали и раньше. Но вспоминали изредка и с оглядкой. Слишком много *явно дурного* было связано с его памятью, и при этом слишком много *опасного*. Его последователи в значительной мере повторяли его поведение, повторяли в гораздо худшей форме. Но они боялись как исторических параллелей, так и исторических контрастов. Во всяком случае, когда 11 вандемьера (3 октября), в годовщину осуждения жирондистов, термидорианский Конвент торжественно восстановил «добрую славу» сорока семи своих членов, погибших в дни якобинского террора, Дантона не оказалось в их числе.

Худая слава бежит...

Но вот незадолго до революции 1848 года историк Вильоме впервые пожелал *реабилитиро-*

вать Дантона. Он обратился к его сыновьям, продолжавшим жить в Арси³⁵, и получил от них тщательно составленную записку, в которой они пытались доказать, что состояние их отца не возрастало с помощью *недозволенных средств*.

Отсюда и началось.

В период Второй империи и Третьей республики, в шестидесятые-восьмидесятые годы, ста-

³⁵[36] Сыновья Дантона, Антуан и Франсуа Жорж, после казни отца находились на попечении деда, Франсуа Шарпантье, до его смерти; затем в 1804 году переехали к бабке в Арси, где вступили во владение наследством, оставшимся после трибуна.

Младший, Франсуа Жорж, умер в 1848 году, не оставив потомства. Старший, Антуан, живший уважаемым буржуа, имел дочь. Внук Антуана около 1900 года переселился в Южную Америку (Чили).

Что касается второй жены Дантона, Луизы, то она недолго хранила память о своем знаменитом супруге. В 1796 году она вышла замуж за Клода Дюпена, ставшего при Наполеоне I префектом, членом ордена Почетного легиона и бароном империи. Луиза умерла в 1856 году, пережив своего второго мужа на двадцать восемь лет. Современники говорят, что, будучи шестидесятилетней, она сохраняла еще следы былой красоты.

раниями А. Бужара, А. Дюбоста, Ж. Кларети и в особенности Ж. Робине был создан новый Дантон: великий политический деятель, прекрасный семьянин и благородный друг, кристально честный революционер (в самом «мягком» значении этого слова), неподкупный отец буржуазной демократии.

Этому сильно содействовали заботы официальных кругов.

Немалое попечение о своем дальнем родственнике и великом однофамильце проявил некто Арсен Дантон, ученик Мишле, министр просвещения Франции, оказавший покровительство большинству перечисленных выше писателей-панегиристов.

В 1887 году трибуну поставили первый памятник—на его родине, в Арси.

В 1891 году Третья республика воздвигла своему герою новый монумент, на этот раз в Париже, в одном из фешенебельных кварталов, неподалеку от того места, где жил когда-то Дантон.

На открытии памятника произносились прочувствованные речи.

Подчеркивалось «великодушие» Дантона, его «снисходительность», внепартийность, его примирительные тенденции. Ораторы, как сговорившись, стремились в первую очередь «очистить» могучего кордельера от «упреков» в революционности.

Нет, он не был революционером.

Он был политическим деятелем, которого следует поставить в один ряд с Людовиком XI, Генрихом IV и кардиналом Ришелье.

Наиболее четко сформулировал эту мысль самый крупный «дантонист» начала нашего века, А. Олар, когда написал о Дантоне:

«... Он показал себя мастером искусства управлять государством, и если даже допустил ряд ошибок, то был чист от крови и денег...»

Чист от крови и денег...

Этот девиз приняли наиболее видные монографии о Дантоне, написанные французскими историками в последующие десятилетия, в том числе труды Л. Мадлена, Л. Барту, Ж. Эриссэ.

Почти одновременно с «дантонистским» возникло и «антидантонистское» направление. Оно

шло от «робеспьеристов», представителей радикальных мелкобуржуазных слоев.

Крупнейшим историком этого направления был А. Матьез, главные работы которого появились в десятилетия-двадцатые годы нашего века. Он нашел и обследовал много новых документов, он сделал ряд глубоких и правильных выводов. Но к Дантону он отнесся с явным пристрастием.

Стремясь возвеличить своего главного героя—Неподкупного, Матьез буквально втопты-вает в грязь его противника. Обвиняя Дантона в предательстве и в «гнусных поступках», Матьез называет его «последней надеждой и постоянным защитником всех роялистов и негодяев своего времени». Ни одного светлого блика не различает Матьез на гигантской фигуре Дантона. Он готов прибегнуть к любым домыслам и натяжкам, лишь бы полнее его опорочить. И вряд ли кто из читателей способен поверить историку, когда тот заявляет о своем «беспристрастии» и «отсутствии личной ненависти»: каждая из страниц его трудов говорит об обратном. Но вот что интересно.

При всей противоположности взглядов современные «дантонисты» и «робеспьеристы» одинаково старательно «дереволюционизируют» Дантона. Хотя и по совершенно разным соображениям, они равно стремятся замазать и уничтожить все то, что говорит о революционной деятельности трибуна.

Сто семьдесят лет прошло со дня смерти Жоржа Дантона.

И сейчас с особенной ясностью чувствуешь всю глубину и точность скупой характеристики, которую дали Дантону К. Маркс и В. И. Ленин.

«... Несмотря на то, что он находился на вершине Горы,—говорил К. Маркс,—он до известной степени был вождем Болота...»³⁶.

Вместе с тем, вслед за К. Марксом, В. И. Ленин называет Дантона «величайшим в истории мастером революционной тактики»³⁷.

³⁶[37] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. I, т. III, стр. 609—610.

³⁷[38] В.И. Ленин, Соч., т. 34, стр. 383.

Противоречит ли одно другому?

Напротив, одно дополняет другое. В этих словах—единственный ключ к пониманию Дантона.

Революция конца XVIII века, которую В.И. Ленин называл Великой, была при этом, однако, и буржуазной. В то время буржуазия, выступавшая против власти феодалов, являлась прогрессивным классом. Но она оставалась *буржуазией* со всеми отрицательными ее чертами: склонностью к соглашательству, стремлением к наживе, продажностью.

Якобинец Жорж Дантон представлял и воплощал эти качества наиболее широких слоев буржуазии.

Подобно ей, находившейся на подъеме, рвавшейся в битву с ненавистными привилегиями аристократии, он был революционером и патриотом.

Подобно ей, боящейся народных масс и готовой к любому компромиссу ради их обуздания, он постоянно лавировал и искал опору то слева, то справа.

Но он был не только ее воплощением.

Жорж Дантон являлся вождем, человеком большого таланта, он обладал революционной дерзостью. Ради спасения отчизны он оказывался готовым пойти на самые решительные средства.

Таким он был в сентябре 1792 года—в великую пору своей жизни.

Пока революция низвергала феодализм, Дантон при всех своих колебаниях шел в ее авангарде.

Но когда революция устремилась дальше, против неограниченной собственности и, следовательно, против интересов буржуазии, Дантон осел в «болоте» и повис на ней мертвым грузом.

В этом была его двойственность, присущая всей той социальной группе, к которой он принадлежал.

Соглашатель Дантон стал на путь контрреволюции и погиб.

Дантон-революционер завоевал право на бессмертие.

Не случайно современная буржуазная историография с таким упорством стремится «революционизировать» Жоржа Дантона.

Нынешние потомки буржуазных революционеров сохранили всю их слабость, но потеряли всю их силу.

Эту силу они хотели бы отнять и у великих борцов прошлого.

Но именно сила, смелость, дерзание, революционная тактика—вот что близко в Дантоне людям нашей страны и всему прогрессивному человечеству.

Вот о чем читателю следует еще раз подумать, закрывая книгу о якобинце Дантоне.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ДАНТОНА

1759, 26 октября - Рождение Жоржа Жака Дантона.

1772—1780 - Жорж обучается в Труа, живет в Труа и Арси.

1780 - Переезд в Париж. Служба у прокурора.

*1787—*Женитьба на Габриэли. Покупка должности адвоката.

1789, 14 июля - Взятие Бастилии парижанами. Дантон вступает в народную милицию.

август—сентябрь - Дантон становится председателем дистрикта Кордельеров.

1790, 23 января—Дантон избран в Коммуну.

31 января - Дантон избран в Департамент.

1791, март—апрель—Первые земельные приобретения.

23 июня - Речь против восстановления Людовика XVI.

17 июля - Избиение на Марсовом поле.

6 декабря-Дантон избран вторым заместителем прокурора Коммуны.

16 декабря - Речь по вопросу о войне.

20 декабря - Речь в защиту конституции.

1792, 10 мая—Выступление в Якобинском

клубе в защиту Робеспьера.

июнь—июль - Подготовка к восстанию против монархии.

10 августа - Свержение монархии.

10 августа - 8 октября - Дантон—«министр революции».

2 сентября - Речь о спасении Франции.

6 сентября - Дантон избран депутатом Конвента.

21 сентября. Речь в защиту собственности.

1793, 16 января—Осуждение Дантоном Людовика XVI.

31 января - Речь о «естественных границах».

11 февраля - Смерть Габриэли Дантон.

10 марта - Речь об организации Революционного трибунала.

1 апреля - Объявление войны Жиронде.

6 апреля - Образование «Комитета Дантона».

31 мая - 2 июня - Восстание в Париже. Изгнание жирондистов из Конвента.

июнь - Женитьба Дантона на Луизе Жели.

10 июля - Дантон выходит из Комитета.

1 августа - Речь в защиту революционной диктатуры.

6 сентября - Речь о «политических средствах».

1793,

серед. сентября—нач. ноября—Болезнь Дантона.

декабрь - 1794, март - Кампания «Старого кордельера».

1794, 19 марта - Последнее выступление Дантона в Конвенте.

1794, 30 марта—Арест дантонистов.

2-5 апреля - Процесс дантонистов.

5 апреля - Казнь Дантона и его соратников.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Жорж Жак Дантон, Избранные речи. Редакция и примечания Н. С. Гольдина. Харьков, 1924.

Ц. Фридлянд, Дантон. М., 1934.

А. Матъез, Новое о Дантоне. М.—Л., 1928.

Discours de Danton. Edit, critique par A. Fribourg. 1910.

A. Bougeart, Danton. P., 1861.

I. Robinet, Danton. P., 1884.

A. Dubost, Danton et la politique contemporaine. Versailles, s. d.

I. Claretie, Camille Desmoulins, Lucile Desmoulins P 1875.

L. Madelin, Danton. P., 1914.

A. Mathiez, La conspiration de l'étranger. P., 1911.

A. Mathiez, Autour de Danton. P., 1926.

A. Mathiez, Danton et la paix. P., s. d.

H. Wendel, Danton. P., 1932.

L. Barthou, Danton. P., 1932.

I. Hérissay, Cet excellent m. Danton, P., 1960.

[30] День учит день (*лат.*).

PDF Generation

Generated on *11 апреля 2009 г.* by **fb2pdf** version
3.14

<http://www.fb2pdf.com/>